

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ-ИЮНЬ

"НАУКА"

МОСКВА - 200

БИБЛИОТЕКА
Сыктывкарского
ГОСУНИВЕРСИТЕТА
имени 50-летия СССР

СО Д Е Р Ж А Н И Е

К 200-летию со дня рождения В.И. Даля

В.Г. Г а к (Москва). Словарь В.И. Даля в свете типологии словарей.....	3
Т.И. В е н д и н а (Москва). В.И. Даль: взгляд из настоящего.....	13
Г.Ф. Б л а г о в а (Москва). Владимир Даль и его последователь в тюркологии Ла- зарь Будагов.....	22

* * *

К. В и н д л (Канберра). Заметки о современном состоянии македонско-русской лексикографии.....	40
И.Г. М е л и к и ш в и л и (Тбилиси). Линейность языкового знака с точки зрения фонологических закономерностей (К целостной и телеологической интерпретации языкового знака).....	50
В.П. М о с к в и н (Волгоград). Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования.....	58
Л.Э. К а л н ы н ь (Москва). Согласные, различающиеся участием голоса, как ком- поненты фонетической программы слова в славянских диалектах.....	71
Е.Л. Р у д н и ц к а я (Москва). Локальные и нелокальные рефлексивы в корейском языке с типологической точки зрения – формальное или прагматическое опи- сание?.....	83

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

О.А. Р а д ч е н к о (Москва). Лингвофилософские опыты В. фон Гумбольдта и постгумбольдтианство.....	96
---	----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Р е ц е н з и и

Б.И. О с и п о в (Омск). Русский орфографический словарь.....	126
О.В. Н и к и т и н (Москва). Пятые Поливановские чтения: Сборник научных статей по материалам докладов и сообщений.....	129
В.Г. Д е м ь я н о в (Москва). А. Kretschmer. Zur Geschichte des Schriftrussischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts.....	131

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	142
З о я К ё с т е р - Т о м а (1945–2001).....	157
А н а т о л и й И в а н о в и ч Д о м а ш н е в (1927–2001).....	158

Р Е Д К О Л Л Е Г И Я :

*Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев,
Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора),
М.М. Маковский (отв. секретарь), А.М. Молдован,
Т.М. Николаева (зам. главного редактора), Ю.В. Откупщиков,
О.Н. Трубочев (главный редактор), А.М. Шербак*
Зав. отделами: *М.М. Маковский, Г.В. Строчкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

А д р е с р е д а к ц и и : 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка имени В.В. Виноградова,
редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-25-16

© 2001 г. В.Г. ГАК

СЛОВАРЬ В.И. ДАЛЯ В СВЕТЕ ТИПОЛОГИИ СЛОВАРЕЙ

И.А. Бодуэн де Куртене, быть может самый внимательный читатель "Толкового словаря живого великорусского языка" В.И. Даля, много лет потративший на его пополнение и редактирование, так писал об этом словаре: "Есть, правда, у других народов словари, превышающие словарь Даля совершенством отделки, богатством историко-литературного материала и т.д.; но трудно найти другой словарь, совмещающий в себе столько материала, почерпнутого одним только лицом из живого разговорного языка известного народа. Словарь Даля является не только одною из самых богатых сокровищниц речи человеческой, но кроме того сборником материалов для исследования и определения народного склада ума, для определения мирозерцания русского народа. Чего только стоит одно обилие сочных и метких изречений и пословиц! Когда при чтении утомительной корректуры мне приходилось перечитывать набранные курсивом примеры, чувство скуки и недовольства сменялось просто наслаждением, – я отдыхал и освежался" [Бодуэн де Куртене 1994: XI].

Притягательная сила словаря Даля заключается не только в замечательных примерах, но во всем его материале, в его структуре, в его манере беседовать с читателем.

В типологическом плане этот словарь занимает особое место среди других словарей. Представляет интерес уточнить, в чем состоит это своеобразие. Что касается типологии словарей, то целесообразно различать общий тип словаря и частную типологию решений определенной лексикографической задачи (например, отражение фонетики и грамматики в словаре, характер примеров, толкований, соотношение в нем синхронии и диахронии, представленность в нем системных отношений в лексике, экстралингвистического материала и т.п.). В каждом случае следует различать, что отражено в словаре и как это отражено, то есть содержание и способ представления, метаязык и дискурс словаря. Даль сам говорил, что его словарь не соответствует требованиям науки о словарях. Дело в том, что словарь его появился, когда эта наука не была еще глубоко разработана, типология словарей еще не была составлена, авторам давалось больше свободы для проявления индивидуальности. Можно сказать, что в наши дни словарь, подобный далевскому, вряд ли бы мог появиться, его тотчас бы "засушили" под предлогом унификации и т.п. Может быть, многие привлекательные черты словаря Даля связаны с тем, что он делался одним человеком вне каких-либо внешних установок по тем канонам, какие он сам себе поставил. Здесь уместно вспомнить Пушкина, который говорил, что писатель подчиняется тем законам, которые он сам себе устанавливает.

Существует множество разных типологий словарей, появились даже работы, касающиеся типологии типологий словарей. Мы обратимся к типологии Л.В. Щербы, которая была по-видимому первой типологией словарей (в 1939 г., тогда как типологии Малкиеля, Себеока и другие появились много позже). Типология словарей у Щербы [Щерба 1974: 265–304] включает шесть оппозиций (в его терминологии – противоположений).

Первая оппозиция: словарь академического типа (нормативный) – словарь-справочник. Словарь Даля не является специально нормативным, как это отме-

чает сам автор, поясняя, что он не производит отбора слов (исключение составляют излишние по его мнению иностранные заимствования, "галантерейные" слова типа *куфарка*, и обценная лексика). Также он оставляет в стороне "искусственные" языки всевозможные жаргоны, сжатый, но четкий очерк которых Даль дал в статье [Даль 1955а, 1: LXXXVI–LXXXVIII]. Автор также не дает никаких помет относительно сферы и стилистического уровня употребления слова, поскольку, как он отмечает, словарь рассчитан на русского читателя, знающего язык. Щерба квалифицирует словарь Даля как словарь-справочник [Щерба 1974: 275], мотивируя это также и тем, что в нем материал, свойственный всему языковому коллективу, объединяется с материалом, свойственным отдельным говорам.

В т о р а я о п п о з и ц и я: энциклопедический словарь – общий словарь. Она проявляется в характере определений (научное *vs* обиходное, "наивное"), в наличии специальной терминологии в словарях энциклопедического типа. Хотя словарь Даля избегает научных определений, он содержит в себе многие элементы словаря энциклопедического характера: подробные описания различных орудий и устройств, пояснение разновидностей предмета, обозначаемого словом-леммой и др. Подробнее это будет рассмотрено ниже.

Т р е т ь я о п п о з и ц и я: тезаурус – обычный толковый словарь. Термин "тезаурус" используется в современной лингвистике в двух значениях. В первом значении тезаурусом называют полную сокровищницу слов данного языка, включающую галаксы, обильные примеры и речения, призванные возместить трудности определения значений слов. Разумеется, полный тезаурус можно создать только для мертвого языка. Другое понимание тезауруса, использованное английским лексикографом XIX в. Роджетом и широко распространившееся в настоящее время, имеет в виду организацию словаря, исходя из понятий. Щерба называет такой тип словаря идеологическим (мы вернемся к этому вопросу дальше). Словарь Даля безусловно является тезаурусом в первом понимании термина. По крайней мере, он стремился создать такой словарь. Даль старался ничего не пропустить, фиксировал все слова (в пределах установленных им для себя принципов отбора), включал областные варианты слов (с разными ударениями, например) и даже сомнительные лексемы, обозначая их знаком вопроса. Таким же знаком были отмечены толкования, в которых он сомневался. Не случайно, охватывая 200000 слов, словарь Даля является до сих пор самым большим по собранию слов из словарей русского языка. Кроме того, в нем имеется много "скрытых" слов, которые употребляются в толкованиях и примерах, но не выведены в отдельную лемму.

Ч е т в е р т а я о п п о з и ц и я: обычный толковый словарь – идеологический словарь. Различие между ними заключается, как известно, в том, что обычный словарь следует от формы к содержанию – в семасиологическом плане, тогда как идеологический (иногда говорят идеографический или аналогический) словарь идет в обратном направлении – ономасиологическом – от выражаемых значений (понятий) – к словам, их выражающих. Словарь Даля, как мы увидим ниже, содержит большие фрагменты ономасиологического словаря. Они занимают такое большое место в словаре, что вообще словарь Даля можно считать комбинацией алфавитного и аналогического словаря. Из современных словарей он ближе всего в этом отношении к словарю типа Большой или Малый Робер, которые специально сочетают эти два лексикографических жанра в пределах одного словаря [PR 2000]. Можно отметить, что то, что было воспринято как новое слово в современной зарубежной лексикографии, было представлено уже полтора столетия тому назад в русской, хотя, быть может, и в менее разработанном виде.

П я т а я о п п о з и ц и я: толковый словарь – переводной словарь. Разумеется, словарь Даля толковый одноязычный. Но в лингвистике используется термин диглоссия для обозначения ситуации, когда в обществе используются два языковых образования с различным социальным статусом, в том числе литературный общенародный язык и диалекты или аргот. В этом плане словарь Даля, содержащий обильную диалектную, областную лексику, переводимую на обиходный русский язык, может

рассматриваться как своего рода частично переводной словарь. К словарям такого рода (диглоссным) в некоторых типологиях относят словари, толкующие средствами современного общеупотребительного языка лексику особых ареалов – временных (например, словари старого языка), территориальных (диалектные словари), социальных (словари арго и т.п.). Во многих случаях в словаре Даля обнаруживаются элементы переводного словаря (диалектные слова переводятся на общеобиходный русский язык).

Ш е с т а я о п п о з и ц и я: исторический словарь – неисторический словарь. Исторический словарь призван, по мнению Щербы, давать историю слов на протяжении определенного отрезка времени. Он отличается от этимологического словаря, который показывает лишь происхождение слова, не раскрывая его развития во всех его значениях. Словарь Даля является в принципе синхронным, но он дает иногда интересные сведения об истории слов или истории обозначения данных понятий, то есть содержит вкрапления, характерные для исторического словаря.

Итак, резюмируя, можно сказать, что труд В.И. Даля представляет собой словарь композитного типа. Будучи в основном алфавитным семасиологическим словарем-справочником тезаурусного характера, он является вместе с тем в своей значительной части ономазиологическим идеографическим словарем, содержит огромный материал энциклопедического характера, а также многочисленные комментарии исторического плана и может рассматриваться в своей значительной части как диглоссный русско-русский (областническо-литературный) словарь. Кроме того, в нем имеются большие фрагменты синонимического словаря. Мы рассмотрим теперь более подробно некоторые из частных лексикографических проблем этого словаря, остановившись, в особенности на способах представления системности лексики и на используемом в словаре лексикографическом дискурсе и метаязыке.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИСТЕМНОСТИ ЛЕКСИКИ В СЛОВАРЕ

Связи между словами устанавливаются на уровне форм, на уровне содержания и на уровне форм и содержания одновременно. Отношения чисто формального плана проявляются в омонимии. Отношения омонимии случайны и носят более или менее системный характер, когда речь идет о грамматической омонимии, образующейся в силу конверсии, например, краткое прилагательное среднего рода → наречие или междометие (*трудно, здорово*). Даль омонимических отношений регулярно не показывает, хотя, разумеется, отмечает лексические омонимы в алфавите слов, например, **1. Брак** "супружество"; **2. Брак** "товар, оказавшийся негодным" (определение Даля). (В этом случае и далее примеры из словаря приводятся в современной орфографии.)

Системность на уровне формы и содержания отражается прежде всего в словообразовательных связях. Этому вопросу Даль уделял особое внимание, как известно гнездовой принцип он положил в основание организации своего словаря. Правда, заботясь об удобстве читателя, он принял паллиативное решение: приставочные слова следовали в своем алфавитном порядке. В конкретном исполнении этого принципа критики находили ряд недочетов. В одних случаях Даль неправоммерно объединял в одно гнездо слова, относившиеся к различным гнездам, в других, напротив, разносил по разным статьям слова, принадлежавшие к одному гнезду. Например, непоследовательно решена в словаре проблема слов с полногласием и краткогласием. *Золото* и *злато* с их производными даются в общем гнезде, тогда как *город* и *град* с их дериватами – в раздельных. Бодуэн де Куртене выправил многие неточности разбиения по гнездам. Но в отдельных случаях с ним трудно согласиться. Например, у Даля слова *Акварин*, *Акварель*, *Аквариум*, *Акватинта*, *Акведук* составляли одно гнездо. редактор разбил их на пять. Почти все они представляют собой сложные слова. Словарь Даля предназначен был для широкого читателя. Русский читатель не знает, что такое взятые по отдельности *-рель* или *-риум*, он может не знать что значат *-тинта* или *-дук*, но самый знакомый для него – первый элемент этих слов – *акв(а)*

'вода'. Так что Даль, на наш взгляд, поступил вполне допустимо. Однако паллиативное решение (вывод префиксальных слов из гнезда и их сохранение на алфавитном месте) нанесло некоторый ущерб и не позволило наглядно показать семантико-словообразовательную систему языка. Особенно это оказалось нежелательным для глаголов, поскольку глагольные префиксы, выражающие направление или способы действия, представляют собой большое выразительное богатство русского языка. Даль не мог не принимать этого во внимание и, в нарушение своего собственного принципа расположения, он во многих глаголах вводит особую рубрику, где петитом приводятся краткие примеры, иллюстрирующие префиксальную микросистему данного глагола, более подробно значения этих глаголов раскрываются на соответствующем месте алфавита. Например, в статье **Вязать** мы находим раздел, где в алфавитном порядке даются префигированные глаголы: "*Ввязывать поплавки в невод. Вывязать узор. Довязать чулок. Извязать все нитки. Навязать махалку. Надвязать шест. Обвязать голову. Отвяжи колокольчик. Повяжи платок. Подвяжи бороду. Перевяжи снап. Привяжи хвост. Провяжи рядок. Развяжи узел. Поп связал, обвенчал. Увязывай кладь*". Или при глаголе **Говорить**: "*Возговорить, в сказках, заговорить, начать. Этого не выговоришь*" и т.п., всего семнадцать приставочных глаголов. Эти примеры показывают, что Даль не был формалистом, он охотно шел на отступление от формального принципа, допуская в данном случае повтор материала, ради показа системности в языке, ради пользы читателя.

В.И. Даль обращал особое внимание на словообразовательные отношения. Так, в докладе "О русском словаре" он говорит: "...я в словаре своем, не занимаясь *корнями слов* (то есть, собственно этимологией. – В.Г.), старался, однако же, указывать везде на взаимную связь..." (то есть, на деривационные отношения. – В.Г.) [Даль 1953, I: XXXIV]. Он отмечает, например, что русские глаголы, особенно приставочные, дают непосредственно четыре отглагольных существительных: два среднего рода от глаголов несовершенного и совершенного вида, одно мужского и одно женского. Они соответственно выражают значения длительное, окончательное и общее (последние два): *посевать, посеять* → *посевание, посеяние, посев, посевка* [Даль 1955б, I: XXXIX]. Даль старается регулярно отмечать в словаре эти формы под соответствующими глаголами, даже если они не выведены в отдельные статьи. Он пользуется ими при объяснении других слов. Так, *ключ* определяется как "*снаряд для записки и отписки замка*".

Системность на уровне содержания отражается в группировке слов, охватываемых иерархией "быть" и иерархией "иметь". В первом случае мы имеем дело с семантическими полями Й. Трира, которые включают гиперонимы и гипонимы, когипонимы, в том числе векторные слова, синонимы, антонимы. Во втором – с семантическими полями В. Порцига, куда входят меронимы (части целого) и слова, связанные существенными семантическими отношениями: действие – деятель, место, орудие, результат действия и т.п.

Даль широко представляет синонимические отношения в языке. По степени расхождения в значении он различает *однословы*, *тождесловы* и *сословы*. Определениям он часто предпочитает ряд синонимов. Например: "**Обмануть**, ...лгать, словом или делом, вводить кого-либо в заблуждение, уверять в небыли, облыжничать, притворяться, принимать или подавать ложный вид; провести кого-либо, надуть, обмишулить, объехать на кривых; плутовать, мошенничать". Здесь не забыты никакие разновидности обмана: обман словом и делом, словесный обман и коммерческий и т.п. "**Оболтус** м. семинарс. Оболтень, оболдуй, оболдоха, повеса, невежа, шатун, лентяй, неотесанный, грубый и глупый". Первые три слова представляют собой варианты леммы. Существует два основных типа словаря синонимов: объяснительный словарь и словарь-репертуар. (Примером последнего могут служить словари Абрамова или Александровой.) Словари-репертуары синонимы не поясняют совсем или уточняют очень рудиментарно, но они чрезвычайно полезны для носителей языка.

Синонимические перечни в пояснениях словаря Даля очень напоминают фрагменты такого синонимического словаря-репертуара. Иногда Даль уточняет значение приводимых им синонимов. Например, глагол **набавить** он объясняет с помощью синонимов *надбавить, добавить, прибавить*, антонимов *убавить, отбавить*, но при этом он объясняет различие между *на-* и *над-*.

Важнейшей особенностью словаря Даля является раскрытие системности слов, отражающей явления экстралингвистического мира. Здесь наиболее ярко прослеживается энциклопедическая направленность словаря. Основываясь по сути дела на упомянутых выше отношениях, Даль раскрывает разновидности, свойства, назначение предмета, его устройство, его соотношение с иными предметами. В связи с этим он описывает элементы народного быта, верований, поверья. Например, говоря о яйце Даль мимоходом сообщает народное поверье: **яйцо** "...Маленькое уродливое куриное *яичко*, по суеверию петушьё, из которого высиживается василиск: *вѣносок, спорышек*". Отметим, что фразу эту Даль включил в словарь не для того, чтобы рассказать об этом суеверии, но чтобы раскрыть значение слова *спорышек*. Эта постоянная связь лингвистического и экстралингвистического составляет особенность данного словаря. В приведенном определении Даль следует в активном, ономазиологическом плане – от предмета к способу его обозначения (можно было бы и наоборот). Возьмем, например, статью: **Стуло, стул**, "...известная домашняя утварь, для одиночного сиденья, ... сиденье с прислоном, со спинкою; с *подлокотниками*, кресло; без *прислона*, скамейка и табурет, а в народе также *стул*". Гипероним (утварь для одиночного сиденья) связывается со словом *стул*, отдельно он не указан, но перечислены когипонимы, различающиеся по дополнительным деталям: *стул* – со спинкой, но без подлокотников, *кресло* – с тем и с другим, *табурет (скамейка)* без того и другого. Отмечается, что *стул* может употребляться в значении "табурет" (один когипоним употребляется вместо другого, приобретая значение гиперонима). Чрезвычайно характерна ономазиологическая направленность: сначала указывается предмет с его признаками (они часто выделены курсивом), а затем уже дается слово-название этого предмета. Это сделано для максимального удобства читателя, который ищет название для соответствующего предмета (понятия). В словаре Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française [PR 2000], специально объединяющем семасиологический и ономазиологический подходы, при слове **chaise** "стул" приводятся только разновидности стула (плетеный, садовый и т.п.), но когипонимов не дается. Последние можно найти в статье **siège** "сиденье", обозначающей гипероним группы и там можно обнаружить гипонимы. в том числе *banc* "скамейка", *chaise* "стул", *tabouret* "табурет", но с отсылками, без пояснений. Такой прием более компактен, но менее удобен для читателя, так как ему приходится разыскивать нужное обозначение по другим статьям словаря.

Многие разработки такого рода у Даля представляют собой всестороннее описание предмета с целью показа слов, соотносительных с заглавным словом. Вот, например **"Гора** ж. общее название всякой земной возвышенности, противополог. *дол, раздол, долина. лог. низменность*; (а *плоскость, равнина*, отсутствие того и другого). Различают *подошву* или *под горы, верх* или *вершину*, и *склон, бок* или *угорье*, а относительно пролегающей по склону дороги: *косогор, косогорье*. Целая полоса или связь гор называется: *гряда, кряж, хребет, цепь*; развилина, рассоха горного хребта: *отрог*". Далее следует описание на полколонки, где толкуются такие слова как *скала, утес. обрыв. стена. вершина. плоскогорье, водораздел, сопка, холм, бугор, курган* и многие другие. Практически не оставлены в стороне никакие из логических отношений, связывающие понятия. Начинается статья с гиперонима ("всякая земная возвышенность"). затем указываются основные противопоставления (*впадина и равнина*), далее меронимические отношения (часть-целое) – части горы (*подошва, верх и склон*), и, наоборот, – объект, частью которого является сама гора (*гряда, хребет*) и, наконец, **целая серия гипонимов** – разновидности горы. В дальнейшем отмечаются метоними-

ческие и метафорические переносы. Хотя Даль нигде этого не заявлял открыто, его разработка охватывает все типы логических отношений между понятиями.

В случае необходимости Даль отмечает и векторные отношения между словами, то есть такие, которые связывают соотносительные слова, обозначающие противоположных участников одного явления. Например, "**Зять** м. дочернин муж; || сестрин муж; || золовкин муж". А дальше следуют наименования родственников уже "с точки зрения" зятя: родители жены мужу (зятю) *тесть* и *теща*; брат жены мужу ее (своему зятю) *шурин*, а сестра жены *своячина*; по нему один и тот же человек приходится *зятем*: тестю, теще, шурину и своячине.

Статья **Масть** дает исчерпывающее описание мастей лошади, приводятся не только основные масти, но и разнообразные оттенки, излагается настоящая "грамматика" обозначения мастей. Не забыты специфические детали, такие как *навис* (*грива и хвост*) – он может быть иного оттенка; *ремень* – темная линия, проходящая по хребту; *отметины*: на лбу – *лысина*, маленькая – *звездочка*; показывается, как передаются наименования оттенков: сложными прилагательными – с *темно-*, *светло-*, *золотисто-*; выражениями: *в яблоках с подпалинами*, *в масле*, *с красниною* и т.д. Не забыты и клички по масти: *бурка*, *гнедко*, *каурка*, *сивка* и т.п.

В очень многих случаях интерпретация лексики идет параллельно со скрупулезным описанием народных обрядов и верований. Вот характерный пример: "**Обрученье**, обычно составляет *третий* обрядливый вечер до свадьбы: первый, гласное сватовство, сговор или первый пропой; второй, рукобитье, зарученье, помолвка, второй пропой; третий, последний пропой, *обрученье*; жених с родителями и нечетом родных, родные невесты, сват, сваха; священник читает молитвы (не везде), молодых благословляют и идет размен подарков". Это не просто описание народного обряда: лексикограф заботливо включает в него все соотносительные термины: *обрученье*, *зарученье*, *сговор*, *пропой*, *рукобитье*, *помолвка* и др. Когда читаешь такие, казалось бы, обычные слова как *гора*, *сосна*, *веревка* и многие-многие другие, то видишь как за одним предметом предстает целый мир предметов и знание о мире необыкновенно расширяется. Благодаря объединению алфавитного словаря с идеографическим (аналогическим) читатель может найти нужное слово, забытое или неизвестное название предмета. Например, нам нужно вспомнить названия частей ключа или мы забыли наименование приспособления, которым жулики открывают чужие замки. В статье **Ключ** мы находим определение: "снаряд... состоящий из *головки* (кольца), *трубки* и *бородки*. Поддельный ключ, *отмычка*".

Словарь Даля не является историческим, но нередко он дает исторический комментарий к значениям слова или к предмету, обозначаемому данным словом. Например, в статье **Ключ** сообщается старинное значение "замежованные под одну межу земли, селения, волость, вотчина" и приводится древнерусская цитата: "*Заповеда Олег дати воем на 2 т. корабль по 12 гривен на ключ*". Далее следует предположение, что ладейная сила Олега делилась на ключи по волостям, откуда ладьи были выставлены. В статье **Стрела** отмечается, что "встарь различали стрелы *северши*, *срезки*, *томарки*, *тахту* и пр."

МЕТАЯЗЫК И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В СЛОВАРЕ ДАЛЯ

Специфику любого словаря составляет его метаязык, который характеризуется определенной лексикой, синтаксическими построениями. К этому искусственному специально разработанному словарю относятся разные сокращения, пометы, условные знаки и пр. Разумеется, в словаре Даля используются специфические металингвистические приемы и формулы. Отметим в качестве примера только то, что значение производного существительного или прилагательного Даль часто выражает придаточным

определяющим без соотносительного местоимения: **пеший**, "кто не едет, идет на своих ногах". В современных словарях в подобных случаях предпочитается структура с местоимением: **покоритель**, "тот, кто покорил или покоряет кого-л." [БТС]. Но гораздо более важную специфическую черту в словаре Даля представляет собой свойственный ему лексикографический дискурс. Французские лексикографы Ж. и К. Дюбуа считают, что лексикографический дискурс сроден педагогическому [Dubois 1971: 49–56]. Подобно автору учебника, лексикограф выступает как представитель обязательного коллективного знания. В словаре, как и в учебнике, речь автора деперсонализована. Пользователю ординарным словарем или стабильным учебником все равно, кто является его создателем. Этим лексикографический дискурс отличается от научного, которому свойственны изложение собственного взгляда, полемичность. Но вместе с тем авторы допускают и реперсонализацию лексикографического дискурса, введение личности автора в словарное высказывание. Такая персонализация словарного дискурса достигается идеологическими установками автора, которые проявляются в толковании ряда слов и в отборе примеров. Лексикографический дискурс Даля обладает большой спецификой. Страницу его словаря не спутаешь с другим словарем. Но создается эта специфика не бьющими в глаза идеологически направленными примерами, а самой его манерой вести разговор с читателем. Это отражается и в его метаязыке: автор не только сообщает лексический эквивалент в толковании, как это принято в большинстве словарей, но часто включает формулы типа (из статьи **Гора**): "Р а з л и ч а ю т *подошву* или *под горы*; Целая полоса н а з ы в а е т с я *гряда*; поперечные овраги по бокам водопуска... также н а з ы в а ю т с я *вершинами*; *горою на севере* н а з ы в а ю т также вообще землю, сушу. Даль как бы растолковывает слова читателю и его дискурс становится похожим на беседу учителя с учениками.

Мало того. Даль старается не объяснить слово с помощью абстрактных, иногда малопонятных определений, но показать слово так, чтобы у читателя оставалась потребность "додумать" самому, сделать вывод на основании подсказки. Это своеобразный эвристический прием, который активизирует читателя, побуждает его к участию в поиске решения, сделать самостоятельно вывод на основе "подсказок" и ассоциаций.

Даль часто использует этот прием для показа деривационных отношений. Например, в русском языке есть ряд слов, в которых, по примеру старославянского, начальное *б* корневой морфемы утрачивается при прибавлении префикса *об-*: *обод* ср. *обводит*. Подобное указание несомненно полезно для представления деривационной системности русского языка. Даль регулярно отмечает эти формы. Иногда в скобках дается прямой прототип: *обоз* (*об-воз*); в других случаях такое указание сочетается с примером, в котором используется полная форма корня: "**Обязать...** (*об-вязать*); *обяжу язву твою, црк. об(пере)вяжу*". Но значительно чаще форма с *в* появляется только в толкованиях и примерах. В этом случае толкуемое слово перекликается со словами в толкованиях и между ними устанавливается ассоциация, дающая разгадку к вопросу. При этом нередко Даль в качестве первого слова толкования берет то, которое ближе всего по форме к толкуемому слову, хотя и не самое употребительное. Например. "**Обладать** чем, владать, владеть..." (*владать* наиболее сходно с *обладать*). **Облако** определяется так: "туман в высоте, пары ступевшие в слоях мирколицы (атмосферы). з а в о л а к и в а ю щ и й небо (разрядка наша. – В.Г.). Ассоциация между *облако* и *заволакивающий* наталкивает на мысль, что *облако* происходит от того же корня, что *обволакивать*. В гнезде **Обыкать**, **обыкнуть** пояснения "при(на)выкать, взять привычку" также подчеркивают другую форму того же корня. Этому способствуют и приводимые поговорки: "*На обык есть перевык, Был обык, а стал перевык*". то есть одна привычка может смениться другой. Подобный прием делает изтишним специальное этимологическое указание и более того, делает чтение словаря более интересным, так как "учитель" предлагает постоянно "ученику" малень-

кие задачи, которые тот решает, испытывая при этом удовлетворение и вместе с тем обостряя свое языковое чутье.

Этимология иногда дается эксплицитно, но и здесь Даль старается показать словообразовательные связи: "**Ветчинá** ж. (*ветшинá, от ветхий, пртвп. свежинá*)". Зачем Даль вводит здесь антонимию, ведь он делает это нерегулярно? Видимо для того, чтобы представить читателю деривационную пропорцию, помогающую понять модель словообразования: *свежий – свежинá: ветхий – ветчинá*.

В других случаях Даль вводит этимон в само определение слова. Например, "**Ключ** м. начально клюка́, крюк, которым запирается крестьянский дверной замок. Читатель естественно связывает слова *ключ* и *клюка*. Этимология слова *ключ* в значении "источник" неясна. Некоторые авторы видят здесь общее происхождение с *ключ* в первом значении [Фасмер 1986, II: 258]. Даль разделяет это мнение, но поясняет это так: "**Ключ** || Родник, водяная жила, источник, **о т п и р а ю щ и й** недра земли" (разрядка наша. – В.Г.). Ассоциация *ключ* – отпирать позволяет понять предлагаемое автором происхождение значения слова. Приведем еще один пример. Статья, содержащая слово *город*, начинается с глагола *городить* (Даль подчеркивал отглагольный характер русской деривационной системы) с его производными. И только в середине статьи обнаруживается лексема *город*, которая поясняется прежде всего как "городьба, ограда около жилья, населения, (...) селение, обнесенное городьбой", и только потом уже значит "|| Населенное место, признанное за *город*". Таким образом этимология слова *город* выводится прямо из *городить* без специальных пояснений.

Сходным приемом, ориентированным на активное сотрудничество читателя, пользуется Даль и при определении общих переносных значений слов. Вместо того, чтобы давать сначала общее вторичное значение слова, часто трудно формулируемое, но легко понимаемое, Даль группирует эти выражения так, что их общее значение выявляется "само собой", без труда для читателя. Подобно тому, как нынешние прилагательные *пустой*, *голый*, прилагательное *сухой* в старинном русском языке могло означать "лишенный существенного признака". Даль приводит ряд синтагм, в которых это прилагательное равнозначно *без-*, давая при этом пояснения: *сухая мачта* (*голая*, без парусов), *сухая беседа* (без угощения), *плясать под сухую* (*без музыки*), *сухая любовь* (*платоническая*) и др.

В заключение подчеркнем, что Даль в своем дискурсе постоянно объединял лингвистическое с нелингвистическим, думая при этом о максимальной пользе для читателя. Сравним для примера определение слова **Баба-яга** в разных словарях. ССРЛЯ в 20-ти томах дает такое определение: "В русских народных сказках – мифическое существо, злая и безобразная старуха-колдунья, передвигающаяся в ступе и заметающая след помелом" [ССРЛЯ I: 14]. Приводятся примеры, в которых это имя переносно используется для обозначения страшного вида женщины, злой, сварливой женщины и женщины, неопрятно одетой (цитата из Шуртакова: *При муже ...она ходит целый день бабой-ягой, чтобы потом перед посторонними, чужими людьми блистать королевой*). Эта цитата не оправдывается сделанными в словарной статье пояснениями. В словаре БТС: "В народных сказках: безобразная старуха-колдунья, передвигающаяся в ступе и заметающая след помелом (хозяйка леса, повелительница его обитателей, вещая старуха, страж входа в царство Смерти, живущая в дремучем лесу в избушке на курьих ногах). Разг. О злой сварливой женщине" [БТС 1998: 54]. Здесь есть полезное уточнение об избушке на курьих ножках, по некоторые детали, данные в скобках, более уместны в мифологическом словаре. Происхождение метафоры в примере из Шуртакова не обосновывается. Обратимся к словарю Даля: "**Баба-яга**, сказочное страшилище, большуха над ведьмами, подручница сатаны; *Баба-яга костяная нога: в ступе едет, пестом погоняет (упирается), помелом след заметает; она простоволоса и в одной рубахе, без опояски; то и другое верх бесчиния*".

Это определение имеет два преимущества. Во-первых, признаки бабы-яги даны не от автора, а как цитаты из народных присказок. Таким образом, здесь Даль "убивает сразу двух зайцев": он дает характеристику объекта и при этом ходячие выражения, к нему относящиеся. Во-вторых, он перечисляет все признаки объекта, которые символизируются в переносных употреблении слова. Только Даль позволяет понять цитату из Шуртакова: ходить женщине в одной рубахе, без опояски без головного платка – верх бесчиния. Это – один из принципов далевской разработки семантики слова: связать переносные значения с признаками описываемого словом объекта.

В последнее время в одноязычных и в меньшей степени в двуязычных словарях заметна тенденция включать в словарь, иногда даже в виде отдельных вставок, помещаемых в корпус словаря в алфавитном порядке, разъяснения, касающиеся произношения, орфографии, грамматики и проч., так что словарь превращается в своего рода энциклопедию языка, что, конечно, повышает его значимость как справочного издания. Некоторые элементы такого подхода мы обнаруживаем и в словаре Даля. Прежде всего это касается произношения и орфографии. Например, при букве А он рассуждает о различии между аканием и оканьем, в отношении буквы Г он также говорит о тройном ее произношении: звонком, глухом и придыхательном (*Бог*) и предлагает для последнего ввести особый знак – г с точкой сверху. В вопросах орфографии Даль проявляет прогрессивные устремления. Отмечая, что написание *ять* вызывает путаницу, он считает, что "можно было бы остаться при одном е" [Даль 1994, 2: 1517]. Еще более решительно он высказывается относительно буквы ъ, считая, что ее можно было бы "откинуть" в конце слова, оставив только в середине, где она нужна для произношения. Большую познавательную и воспитательную роль в словаре выполняют примеры. Даль отказался от цитатных примеров, кроме некоторых, заимствованных из древних текстов. Некоторые цитатные примеры из классических писателей были добавлены Бодуэном де Куртене. Он использует примеры двух типов: собственные составительские для иллюстрации обычных употреблений слова и народные пословицы и речения, которые выполняют тройную задачу. Они показывают случаи употребления слова, часто в связи с устройством самой реалии, расширяют знание о языке, так как пословицы и готовые речения – часть языка, и раскрывают чувствования и мирозерцание народа. Широкое использование пословиц в виде иллюстраций – оригинальная черта словаря Даля. Само расположение пословиц внутри соответствующего раздела подчиняется определенной логике. Например, в статье **Горшок** сначала приводятся пословицы, отражающие свойства горшка (*Горшку с котлом не биться*), затем назначение (он служит для варки и хранения пищи: *Худ торжок, да не пуст горшок*), затем принадлежность горшка (и приготовления пищи) в семье к сфере женщины: *Не столько муж мешком, сколько жена горшком*, сберегает, приносит в дом. И в конце – сравнение горшка с человеком и его судьбой. Если авторские примеры раскрывают обычное употребление слова, то в пословицах и поговорках отражаются человеческие отношения, например, при слове **Обед**: *Кабы я ведал, где ты ноне обедал, знал бы я, чью ты песенку поешь. Про то дедушка не ведает, где внучек обедает. Не для того в гости едут, что нечего обедать. Обедай, да не объедай*. В подборе пословиц Даль показывает лучшие черты народа. Например, при слове **Сила** подчеркивается народное миролюбие: *Сила – уму могила. Сила – нелюбовь. Силой у Бога не вырвешь. Слово не совет, а сила не брань. Что силою взято, то не свято. И сила уму уступает*. И здесь проявляется особый далевский дискурс.

- Бодуэн де Куртене* 1994 – Предисловие к первому выпуску // Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х томах. Т. 1. М., 1994.
- БТС – Большой Толковый словарь русского языка. СПб., 1998.
- Даль В.* 1995а – О наречиях русского языка // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.
- Даль В.* 1955б – О русском словаре // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955.
- ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка: В 20-ти томах. М., 1991. Т. 1.
- Фасмер М.* 1986 – Этимологический словарь русского языка / Под ред. О.Н. Трубачева. Т. II. М., 1986.
- Щерба Л.В.* 1974 – Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
- Dubois* 1971 – Dubois J. et Cl. Introduction à la lexicographie: le dictionnaire. Paris, 1971.
- PR 2000 – Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris, 2000.

© 2001 г. Т.И. ВЕНДИНА

В.И. ДАЛЬ: ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО

Exegi monumentum. Эти слова Горация, взятые А.С. Пушкиным в качестве эпиграфа к стихотворению "Я памятник себе воздвиг нерукотворный", с полным основанием можно отнести к "Толковому словарю живого великорусского языка" В.И. Даля, которому он отдал более пятидесяти лет своей жизни. Феномен Даля – явление исключительное в русской культуре, которая сильна такими подвижниками, как Даль. Начав свою работу над словарем еще в юности (первая запись его датируется 1819 г., т.е. когда Далю было всего 18 лет), он продолжал ее до самой смерти: уже будучи тяжело больным, за неделю до смерти, В.И. Даль просит дочь внести в рукопись словаря (второе издание которого он готовил) четыре новых слова, услышанных им от прислуги [Даль 1978, I: I–XC]. И в этой любви к русскому слову проявляется особенность языковой личности Даля, вся жизнь которого – это "одна, но пламенная страсть", страсть к собирательству русского слова и шире – русской словесности (песен, сказок, легенд, пословиц, поговорок и проч.).

Прошло более ста лет после выхода этого Словаря, но он по-прежнему не утратил своей лингво-этнографической ценности, оставаясь явлением уникальным и исключительным в нашей культуре. Несмотря на то что в своей теоретической части (принципы расположения материала, толкования слов, приемы иллюстраций и проч.) Словарь несколько устарел, однако его фактический материал сохранил свое значение вплоть до наших дней, являя собой сокровищницу народной мудрости и память об ушедших в прошлое обрядах и обычаях русского народа. Поэтому ни один из последующих диалектных словарей не может сравниться со Словарем В.И. Даля, который навсегда останется этнографической энциклопедией русского народа и лучшим справочником этого типа.

Писать и говорить о В.И. Дале – значит писать и говорить о целой эпохе в истории русского языка. Это была эпоха своеобразной "переоценки ценностей". "Громадным переворотам надобно было совершиться и в жизни, и в умах, ... чтобы перенести свои эстетические интересы от Вергилия и Вольтера к простонародной песне, ... от Рафаэля к бессмысленному зору бабьего полотенца", – писал об этом времени современник В.И. Даля Ф.И. Буслаев [Буслаев 1874: 647]. Учитывая общую ситуацию, время, когда создавался Словарь (а это было время поисков исконных основ национальной культуры, незатухавшей борьбы за выработку основ и норм общерусского национального языка, время усиливавшегося процесса легитимации русской разговорной языковой стихии), накал общественных и научных страстей, связывавших собственно лингвистические проблемы с общекультурными, можно понять и многое объяснить в лексикографической деятельности Даля. Будучи одним из ярких представителей демократизации языка, Даль последовательно защищал идею создания литературного языка на народной основе. «Пришла пора подорожить народным языком и выработать из него язык образованный, – пишет Даль в "Напутном слове" к Словарю. – Народный язык был доселе в небрежении; только в самое последнее время стали на него оглядываться, и то как будто из одной снисходительной любознательности» [Даль 1978: XIII]. Живой народный язык, считал Даль, "сберегший в жизненной свежести дух, который придает ему стойкость, силу, ясность, целость и красоту, должен по-

служить источником и сокровищницей для развития образованной русской речи". Это преимущество народного языка перед европеизированным литературным, по мнению Даля, заключалось в следующем: 1) в большом количестве существительных и в неисчерпаемом запасе художественных и технических выражений, чуждых образованному классу и неудачно замененных иностранными словами; 2) в богатстве уменьшительных и увеличительных имен; 3) в избытке местоимений и числительных; 4) в разнообразном и выразительном способе образования прилагательных; 5) в большом количестве глаголов, обладающих более определенными формами; 6) в неисчерпаемом богатстве вспомогательных слов; 7) в богатстве пословиц, поговорок, аллегорий, известных только в "неиспорченном" народном языке [Даль 1958: 18]. Поэтому всеми силами своего ума и сердца Даль стремился возродить интерес общества к живому русскому слову, его фольклорно-этнографическим истокам, и в целом "к утраченному русскому духу".

Творчество Даля было во многом подготовлено эпохой предшествовавшего и современного ему языкового развития. Оно являлось, с одной стороны, последовательным продолжением возникшего еще в XVIII в. интереса к "коренным", "первообразным или первобытным" словам русского языка (составление "Лексикона русских примитивов", т.е. "коренных" или "первообразных" слов русского языка начал еще М.В. Ломоносов, о чем он писал в одном из своих отчетов Российской Академии наук (см. [Успенский 1994: 371]), а с другой – оно было отражением стремительного процесса сближения литературного языка с живой устной речью. В этих условиях «возникает неудовлетворенность старыми словарями русского языка ("Словари Академии Российской" 1789–1794 гг. и 1806–1822 гг.), которые по преимуществу канонизировали лексику славяно-русского языка и столичной интеллигентской разговорной речи, крайне ограничивая материал из языка широких демократических масс, особенно из крестьянского языка и из профессиональных диалектов городского мещанства» [Виноградов 1978: 56]. Словарь Даля снимал эти ограничения, ибо он содержал "речения письменные, беседные, простонародные, общие, местные и областные, обиходные, научные, промысловые и ремесленные, иноязычные, усвоенные и вновь заходящие с переводом, объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и частных ... с показанием различных значений, указания на словопроизводство, примеры с показанием условных оборотов речи, ... пословицы, поговорки, присловья, загадки, скороговорки и проч." [Даль 1978, I: XXIII]. Являясь самым полным по словнику словарем русского языка (более 200 тыс. слов), словарь Даля представляет собой разнообразное собрание лексики живого разговорного языка первой половины XIX в., поскольку в нем нашли отражение не только территориальные диалекты, но и социальные (язык охотников, рыбаков, моряков, ямщиков, торговцев, шерстобитов и др. ремесленных групп). Используя слова В.Г. Белинского, можно с полным основанием сказать, что Словарь Даля явился "энциклопедией русской жизни", сокровищницей народной мудрости, народного быта, обычаев и традиций.

Действительно, в какую бы словарную статью мы ни заглянули, везде мы найдем, помимо собственно лингвистического, богатейший этнографический и фольклорный материал. Охватывая не только сферу языка, но и сферу культуры, Словарь Даля отразил специфику этнического сознания и культурного феномена русского народа. Толкуя то или иное слово или фразеологический оборот, Даль выходит за рамки обычной лексикографической традиции, поэтому его толкования слов отличаются энциклопедичностью: давая пояснения самим предметам народного быта (см., например, словарные статьи *кунтуш*, *леваха* и др.), обычаям, ритуалам (ср., например, словарные статьи *бросать*: *бросать башмачок*; *береза*: *завивать березку*, *накормить березовой кашей*), иллюстрируя их нередко рисунками (см., например, словарную статью *шляпа*), он приводит множество поверий и примет, связанных с различными сторонами крестьянской жизни (сельскохозяйственным календарем, сопровождаемая его приметами о погоде, урожае, приплоде, календарных запретах и проч.; свадьбой, похоронами, проводами), дает сведения о способах магического исцеления, гаданиях и проч. и сооб-

щает множество других этнографических данных (ср., например, словарные статьи *кум, кума; купать; лель* и др.), рисуя тем самым картину материального быта и духовной культуры русского народа. Особенно ярко это стремление Даля показать фольклорно-этнографические истоки слова проявляется при сопоставлении его словаря с "Опытом областного великорусского словаря" (1852), ср., например, толкование слова **банник** в обоих словарях: "Опыт" – *банник* 'хлеб, зашитый в скатерть вместе с жареною птицею и двумя столовыми приборами. Этим хлебом благословляет невестина мать отъезжающих к венцу жениха и невесту'; Даль – *баенник* 'хлеб, коим мать невесты благословляет к венцу молодых: хлеб, соль, жареная птица и два полных столовых прибора; все это зашивается в скатерть и сдается свахе, а она расшивает банник на другой день, по выходе молодых из бани, которые и едят его одни, самдруг'.

Такой способ подачи материала был по достоинству оценен как лексикографами XIX в. (фольклорно-этнографический принцип построения словарной статьи был впоследствии использован А.О. Подвысоцким в его "Словаре областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении" [Подвысоцкий 1885] и Г.И. Куликовским в "Словаре областного олонечского наречия в его бытовом и этнографическом применении") [Куликовский 1898], так и современными диалектными лексикографами. Не случайно во многих современных диалектных словарях и программах по сбору диалектного материала нередко содержится богатый иллюстративный материал и даются подробные описания реалий народного быта. Интерес В.И. Даля к обрядам, обычаям и поверьям как составной части культуры русского народа дал толчок и стимулировал развитие этнографической диалектологии (см., например, "Проект словаря русской этнографической диалектологии" С.А. Еремина [Еремин 1926]) и этнолингвистической лексикографии (см., например, "Словарь свадебной лексики Орловщины" М.В. Костромичевой [Костромичева 1999]).

Отметим еще одну, чрезвычайно важную сторону словаря Даля, которая по достоинству начала оцениваться только сейчас. Словарь являет собой первый опыт создания словаря недифференциального типа, т.е. в нем нашла отражение как собственно диалектная, так и общенародная лексика, что полностью отвечало духу его времени, времени поисков и выработки основ и норм общенационального языка. Более того, благодаря этому новаторству Даля, словарь сохранил для нас те диалектные особенности русского языка, которые в силу естественных языковых процессов оказались сегодня полностью или частично утрачены. Это обстоятельство является чрезвычайно важным при историческом изучении лексики русского языка, особенно исторической диалектологии. При историко-лексикологических исследованиях русского языка второй половины XVIII в. помощь словаря Даля просто неоценима, поскольку именно этот словарь дает основания для суждений о значении и локальной приуроченности того или иного слова, отмеченного в тексте произведения (так, например, в комической опере Н.П. Николаева "Розана и Любим" встречается слово *колывань*, отсутствующее в толковых и переводных словарях XVIII–XIX вв.: [Щедров:] *Дать было ему денег... Вот тебе на лапти. [Лесник:] Отец мой! Да тут на целую неделю колывань*. В словаре Даля мы находим значение этого слова: 'пир, празднество'¹).

Вместе с тем следует отметить, что такое лексикографическое решение Даля ставило его в известной степени в оппозицию к Российской Академии наук, которая при составлении Словаря Академии Российской (1789–1794 гг.) отказалась от принципа включения в Словарь всех областных слов и приняла решение "оставить в Словаре лишь те областные слова, которыми изображаются вещи, орудия и проч., в столицах неизвестные, а также те, которые могут послужить к обогащению и обилию языка или же изяществом своим превосходят слова, в столицах употребляемые" [Записки 1784: 43], ср. также позицию А.Х. Востокова, возглавлявшего работу над "Опытом областного великорусского словаря", который считал только архаическую часть диа-

¹ Подробнее см. [Князькова 1979: 178].

лектной лексики заслуживающей внимания и отражения в "Опыте"². Впоследствии это лексикографическое новаторство Даля было забыто и большинство диалектных словарей создавалось по принципу дифференциального типа, когда в центре внимания лексикографа оказывалось лишь диалектное слово (реже – значение), неизвестное литературному языку. И только сравнительно недавно снова возродился интерес к диалектным словарям недифференциального типа, ярким образцом которого в отечественной лексикографии является Псковский областной словарь (1967).

Появление Словаря Даля было встречено неоднозначной оценкой этого лексикографического труда. И от современников Даля, и, к сожалению, сегодня можно нередко услышать упреки в его адрес в том, что он сам собрал небольшой материал, обобщив в основном диалектные материалы "Опыта областного великорусского словаря" и других диалектных словарей. Даль и не скрывал этого. В своем "Напутном слове" к читателю он так говорит о своем способе обработки материала: "Составитель, идучи по самому полному из словарей наших, по академическому, пополнял его своими запасами, эта же работа пополнялась еще словарями: областным академическим, Бурнашева, Анненкова и др." [Даль 1978, I: XXVI]. Однако мало кто обращает внимание на следующие слова Даля: "...сколько слов пополнено вновь из запасов моих, я смогу сказать только по окончании всего труда, но знаю, что их будет никак не менее 70-ти или 80-ти тысяч". В Словаре была, по сути дела, впервые осуществлена плодотворная идея обогащения материалов ранее составленных печатных источников рукописными (Даль включил в Словарь не только то, что было собрано им лично, но и тот огромный материал, который был прислан ему его многочисленными корреспондентами). К этому можно лишь добавить, что тот, кто когда-нибудь работал с "Опытом", собирая по нему интересующую его лексику, не мог не обратить внимания на удивительную повторяемость таких географических помет, как *Пск.*, *Твер.*, *Волог.*, что говорит о том, что именно северо-западная зона русских диалектов лучше всего была обследована диалектологической комиссией, тогда как в Словаре Даля географические пометы распространяются вплоть до самых окраин Российской империи. В этой связи хотелось бы отметить и такой интересный факт современной диалектной лексикографии, как стремление максимально укрупнить территорию обследования и создать словари-компендиумы, ср., например, такой крупномасштабный лексикографический проект, как "Словарь русских народных говоров", который обобщил разбросанные по многочисленным источникам сведения по лексике, собранной русскими диалектологами более чем за 170-летний период (с начала XIX в. до наших дней). Несмотря на это в словаре при очень многих словах приводятся лишь пометы В.И. Даля (ср. *байдачить* 'бурлачить' Южн. [Даль, СРНГ, 2: 54]; *батырить* 'искусно и отважно ездить на коне' Оренб. [Даль, СРНГ, 2: 148]; *бирюк* 'барсук' Нижегород. [Даль, СРНГ, 2: 294]; *биснеть* 'сесть' Арх. [Даль, СРНГ, 2: 296]; *блзнить* 'обманывать' Сев. [Даль, СРНГ, 2: 314] и др.). Более того, в настоящее время широко развернулась работа по реализации нескольких таких больших проектов. Это "Словарь севернорусских говоров", под "крышкой" которого будут объединены вышедшие уже Словарь говоров Среднего Урала, Архангельский словарь, Вологодский словарь и др., а также сводный "Словарь сибирских говоров". Таким образом, опыт Даля, несмотря на критику, оказался востребованным и успешно осваивается современными диалектными лексикографами.

² В сохранившемся первоначальном варианте Предисловия к "Опыту" четко выражены принципы отбора диалектной лексики, подлежащей лексикографической обработке: вся диалектная лексика подразделяется А.Х. Востоковым на два класса: первый составляют слова, "кои по неправильности состава и уродливости своей не заслуживают внимания", второй класс образуют слова, "кои могут служить к обогащению языка", сюда им относятся те из областных слов, которые ранее принадлежали всему языку, но впоследствии исчезли из общенародного употребления и сохранились только в говорах (см. Архив АН СССР, ф. 108, оп. 1, № 284, л. 1).

Другим упреком В.И. Даля был упрек в недостоверности его материалов, а именно то, что многие слова являются плодом его фантазии, продуктом собственного языкотворчества. Как показали последние филологические исследования (см., например [Дейкина 1993]), эти упреки лишь отчасти имели под собой основания. В Словаре Даля действительно имеется немало слов (около 14 тыс.), которые являются его новообразованиями. Однако все эти слова, по определению самого Даля, являются либо "объясняемыми" словами, т.е. именами, толкуемыми внутри словарной статьи, с помощью которых иллюстрируются "живые, жизненные" связи в "семье" однокоренных слов, либо "объяснительными", т.е. именами, которые используются им для толкования заимствованных слов (ср., например, *ловкосилие* вместо гимнастика, *особщина* вместо сепаратизм, *дикобразность* вместо барокко и др.), но в "красной строке", т.е. в заголовке словарной статьи-гнезда, ни одного из созданных Далем слов нет. Все эти имена существуют только в контексте словарной статьи, их породившей, и появление их следует расценивать как реализацию общей языкотворческой программы Даля, имевшей своей целью реформирование литературного языка-"каженика" на основе русской народной речи. Вот как писал сам Даль об этом: "Такой переворот предстоит ныне нашему языку... Все, что сделано было доселе, со времен петровских, в духе искажения языка, все это неудачная прививка как прищепа разнородного семени, должно усохнуть и отвалиться, дав простор дичку, коему надо вырасти на своем корне, на своих соках, сдобриться холей и уходом, а не насадкою сверху..." [Даль 1978, I: XXI]. "Переворот" этот, по мысли Даля, должен был состоять, с одной стороны, в "включении" в язык народных слов и выражений, а с другой – в "развитии наперед" законов словотворчества: Словарь Даля должен был открыть неисчерпаемые возможности "законов словопроизводства" при создании не только слов, равноценных заимствованиям, но и слов "русского склада", которые "требуют в словаре своего места" по закону "живой жизненной связи всех слов" в языке.

Поскольку основной "закон словопроизводства" Даль видел в "живой жизненной связи", в "родстве всех слов между собой", то отсюда становится понятным выбранный им принцип построения Словаря – "гнездовой". В практике составления областных словарей в XIX в. (как, впрочем, и сейчас) царил большой разноробой. И сам Даль долго колебался в выборе способа репрезентации диалектного материала. "Одноязычные словари, – пишет он, – доселе составлялись двояко: либо все, без изъятия, слова подбирались сподряд в азбучном порядке, и каждое слово объяснялось по себе, будто иных прочих и не бывало, либо слова подбирались целыми ватагами под один общий корень. Первый способ крайне туп и сух. Самые близкие и сродные речения при законном изменении своем на второй и третьей букве разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи разорвана и утрачена; слово, в котором не менее жизни, как и в самом человеке, терпнет и коснеет; одни и те же толкования должны повторяться несколько раз; читать такой словарь нет сил..., потому что ум наш требует во всем какой-нибудь разумной связи, постепенности и последовательности... Второй способ, корнесловный, очень труден на деле, потому что знание корней образует уже по себе целую науку и требует изучения всех сродных языков, не исключая и отживших...; при этом он основан на началах шатких и темных, где без натяжек и произвола не обойдешься; сверх того, порядок корнесловный при отыскании слов предполагает в писателе и в читателе не только ровные познания, но и одинаковый взгляд и убеждения насчет отнесения слова к тому или другому корню. Корнесловный словарь... как противоположность азбучному словарю крайность, он для обихода также не удобен. ... Сделав несколько неудачных попыток в том и другом роде, составитель ... решил собрать по семьям или гнездам все очевидное родственные слова, устранив те производные, в которых изменяются начальные буквы; это попытка на способ средней между голословным и корнесловным словарями" [Даль 1978, I: XIX–XXI]. Именно такой способ подачи материала должен был способствовать, по мнению Даля, пониманию внутренней логики образности народной речи, "постижению духа языка, законов его словообразования". "Не усвоим ли мы себе

легче утраченный нами дух языка, – задает риторический вопрос Даль, – при том гнездовом или семейном порядке составления словаря, какой читатели видят ныне перед собою?" [Там же]. В качестве иллюстрации алфавитно-гнездового способа расположения слов в Словаре, при котором в одном гнезде оказываются связаны термины семейной, календарной и сельскохозяйственной обрядности, можно привести гнездо с названием традиционной русской пищи **блин**: *блины, блинки, блинцы и блиночки*, которыми обычно празднуется наша масляна... Блинами поминают покойника и празднуют свадьбу; блины называется стол у родителей на другой день свадьбы... *Блинница* свтб. Девушка, приходящая к молодой на др. день свадьбы с блинами. // Масляна... *Блинщина* ж. пора блинов, масляна, сырная, блинная неделя [Даль 1978, I: 97], подробнее см. [Плотникова 2000: 35]. И хотя Далю не удалось избежать некоторых трудностей и опасностей гнездового способа построения Словаря (от которых он сам же и предостерегал), однако его преимущества были по достоинству оценены как современниками Даля, так и диалектными лексикографами последующих поколений.

Более того, гнездовой способ репрезентации материала, при котором не обрываются смысловые связи между производящим и производным словом, актуализирующим семантику, стертую (или отнесенную на периферию) в производящем, оказался созвучным некоторым идеям современной лингвистики. Думается, что осознание этой внутренней функционально-семантической связанности дериватов одного гнезда явилось толчком к возникновению такого научного понятия, как семантико-символическая парадигма, успешно применяемого в работах по этнолингвистике и диалектному словообразованию (см., например, работы С.М. Толстой [Толстая С.М. 1989], Т.И. Вендиной [Вендина 1999]). Построенная на основе общности мотивировочного признака и представляющая собой мотивационный лексический ряд, в котором могут объединяться функционально разнородные значения, семантико-символическая парадигма предстает в виде "текста", позволяющего проникнуть в глубинные основы языкового сознания народа. Видя перед собой огромное разнообразие словообразовательных моделей, репрезентирующих название той или иной реалии, исследователь с помощью словообразовательного анализа, при котором учитываются структурно-семантические отношения, возникающие между производящим и производным словом, выявляет общие закономерности номинации реалий, выполняющих одну и ту же или разные функции, но имеющих определенную связь с одним и тем же исходным понятием. Так, в частности, использование понятия семантико-символической парадигмы позволило нам выявить символику различных цветов в русских диалектах, например, с **белым цветом** в русских диалектах чаще всего связывается сема **хороший** (само прилагательное *белый* в псковских говорах имеет значение 'хороший' Пск. [СРНГ, 2: 229]); именно с этой семой и вообще с положительной символикой белого цвета связаны и названия *белого гриба-боровика* *Boletus edulis* Bull. (ср. *белевик* Вост. Урал [СРНГ, 2: 208]; *беловик* Урал. [СРНГ, 2: 217]; *белоголоник* Свердл. [СРНГ, 2: 218]; *белогриб* Перм. [СРНГ, 2: 219]; *белыш* Пск. [СРНГ, 2: 233]; *беляк* Симб., Тул., Тамб., Пенз., Смол. [СРНГ, 2: 239]; *белянка* Пенз., Тамб. [СРНГ, 2: 240]; *беляшка* Твер. [СРНГ, 2: 241]), ср. также название ядовитого гриба 'белая поганка' *белянка* Яросл., Урал. [СРНГ, 2: 240], в котором белый цвет выполняет маркирующую функцию и передает онтологические свойства данной реалии; эта же сема актуализируется и в названии крупнствольного *леса* (ср. *бель* 'хороший крупнствольный, с преобладанием ели, лес, не засоренный подлеском' Сев.-Двин. [СРНГ, 2: 234]), а также *праздничной одежды* (ср. *белье* 'лучшая одежда в противоположность плохой одежде' Костром. [СРНГ, 2: 236]). С белым цветом оказывается нередко связана и сема *свободный*, актуализируемая чаще всего в названиях свободной от поселений или сельскохозяйственных работ *земли* (ср. *беловодье* 'ником не заселенная, "вольная" земля' Южн.-Сиб., Том., Енис., Зап.-Сиб. [СРНГ, 2: 217]; *белик* 'нов, целина' Сиб. [СРНГ, 2: 212]), а также в названиях лесных полян, т.е. пространства свободного от деревьев (ср. *белина* 'поляна в лесу' Калуж. [СРНГ, 2: 214]; *бельнь* 'обширная поляна

или большой луг среди леса' Ярослав. [СРНГ, 2: 229]). Эта же сема имплицитно присутствует в лексеме *обелина* 'оставшееся незакрытым соломой место на крыше, на дворе' Казан. [СРНГ, 22: 30]. С белым цветом соотносится и понятие *чистоты* (ср. *белизна* 'исключительная чистота' Смол. [СРНГ, 2: 212])³, не случайно именно с белым цветом связана свадебная терминология (ср. *беленье* 'вывод молодой на улицу' Влад. [СРНГ, 2: 211]; *белилы* 'девичник' Арх., Влад., Пск., Смол. [СРНГ, 2: 213]) и т.д. (подробнее см. [Вендина 1999: 289]).

Такой подход к обработке и репрезентации диалектного материала в рамках одной словарной статьи способствовал комплексному изучению диалектов и народной духовной культуры, что нашло яркое выражение в работах Д.К. Зеленина, а также многочисленных учеников этнолингвистической школы Н.И. Толстого.

Каждое гнездо словарной статьи Словаря содержит богатый иллюстративный материал (включая фразеологизмы, пословицы, поговорки, загадки, заговоры, суеверия и проч. (их в Словаре более 30 тыс.)), который сопровождается развернутым комментарием, обнаруживающим превосходное знание В.И. Далем быта, нравов и обычаев русского народа, и являет собой, по сути дела, лингво-этнографический принцип подачи материала, при котором "слова не отрываются от вещи" (см., например, словарную статью *лапоть*, в которой даются не только разные названия лаптей, но и описываются различные способы их изготовления и ношения или толкование названий демонологических персонажей, типа *баба-яга, лесовик, кикимора, русалка* и др., в которое включается не только описание внешнего вида, функций и способов общения с человеком, но и приемы противодействия и т.д.), а в конечном итоге – репрезентацию того или иного фрагмента народной культуры. Обладая глубоким языковым чутьем, Даль в каждой словарной статье дает, по существу, концептуальное описание основных ключевых понятий русской духовной и материальной культуры. Проиллюстрируем это положение на примере такого базового концепта любой культуры, как труд.

Судя по материалам Словаря Даля, в русском языковом сознании различались понятия *работать* и *трудиться*.

Словообразовательное гнездо глагола *работать* довольно бедное, причем, кроме значения 'трудиться', у него имеется значение 'работать на кого-либо' (ср. русскую пословицу: *Чей хлеб ем, того и ем или на того и работаю* [Даль 1978, IV: 5]). Это значение подтверждают и современные диалектные словари. ср. глаголы *работничать* 'работать по найму, батрачить' [СРНГ, 33: 241]; *работать за присевок* 'работать у хозяйна только за пропитание' Хабар. [СРНГ, 33: 239]. В этой же словарной статье Даль отсылает нас к церковнославянскому языку, в котором глагол *работати* имел значение 'быть в рабстве, служить кому-либо'. Еще ярче это значение глагола *работать* выражено в старославянском языке, где *работати* 'тяжело работать на кого-либо' [СС: 563]; *поработати* 'окончить рабский труд' [СС: 480], т.е. налицо ущемление свободы человека.

Что касается глагола *трудиться*, то его основное значение связано с указанием на добровольный труд, труд на себя (сама возвратная форма глагола отсылает нас к семе *трудить себя*). Кроме того, как свидетельствуют материалы Словаря Даля, в русских диалектах он часто оказывается связанным с темой страданий и мучений (ср. *трудиться* 'мучиться долго, маяться перед смертью' Волог. [Даль 1978, IV: 437]; *трудиться* 'долго быть больным, страдать какой-либо тяжкою болезнью' Волог., Пск. [Опыт 1852: 233]; *трудяться* 'мучиться, долго страдать' Волог. [Даль 1978, IV: 437]). Сохраняется в русских диалектах и значение 'трудиться' у глагола *страдать*. Интересно, что в русских диалектах (причем, в основном в севернорусских) глагол

³ Ср. также наречия с этим же значением *вобело* 'очень чисто' Свердл. [СРНГ, 4: 326]; *набело* 'очень чисто' Твер. [СРНГ, 19: 112].

страдать, страдовать имеет значение 'усиленно работать, трудиться' (ср. также др.-русск. *страдамаа земля* 'пахотная земля' [Срезн., III: 532]). В связи с этим нельзя не привести интересные наблюдения над концептом и темой труда в древнерусской литературе В.Н. Топорова: "Труд в русском языковом сознании не просто работа, некое занятие,.... труд прежде всего *труден* и мучителен (время его – *страда* – своим обозначением отсылает к теме страдания), он понимается как нечто вынужденное, принудительное (*нужда, нудить*), и в этом смысле он не просто бремя, но и проклятие человеческой жизни" [Топоров 1995: 704]. На эту же связь глагола *трудиться* с темой страданий и мучений указывает С.М. Толстая, приводя интересные примеры из различных славянских диалектов. Рассматривая семантическое развитие слов синонимического ряда, связанного с семантикой труда, она приходит к чрезвычайно интересному выводу о том, что "лексема **trud-* покрывает своей семантикой весь жизненный путь человека – от рождения в трудах и муках (ср. серб.-хорв. *трудити се* 'рожать') через непрерывный труд всей жизни до последних смертных мук (ср. блр. *Тата сільна трудніўся, пакуль умёр*)" [Толстая 1998: 27].

Таким образом, для русского языкового сознания тема труда тесно связана с темой страдания, мученичества. *Трудником, тружеником* в русских диалектах называется человек, добровольно обрекший себя на тяжкие труды, сподвижник, мученик, трудящийся неумолимо. *Трудник*, по Далю, вместе с тем и человек, работающий на монастырь, и сподвижник по обету [Даль 1978, IV: 437]. Нести это бремя человеческой жизни легче сообща, всем вместе, и тот, кто уклоняется от этой ноши, заслуживает презрения. В русском языковом сознании лень входила в противоречие не только с православной этикой, для которой было характерно понимание труда как источника и способа стяжания Божьей благодати (ср. приводимые Далем русские пословицы *Бог труды любит* или *Богу молись, а сам трудись*), но и с принципом выживаемости, а также с принципом соборности, коллективности (отлынивая от работы, человек перекладывал ее на другого). Вот почему так много в русских диалектах названий ленивого, нерадивого человека, в которых отчетливо просвечивает отрицательное отношение русских к человеку пассивному, бездеятельному.

Мы привели лишь небольшой пример, иллюстрирующий потенциальные возможности Словаря, который можно с полным основанием назвать словарем концептов русской культуры, ибо этот Словарь позволяет читателю проникнуть в тайны "народного духа", мироощущения и мировидения: лексика, представленная в Словаре, – это огромный языковой мир русского народа, требующий еще своего постижения.

Более того, можно без преувеличения сказать, что антропоцентрический подход к языку как новая парадигма современной лингвистики был, по сути дела, на стихийно-эмпирическом уровне реализован уже Далем, доказавшим, что этот подход к языку требует привлечения разнотипных языковых единиц, которые, "будучи членами единой репрезентативной системы, с необходимостью отражают определенные аспекты концептуальной картины мира или знание о мире" [Кравченко 1999: 6]. Это достижение Даля особенно актуально сейчас в связи с развитием лингвокультурологии как интегративной науки, ориентированной на изучение способов воплощения в живом национальном языке материальной и духовной культуры этноса.

Многие из приведенных Далем слов живы и сегодня в русских диалектах. А поскольку Словарь Даля является словарем недифференциального типа, то его можно рассматривать и как источник для решения такой чрезвычайно важной проблемы истории русского языка, как соотношение лексики литературного языка с лексикой русских народных говоров, т.е. Словарь дает толчок лексикологическим разысканиям в области становления и развития словарного состава русского литературного языка, определения "путей и сроков проникновения разных народно-лексических струй в литературную речь", о чем в свое время писал В.В. Виноградов (ср. его слова: "... в изучении народных элементов в составе литературной лексики намечаются два основных направления: это – 1) историко-географический анализ распространения диалектиз-

мов, входивших на время в литературный язык или прочно ассимилированных им, и 2) социально-исторический анализ путей движения разных диалектных слов в систему литературного языка и стилистических условий включения их в литературную норму. В том и другом направлениях необходимо поднимать целину" [Виноградов 1978: 215]). Однако задача эта до сих пор остается нереализованной.

Словарь Даля, таким образом, предвосхитил многие направления в развитии отечественной диалектной лексикологии и лексикографии. Живое, полное любви и творческой силы отношение Даля к народному слову пробуждало этническое самосознание, способствовало развитию и укреплению интереса к русским диалектам, стимулировало тем самым собирательскую деятельность последующих поколений диалектологов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Буслаев Ф.И.* 1874 – Сравнительное изучение народного быта и поэзии // Русский вестник. М., 1874. Т. III.
- Вендина Т.И.* 1999 – Цвет в этнокультурной системе русского, старославянского и древнерусского языков // Славянский альманах. М., 1999.
- Виноградов В.В.* 1978 – О связях истории русского языка с исторической диалектологией // Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
- Даль В.И.* 1958 – Об авторстве русского народа // Канкава М.В. Даль как лексикограф. Тбилиси, 1958.
- Даль В.И.* 1978 – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1978–1980.
- Дейкина А.Ю.* 1993 – Отвлеченные имена существительные-новообразования в "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1993.
- Еремин С.А.* 1926 – Проект словаря русской этнографической диалектологии // Язык и литература. 1926. Т. 1. Вып. 1–2.
- Записки 1784* – Записки Российской Академии. Собрания: 12 марта 1784 г., ст. III. СПб., 1784.
- Князькова Г.П.* 1979 – Толковый словарь В.И. Даля и историческая лексикология // Диалектная лексика 1977. Л., 1979.
- Костромичева М.В.* 1999 – Словарь свадебной лексики Орловщины. Орел, 1999.
- Кравченко А.В.* 1999 – Классификация знаков и проблема взаимосвязи языка и знания // ВЯ. 1999. № 6.
- Куликовский Г.И.* 1898 – Словарь областного олонечского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
- Плотникова А.А.* 2000 – Словари и народная культура. М., 2000.
- Подвысоцкий А.О.* 1885 – Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
- Псковский областной словарь с историческими данными.* Т. 1–9. Л., 1967.
- СРНГ* – Словарь русских народных говоров. Т. 1–33. М.; Л., 1965–1999.
- Срезн.* – Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам: В 3-х томах. СПб., 1893–1903.
- СС* – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994.
- Толстая С.М.* 1989 – Терминология обрядов и верований как источник реконструкции древней духовной культуры // Славянский и балканский фольклор. М., 1989.
- Толстая С.М.* 1998 – Труд и мука // Язык Африка Фульбе. Сборник научных статей в честь А.И. Коваль. СПб., 1998.
- Топоров В.Н.* 1995 – Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. М., 1995.
- Успенский Б.А.* 1994 – Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // Избранные труды. Язык и культура. Т. II. М., 1994.

КС
ЛО
ВТ

© 2001 г. Г.Ф. БЛАГОВА

ВЛАДИМИР ДАЛЬ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ В ТЮРКОЛОГИИ ЛАЗАРЬ БУДАГОВ

I. Юбилейная дата – 200-летие со дня рождения В.И. Даля – послужила поводом еще раз обратиться к вопросам значения его "Толкового словаря живого великорусского словаря" и влияния его на последующую отечественную лексикографию в целом¹. По известному определению, Словарь В.И. Даля – "явление исключительное и, в некотором роде, единственное" [Бабкин 1955: III]; о "единственности" Словаря см. также [Канкава 1958: 331]. Между тем в российской лексикографии существует еще один законченный словарь, построенный, как и Словарь Даля, на гнездовом способе группировки слов и энциклопедичности вещественного толкования слов, этнографической оснащенности надлежащих словарных статей. Такой словарь создан тюркологом Л.З. Будаговым, которого с полным правом можно назвать последователем В.И. Даля в области лексикографии [Благова 1985; 1986; 1988].

При всех их различиях они в чем-то были схожи. В.И. Даль (1801–1872), составитель первого, доселе непревзойденного четырехтомного Толкового словаря живого великорусского языка [Даль (ниже – Д): I–IV] происходил от смешанного брака: отец – датчанин, мать – немка по отцу, француженка по матери. Армянином был Л.З. Будагов (1812–1878), составитель первого сравнительного словаря тюркских языков, "оставившего глубокий след в истории тюркской лексикографии и не потерявшего и поныне своего научного значения" [Кононов 1989: 54], – двухтомного "Сравнительного словаря турецко-татарских наречий, с включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык"² [ЛБ I–II].

Оба – один в большей, другой в меньшей мере – были увлечены Ближним Востоком. Л.З. Будагов родился на пересечении путей из России в Азию – в Астрахани. Языковая полифония южного города его детства определила интерес к восточным языкам; в молодости, после окончания Отделения восточных языков философского факультета Казанского университета, он преподавал азербайджанский и персидский языки в Тифлисе (гимназия и женский институт). С 1844 г. Л.З. Будагов был зачислен преподавателем азербайджанского языка на факультет восточных языков С.-Петербургского университета; адъюнкт с 1849 г., доцент – с 1864 г.; вышел на пенсию 4.IV. 1870 г. [Кононов 1989: 54].

В.И. Даль в своем *sigillum vitae*, записанном Я.К. Гротом, сообщал: "Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая

¹ Вопросы эти применительно к русской лексикографии подробно рассматривались [Канкава 1958: 328–334].

² Ниже применительно к материалам В.И. Даля и Словаря Л.З. Будагова сохранена та лингвоэтнонимическая терминология XIX в., которую употреблял и Даль, и Будагов, поскольку перевод ее на современную систему может внести ненужные разночтения, осложняющие восприятие текста читателем. Сохранено следующее словоупотребление: "турецко-татарские наречия" вместо "тюркские языки и диалекты", ад. – вм. азербайджанский, дж. – вм. чаг.[атайский], кир. (также киргиз-кайсацкий, кайсак-киргизский, кайсацкий) – вм. казахский; каз. – вместо казанско-татарский; среднеазиатско-турецкий – вм. среднеазиатско-тюркский; остальные наименования получили объяснение в тексте статьи.

народ за ядро и корень, а высшие сословия за цвет или плесень, по делу глядя..." (цит. по [Грот 1873: 262]). В качестве военного лекаря он принимал участие в войне 1829 г., в Турции и Польше пробыл до 1832 г. В 1833 г., когда он был переведен в Оренбург чиновником особых поручений при военном губернаторе края В.А. Перовском, начался период жизни, для Даля наиболее важный в познании Востока. За восемь лет (1833–1841) молодой, энергичный и целеустремленный Даль, ученый полевого склада – страстный фольклорист, этнограф, лексикограф-собираатель – изъездил Оренбургский край "весь из конца в конец, вдоль и поперек, совершенно изучил быт киргизов и уральских казаков" [Мельников 1903: XLIX]. По роду службы принимая активное участие в деле улучшения жизни башкир и казахов и от души стремясь оказать им посильную помощь, он обучился изъясняться с кочевниками на их родном языке. Владимир Иванович был так увлечен открывшимся ему своеобразием тюрков-степняков ("смесью необыкновенного, странного, многообразного, хотя еще дикого" – цит. по [Евстратов 1957: 250]), что родившегося в Оренбурге сына-первенца назвал Львом и добавил к этому имени второе: Арслан 'Лев' (см. "сын мой Лев Арслан" (цит. по [Грот 1873: 40]). Д.В. Григорович в своих "Воспоминаниях" пишет с недоумением о «сыне, которого Даль звал почему-то "Ерусланом"» [Григорович 1928: 166].

В.И. Даль, по словам А.И. Герцена, "одаренный выдающимся талантом наблюдения" [Герцен 1952: 219], как литератор и как гражданин стремился ознакомить читателя с мало известными тогда жизнью и бытом населения отдаленного от России края; он пытался при этом осмыслить своеобразный уклад жизни тюрков в историческом аспекте. Именно этим можно объяснить его интерес к сочинению Абу-л-Гази, хана хивинского, "Родословное древо тюрков", которое он – разумеется, с помощью лиц, владевших восточной ученостью, – пытался изучать по арабографичной копии начала XIX в. Занятия эти отразились в его литературных сочинениях; так, в повести "Бикей и Мауляна" имеются упоминания об "историке Абу-ль-Газы, которого можно бы справедливее назвать сказочником", и о его "истории монголов и татар", здесь же приводится цитата из этого труда (в русском переводе [Повести... 3: 350]). В перелагаемой Далем легенде "Шейх Наджмуддин" цитата из Абу-л-Гази приведена на языке тюрки (в квадратных скобках ниже дается более привычная транслитерация арабского словосочетания и персидской лексемы): «Описание осады каждого города оканчивается у Абу-ль-Газы хана словами: килиб алыб, кательгам [катл 'амм] килды, таки калгань ир[йер] брлян сиксан [йексан] килды – то есть: "пришел, взял, вырезал и город сравнял с землею"» [Повести... 4: 515].

В связи с тем интересом, который Даль проявлял к "Родословному древу тюрков", нельзя не отметить, что "замечательный манускрипт" [Березин 1850: 22] – рукопись № 584 Азиатского музея Академии наук в Петербурге – поступила туда от В.И. Даля из Оренбурга. В основной части этой арабографичной рукописи помещается "Родословное древо тюрков" Абу-л-Гази хана. В 1846 г. эту рукопись описал Б. Дорн [Dorn 1846: 541 и сл.], в 1850 г. – И.Н. Березин [Березин 1850: 22–46]. А.Н. Самойлович, обратившийся к этой рукописи, отметил, что после названного текста далее в рукописи следуют на четырех листах "сначала приметы на дни мусульманских месяцев, а затем приметы на 12 лет животного цикла... Список относится к началу XIX в., но языковые особенности собрания календарных примет дают основания предполагать, что оригинал сборника примет был написан в Западном Туркестане в XIV–XV вв."; список исследован А.Н. Самойловичем [Самойлович 1927: 156 и сл.]. Ту из разновременных обработок анонимного сочинения о календарных приметах, которая находится в рукописи Даля, А.Н. Самойлович рассматривал "в кругу не использованных еще исследователями ранних произведений среднеазиатско-турецкой литературы исламской эпохи" [Самойлович 1928: 18].

В.И. Даль не забывал о своих фольклорных и этнографических пристрастиях даже во время тяжелейшего зимнего похода на Хиву В.А. Перовского (зима 1839–1840 гг.). Участник похода, стойко переносивший суровые испытания, он впервые услышал на стоянке в Ак-Булаке казахскую народную поэму о Чуре-батыре. Пораженный ее

сходством с русскими богатырскими сказками, Даль решил записать поэму, а по возвращении в Оренбург перевести ее на русский язык [Бессараб 1968: 132].

Литературные произведения Даля высоко оценивались В.Г. Белинским и А.И. Герценом. "Из всех наших писателей, не исключая и Гоголя, он особенное внимание обращает на простой народ, и видно, что он долго и с участием изучал его, знает его быт до малейших подробностей..." [Белинский X: 260]³. Такими произведениями, "имеющими все достоинства фактической достоверности" [Белинский VI: 509], являются, например, повесть "Бикей и Мауляна" и даже сказочный рассказ "Майна", рассказы из жизни местного люда Оренбургского края (подробно см. [Фетисов 1950: 80–152]). В повести "Бикей и Мауляна", например, описывая заметное событие в жизни казахского населения Оренбуржья – прибытие торгового каравана из Хивы, Бухары и толпу встречающих, – В.И. Даль зорко высвечивает социальное расслоение степняков: "Но верх безобразия представляют здесь собою жалкие ... *байгуши*, киргизские нищие: степные дикари эти нищают целыми аулами и поколениями и гибнут голодом и стужей без всякой надежды на помощь... Полинейные кайсаки вообще так бедны...". И далее: "... есть богачи, у которых десятки тысяч овец и коней, и голыши, у которых на целое семейство одна дойная коза и более доходов решительно никаких, на козу эту выочит целое семейство все имущество свое, и питается молоком ее – через день и два, поочередно; это не сказка, а быль" [Повести... 3: 299–300].

Бытоописательные восточные повести Даля изобиливали этнографическими подробностями и соответственно этнографической лексикой, тюркизмами и ориентализмами (см. об этом ниже).

В продолжение предпринятого сопоставления трудов жизни В.И. Даля и Л.З. Будагова необходимо упомянуть и о несопоставимом: разных масштабах их работы, несравнимо разным охвате исследуемого материала. И это вполне объяснимо обстоятельствами жизни того и другого ученого. В.И. Даль, занимавший достаточно высокие посты в чиновничьей иерархии России (вплоть до директора особенной канцелярии министра внутренних дел и одновременно чиновника особых поручений по этому же министерству, а впоследствии – управляющего Нижегородской удельной конторой⁴), с одной стороны, и заслуженно большое место в общественных, научных, литературных кругах, с другой (что должно быть помножено еще на его необыкновенные научно-организаторские способности и увлеченность своей идеей), имел уникальные возможности для работы над Словарем. Приведем свидетельство младшего современника Даля – Д.В. Григоровича, автора "Антоня Горемыки": "Пользуясь своим положением, он рассылал циркуляры ко всем должностным лицам внутри России, поручая им собирать и доставлять ему местные черты нравов, песни, поговорки и проч. Он охотно давал мне возможность пользоваться таким материалом у себя на дому; он сажал меня в кабинете, и я по целым часам переписывал все, что казалось мне особенно характерным" [Григорович 1928: 116].

Один из первых таких циркуляров (этнографический) был разослан Имп. Русским географическим обществом (РГО), членом-учредителем которого являлся В.И. Даль, в год его основания – 1840 г.⁵ Организацией собирания лексических материалов для

³ В письме Гоголь о Дале писал так: "... писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразию моих собственных требований; каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни..." (цит. по [Канкава 1958: 339]).

⁴ См. из письма Даля от 24.X.1858 г.: "...брдена и чина мне дать невозможно: их надавали мне и так не в меру. ...А самым важным отличием и неоцененною наградою для меня была бы ограда и охрана удельных крестьян от *невыносимого* своевольства полиции и строгое взыскание с них по каждому случаю" (цит. по [Лазаревский 1894: 34–35]).

⁵ Уже из Нижнего Новгорода в письме от 2.VII.1850 г. В.И. Даль писал В.М. Лазаревскому: "Если Вам работа надоела, то пожалуйста пришлите как есть: все-таки труда вашего много и много спасибо. Да нельзя ли хоть **в ы п и с а т ь с л о в а , п о с т у п и в ш и е**

Далева словаря занимались и редакции журналов "Отечественные записки", "Москвитянин", "Московские ведомости", Общество любителей российской словесности; о методах собирания материала подробно см. [Канкава 1958: 54–69].

У Даля было много помощников, знающих и преданных делу. Один из них – В.М. Лазаревский – так писал о служебной обстановке в особенной канцелярии министра внутренних дел: "В канцелярию собирались в 9 часов, расходились в 3 часа. Эти служебные часы Даль посвящал обыкновенно своим филологическим занятиям. Дома он больше стриг и низал словарный материал. В мое время он получал большие посылки местных слов, образчиков местного говора и т.п. по циркулярам разных управлений, преимущественно от директоров гимназий. Все это описывалось в канцелярии в азбучном порядке, на лентах, ленты нанизывались на нитки, укладывались в картонки по губерниям, по говорам. Были полосы, что все писцы занимались этим исключительно, да еще перепискою сказок, пословиц, поверий и т.п., которые доставлялись Далю во множестве отовсюду" [Лазаревский 1894: 13]. И далее: «Но самый воздух в канцелярии до того был пресыщен русской филологией, что я скоро серьезно втянулся в это дело... С отъездом Даля в Нижний (в июне 1849) работа моя не прекращалась. От 22 августа пишет он между прочим: "Спасибо, В.М., за вести ваши, за *работу*, справку и пр. Прощайте, спасибо за прошедшее и будущее" (речь шла о занятиях по словарю)» [Там же: 13–14].

У В.И. Даля была, к тому же, ясная и твердая установка: "Он ограничил изыскания свои настоящим, устремив все силы и средства на собрание и свод того, что ныне составляет весь житейский *быт русского народа*" [ОЗ: 46]. Вместе с тем в Далевом словаре представлена также "лексика литературно-книжного языка (частично и словесный фонд памятников старинной литературы)" [Канкава 1958: 346].

Неотступно и систематически собирал Даль русскую лексику на протяжении всей своей сознательной жизни с убеждением, что мы русского языка не знаем: "При недостатке книжной учености и познаний, самая жизнь на деле знакомила, дружила меня всесторонне с языком... С 1819 года... я не пропустил дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение своих запасов" (цит. по [Грот 1873: 42]).

Про результаты своего полувекового самоотверженного труда В.И. Даль сказал: "Это не словарь, а *запасы для словаря*; скиньте мне 30 лет с костей, дайте 10 лет досугу, и велите добрым людям пристать с добрым советом – мы бы все переделали, и тогда бы вышел словарь" (цит. по [Грот 1873: 45])⁶. Словарь свой Даль составлял уже по выходе на пенсию (октябрь 1859 г.), а в письме к В.М. Лазаревскому [1857 г.] сообщал о состоянии своего здоровья: "Не могу ехать (в Петербург), слаб и хил, обручи едва держатся, а сползут, так клёпки рассыпятся" [Лазаревский 1894: 25].

Двухтомный "Сравнительный словарь турецко-татарских наречий" – это труд жизни скромного доцента факультета восточных языков С.-Петербургского университета и драгомана V класса при Азиатском департаменте Л.З. Будагова, который мог рассчитывать только на собственные силы и знания. К тому же составитель этого Словаря стремился решить "двойственную задачу": "внимание мое и не могло быть обращено на исключительную разработку предмета с ученой стороны, так как в программу его входило удовлетворение, по возможности, современной и настоятельной потребности. а именно – соединение в один стройный ряд материала научного с практическим, для доставления студентам Восточного факультета и лицам, изучающим азиатские наречия, такого руководства, которое могло бы служить пособием как при чтении литературных произведений, так и для разговора и письменных сношений с

после меня в Географическое общество?" [Лазаревский 1894: 14; разрядка наша. – Г.Б.]. В письме речь идет об ответах информантов на циркуляр Имп. РГО.

⁶ И.И. Срезневский в письме к М.П. Погодину писал: "В свободные минуты рассматриваю словарь Даля. Кое-что не так, как бы хотелось видеть, но зато сколько и прекрасного. Особенно дороги народные выражения и синонимы. Авось либо хоть в этот словарь станут заглядывать наши писатели" (цит. по [Канкава 1958: 328]).

мусульманами" [ЛБ I, "От автора": VI]. Предназначенность Словаря в качестве пособия "при чтении литературных произведений" (а подразумевались, в первую очередь, сочинения Навои, Бабура, Абу-л-Гази, т.е. XV–XVII вв.) определяла весомое количество элементов исторического словаря в нем (см. [Благова 1988]). Это направление работы Л.З. Будагова осуществлялось при учете выработанной несколькими поколениями восточных лексикографов "единой лексикографической традиции в словарях чагатайского языка" [Боровков 1960: 160].

Как писал Н.К. Дмитриев о Будагове в подготовительных материалах к соответствующей лекции курса "Введение в тюркологию" (он читал его в тюркских группах Восточного отделения филологического факультета МГУ): «... в распоряжении автора не было ни Радлова (кроме 1 тома "Образцов"), ни *orthonica, uiquica, S(odex) S(umanicus)*, ни работ Мелиор(анского), Катанова, Смирнова, Ашмарина, Пекарского, Корша, ни поздних работ Вамбери (его *Etym.(ologisches) Wb. (Wörterbuch der Turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878)*), ни словарей и грамматик по отд(ельным тюркским) языкам. И тем не менее» [Дмитриев: 2; последняя фраза осталась незаключенной]⁷. В том, что Н.К. Дмитриев высоко оценивал Словарь Будагова, сомнений не возникает, и дополнительных комментариев здесь не требуется.

Характерно, что сам Л.З. Будагов (как и В.И. Даль) предельно скромно оценивает свой Словарь "как первый и слабый свой опыт, который мог бы послужить для других основанием или, пожалуй, материалом, для более обширного и более ученого труда" [ЛБ I, "От автора": VI].

II. В специальной статье 1941 г. "Толковые словари русского языка" В.В. Виноградов уделил много внимания анализу Далева словаря (так называл его сам автор). Характеризуя объем и состав Далева словаря, ученый неоднократно подчеркивал: "... Толковый словарь Даля является своеобразной сокровищницей народного языка. Он отражает с небывалой полнотой народное речевое творчество" [Виноградов 1941: 379]. Положив в основу своего Словаря народный язык, Даль «не закрывал доступа и словам книжно-письменного языка и даже "чужесловам"... Вводились также слова церковнославянские и устарелые, но количество их ограничивалось оглядкой на употребительность в живом языке» [Бабкин 1955: VII]. Всего по подсчету Даля в его Словаре оказалось 200 тысяч слов.

По словам А.М. Бабкина, «Реформатор-одиночка, мировоззрение которого было весьма близко к славянофилам, В.И. Даль не мог найти правильного решения вопроса об иностранных словах в русском языке, а его практическая пуристская деятельность шла вразрез с прогрессивным течением общественной мысли. Современная Далю критика упрекала его в том, что он впадает в крайность, борясь с "чужесловами"...» [Бабкин 1955: VI]. Отмечая сложное, неоднозначное отношение В.И. Даля к "чужесловам", А.М. Бабкин вместе с тем явно положительно оценивает то, что, например, "... при словах *мачта, парус* даются не только названия различных видов мачт и парусов, но объясняется и их назначение. Рядом с названиями, заимствованными из голландского и английского языков (флотские названия), даются и названия, возникшие и употреблявшиеся на Каспийском и Белом морях и на больших русских

⁷ Названные материалы Н.К. Дмитриева представляют собой автограф, без даты, в качестве заголовка приведены точные библиографические сведения о Словаре Будагова. Автограф выполнен карандашом на четырех полноформатных листах, три из которых заполнены с обеих сторон, а четвертый – только с одной стороны. Соответственно пагинация – 1–7, номера страниц написаны красным карандашом. Красным же карандашом подчеркнуты наиболее важные тезисы текста. Материалы Н.К. Дмитриева, любезно предоставлены нам Л.С. Левитской, в личном архиве которой они хранятся (в свое время архивариус Архива АН при описи архивного наследия ученого посчитала излишним брать на учет и хранение разрозненные рукописные листы, выписки, тетради; эти материалы в буквальном смысле слова были спасены Л.С. Левитской). Здесь и ниже ссылки на автограф Н.К. Дмитриева документируются фамилией автора и соответствующей страницей его текста.

реках" [Там же: VIII], а также, добавим мы, часто приводятся случаи приспособления этих заимствований к русскому профессиональному языку (см. [Д I: 89, 341, 342]).

Такими же подробными объяснениями снабжены и другие многочисленные мореходные термины-заимствования, которыми изобилует Далев словарь. См. названия разновидностей кораблей: *бриг*, *бригантина* [Д I: 128]; *галера*, *галиота* стар., *галиот*, *галейс*, *гальяс*, *галион* [Д I: 341–342]; *клипер* [Д II: 119], *корвет* [Д II: 161], *фрегат* [Д IV: 539]; снасти корабля: *шпангоут* [Д IV: 539], *бушприт*, *бугшприт* [Д I: 147], *рей*, реже *рея* [Д IV: 90], *кливер*, *форстаксель* [Д II: 118], *бейфут* [Д I: 80], *галс* и даже *галсклямна* "скважина в борте, где проходит снасть, натягивающая нижний наветренный угол нижних и косых парусов" [Д I: 342]; другие термины, касающиеся мореходства: *бейдевинд* "курс, ход судна сколь можно ближе к ветру" [Д I: 80], *галвинд* [Д I: 343]), *бридель* [Д I: 128], *галфтимберс* [Д I: 343], *верфь* [Д I: 183], *рейд* [Д IV: 90]. Без этих и многих других энциклопедических статей мичмана В. Даля трудночитаемы сочинения, например, Станюковича.

По свидетельствам современников, где бы не поселялся Даль, первым делом он устанавливал свои верстаки – столярный, слесарный, токарный, работать на которых он любил, отдыхая от своих филологических и служебных занятий. В статье *верста* находим объяснения, что представляет собою *верстак* столярный, гранильный, гончарный, золотопромывный и проч. [Д I: 182]. См. заимствования из немецкого: *галтель* (< *Hohlkehle*), *голтель*, *голтль* "рубанки или струг, у которого железко и самая колодка выпуклы: пртвопл. *штаб*" [Д I: 342]; *герт* горн. 'верстак; стан, станок для промывки руд' [Д I: 349]; *шерхебель*, *шершебель* 'струг, с округлым лезом, для первой, грубой стружки' [Д IV: 630]; *фортих*, *форицик* сапожн. 'наколѹшка, шило или гребенка, для наковки подметки под деревянные гвозди' [Д IV: 538].

С таким же знанием дела врач В.И. Даль приводит в своем словаре во всех подробностях медицинскую терминологию, тоже главным образом западноевропейского происхождения. См. например; *главком* врчбн. 'неисцелимая слепота, близкая к темной воде: лазоревый-туск, зеленая-вода' [Д I: 352], *катаракт* "слепота от потускнения глазного хрусталика или *катаракта*. Туск – помрачение прозрачной роговой оболочки: *темная-вода* паралич глазного нерва; *катаракта* затмение хрусталика внутри глаза, в зрачке" [Д II: 96]; *скарлатина* 'сыпная болезнь краснуха (если различать краснуху и краснуху *tubeolae*)' [Д IV: 198, 199].

Много в Далевом словаре и статей, где заглавное слово – "чужеслов", так или иначе. связанный с военным делом. Например, в большой статье *генерал* [Д I: 348] приводится перечень военных чинов разных классов, от 2 до 4-го; в статье *пушка* [Д III: 545] сообщается о разновидностях пушки, их названиях, характерных особенностях. это *каронады*, *фальконет*, *мортира*. "Военная косточка" Даля ощущается и в том. как он описывает не известное россиянам явление *баранта* у азиатских кочевых народов, высвечивая в этом военном действии самое существенное и самобытное [Д I: 47]. см. об этом ниже (раздел IV статьи).

Из приводимого ниже материала видно, насколько щедро В.И. Даль вовлекает в словарь восточные "чужесловы": вполне сознавая их специфичность, он вовсе не пытается их "вывести из употребления своеобразным приемом (подбирая им замены и иногда создавая для этой цели новые слова)" [Бабкин 1955: VI], а напротив даже использует их. чтобы особо подчеркнуть специфичность обозначаемой реалии (см.: "турецкий барабан. тулумбас" [Д II: 443]).

Построение С л о в а р я определялось тем, что Даль, будучи противником азбучного порядка размещения слов, "останавливается на принципе объединения родственных слов по морфологическим, словопроизводственным гнездам. ...Ведь этот способ расположения слов ... опирается на живые морфологические и семантические связи между родственными словами. Это собрание слов по гнездам и семьям чаще

всего основано на сознании единства их происхождения и родства значения" [Виноградов 1941: 378].

Что же касается приемов толкования слов, то Даль предпочитал разъяснять слова подбором множества синонимов⁸ [по оценке И.И. Срезневского, в Далевом словаре "особенно дорожи народными выражения и синонимы" (разр. наша. – Г.Б.)], семантически однородных или близких выражений, взятых из литературной речи, из устного городского языка и из областных крестьянских говоров; "отсутствие точности в определениях значений, семантическая расплывчатость характеристик слов, по мысли Даля, в значительной степени ослабляются гнездовым расположением родственных слов" [Виноградов 1941: 378]. Вещественное толкование слов в сочетании с "огромным этнографическим материалом, относящимся к разным сторонам хозяйственной и духовной, культурной жизни русского горожанина из демократических слоев, крестьянина и ремесленника" [Там же: 380]⁹, обусловило энциклопедичность Далева словаря.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств (а именно: Будагов уже работал над составлением своего Словаря, когда в период с 1863 по 1866 г. выходили в свет тома Далева словаря) тюрколог имел возможность оценить и принцип составления "Толкового словаря живого великорусского словаря", и приемы размещения слов, и оснащенность словарных статей большим количеством иллюстративных примеров, чаще всего пословицами, поговорками, богатой, разнообразной фразеологией, огромным этнографическим материалом.

Вместе с тем нельзя не принять во внимание, что в Словаре тюрколога нет ссылок на Далев словарь. Возможно объяснить это тем, что Л.З. Будагов вполне осознавал и непохожесть своего Словаря на Далев. В предисловии "От автора" он подчеркивал особо, что не имел намерения "выдать труд свой за толковник всех наречий тюркского

⁸ Это предпочтение Даля не возводимо в правило. У врача С.Ф. Данько, ознакомившейся со словарной статьей *сердце* [Д IV: 174], например, возник вопрос: "Кто же он такой – Даль? В медицинской литературе определению сердца отводится по несколько страниц, а он исчерпывающе точно и ярко сформулировал это определение в 19 строках столбца, не страницы!". См. также *слуховой барабан* (анат. [Д I: 46]).

⁹ В.В. Виноградов в цитируемой статье неоднократно акцентирует внимание читателя на том, что Далев словарь является "первым словарным описанием живого разговорного русского языка в многообразии его социальных диалектов" [Виноградов 1941: 380–381]¹⁰, что эта своеобразная сокровищница народного языка "отражает с небывалой полнотой народное речевое творчество" [Там же: 379]. В этих высказываниях лингвиста содержится глухое несогласие с «четким и ясным указанием В.И. Ленина в отношении Толкового словаря Даля, который хотя и называл его "великолепным" и "знаменитым", но все же "областническим" [В.И. Ленин. Письмо А.В. Луначарскому от 18.I. 1920 // Соч. т. 35, изд. 3, с. 369]» [Канкава 1958: 42]. Прямой ответ В.В. Виноградова на это "указание" – "Кроме областной лексики, в словаре так же широко представлена терминология и фразеология разных ремесел, цехов и профессий" [Виноградов 1941: 376; разрядка наша. – Г.Б.]. Справедливости ради заметим, что говоря про "областнический" характер Словаря в частном письме, В.И. Ленин, разумеется, не мог предположить, что эти его слова будут возведены в "четкое и ясное указание". Но в 1941 г. нужно было обладать гражданским мужеством, чтобы "смеять свое суждение иметь" даже и в отношении такого "указания".

* Пристрастия будущего лексикографа проявились уже в период обучения его в петербургском Морском кадетском корпусе (1814–1819), когда он составил свой первый словарь – "34 слова кадетского жаргона" [Бессараб 1968: 37]. Беловой автограф словаря воровского арго под названием "Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка" опубликован А.Л. Топорковым [Даль 1990]; кстати, среди слов арго имеется бесспорный тюркизм: *яманный* "негодный, нехороший" [Там же: 135]. В сохранившихся среди бумаг В.М. Лазаревского письмах Даля неоднократно поднимался вопрос о судьбе словаря офенского языка, а в заключение этой темы приводится следующее: «В формулярном списке Даля значится по предмету этого словаря "Предписанием от 2 сентября 1855 г. № 2177, объявлена искренняя признательность г. министра уделов за составление словаря Офенского языка"» [Лазаревский 1894: 14].

корня" – "на него потребовались бы совокупные и многолетние усилия нескольких ориенталистов" [ЛБ I: V].

Ниже рассмотрим основные структурные параметры Словаря Будагова, что позволяет при всей непохожести этих двух словарей увидеть их весьма существенные общие черты.

Объем и состав Словаря Будагова определяется, прежде всего, тем что он построен на сравнении лексического материала тех двух классификационных групп тюркских языков, на которые эти последние в ту пору членились еще чисто интуитивно, а именно групп "турецкой" (по современной терминологии – огузской, или юго-западной) и "татарской" (кыпчакской, или восточной). В Словаре широкое отражение нашла общетюркская и межатюркская лексика. Именно эта часть лексики представлена здесь наиболее обширными словарными статьями. Например: *baş*¹⁰ 'голова' [ЛБ I: 225–228]; *ajaq* 'нога' [ЛБ I: 174–175]; *ajtmaq* 'сказать, говорить' [ЛБ I: 178–179]. Диалектную и разговорную лексику Будагов приводил достаточно широко, чаще в качестве вариантов к заглавному слову словарной статьи с пометами "провинц." или "простон.". Например: "тур. *bisrāk* (провинц.) одногорбый верблюд" [ЛБ I: 258]; "тур. *böbrek*, *bögrek* (простон. *böwrek*) почка" [ЛБ I: 272], "тат. *mant* пчельник (у приволжских татар селения Тархан; у других татар это слово неизвестно)" [ЛБ I: 673]. В отдельных случаях приведены также слова и выражения из специфического "женского языка" тюрков. Примеры: "кир. *köbögen* детки, ребятушки (старушечье слово)" [ЛБ II: 142]; *тапуа čirik* "бранное выражение кумыкских женщин" [ЛБ II: 198]; табуированная лексика – [ЛБ I: 470]. Естественно, непохожесть двух словарей обуславливается еще и специфичностью лексики как русского, так и тюркских языков (о своеобразии русского и тюркских способов народного выражения понятий времени и пространства см. ниже, V).

Объем и состав Словаря Будагова в известной мере определены, кроме того, еще и двойственностью задачи, поставленной его составителем (создать словарь научный, являющийся одновременно и практическим пособием для студентов восточного факультета при чтении литературных произведений). Сюда включены и некоторые слова и выражения, встречающиеся преимущественно в литературных памятниках, например: дж. *tildin kelgan* "высказываемое языком, все что можно и

сколько можно сказать" [ЛБ I: 372]; дж. تُلْغَاك "род платья" (с цитатой из Аб.Г. стр. 124 [ЛБ I: 374]); *toġama* "нападение во фланг или тыл неприятеля" [ЛБ I: 751]. Многие литературные ссылки и цитаты в Словаре Будагова перечислил Н.К. Дмитриев постранично [Дмитриев: 5]. К этому необходимо добавить, что иллюстративные примеры Будагов часто черпал также из фольклора; как и В.И. Даль, он особенно широко привлекал пословицы и поговорки.

Что касается цифрового выражения объема этого Словаря, то даже точный подсчет количества словарных статей, размещенных на 1225 страницах обоих томов Словаря, не поможет составить хотя бы приблизительного представления о том, сколько же слов и фразеологизмов получило здесь свое толкование. И это связано с принципом построения Словаря Будагова. Составитель не стал искать собственного оригинального способа расположения слов при упорядочении собранного им огромного лексического материала. Создавая свой словарь, он, естественно, испытывал сильнейшее воздействие Далева словаря – "беспримерного в истории русской лексикографии плода героического труда великого этнографа" [Виноградов 1941: 376]. Не удивительно поэтому, что вслед за В.И. Далем при упорядочении собранных материалов Л.З. Будагов «выбрал для себя путь средний: слова

¹⁰ Здесь и ниже из соображений сложности при наборе арабского шрифта, с одной стороны, а с другой – необходимости обеспечить читабельность примеров из Словаря Будагова не только для тюркологов, примеры эти приводятся в латинской транслитерации.

того же корня... в его словаре группируются в гнезда, а во главе такой группы "одногнездков" выставляется глагол или имя» [Бабкин 1955: VIII].

В.И. Даль исключал из таких групп "одногнездков" приставочные глаголы, вынося их в заглавные слова самостоятельных словарных статей. В его словаре находим указания на словопроизводство, примеры с показанием условных оборотов речи, но в целом он отказался от тех грамматических указаний, которыми сопровождалось объяснение слов в академических словарях [Виноградов 1941: 377, 378].

Л.З. Будагов иногда проявляет непоследовательность в отношении аффиговых глаголов. Чаще он включает в группы "одногнездков", например, наряду с именем еще и производные от него глаголы (кстати, нередко так же поступает и В.И. Даль, например, в статье *сердце* приводятся семантически далекие *сердить*, *серчать* – [Д I: 175]). Так, в огромной статье *at* 'конь, лошадь, кир. мерин' [ЛБ I: 56–58] (здесь же – наименования мастей и пород лошадей), богатой фразеологией и так называемыми составными наименованиями, вроде *at balyu* 'типпопотам, морской конь', находим также глаголы *atlan-* 'сесть верхом, выступать в поход', *atlandyr-* 'посадить верхом; заставить напасть', *atqula-* 'напасть верхом, сделать нападение' и т.п. Точно так же в статье с заглавным словом *teg-, deγ-* 'достигать', 'трогать, коснуться' приводится большое число глаголов, производных от этого основного глагола [ЛБ I: 419–420]. В другом же случае наряду со статьей *baş* 'голова', например, отдельной словарной статьей вычленен глагол *başqarmaq* 'управлять', далеко отошедший по своей семантике от корневого имени [ЛБ I: 228].

Вместе с тем Л. Будагова заботила не только словообразовательная, но и шире – грамматическая характеристика тюркских языков в целом. Именно этим можно объяснить обилие грамматических сведений в его Словаре. Отдельными словарными статьями (или же в составе других статей) Л. Будагов приводит целый ряд словообразовательных аффиксов и их алломорфов, например, аффиксы именного словообразования *-žaql/-čaq...* [ЛБ I: 458], *-žykl/-čik...* [ЛБ I: 478], *čan ~ -čañ, -čil* [ЛБ I: 465], аффиксы глаголообразования *-sin...* [ЛБ I: 657–658], *-la, laš* [ЛБ II: 182]. В Словаре описано образование залогов глагола [ЛБ II: 183, 275 и сл.], имен действия и глагольных имен [ЛБ I: 659; II: 194, 245, 269, 300], причастий на *-žaql/-žek* [ЛБ I: 427] и на *-myš/-miš* [ЛБ II: 233] и многое другое. Все это позволило Н.К. Дмитриеву говорить о наличии в Словаре Будагова "грамматических экскурсов, как материала для буд.[ущей] сравн.[ительной] гр.[амматики]" [Дмитриев: 4].

Л.З. Будагов, помимо перевода собранных им слов, вслед за В.И. Далем широко вводил элементы их толкования, с использованием синонимов. Иногда подсобный характер приводимых синонимов подчеркнут скобками (в скобках указывается также огласовка слова); см. "тур. *تقسق* (*bt*) скучать, получить отвраще-

ние (синон. *بزمك*, но сильнее, чем *اوشتمك "اوصانق"*) [ЛБ I: 262].

При толковании слов Л. Будагов последовательно придерживался методики, именуемой "Wort und Sache", т.е. давал толкование слов, объясняя и описывая обозначаемый им предмет или понятие. Благодаря этому Словарь превратился в своего рода энциклопедию старого быта тюркских народов, их общественно-политической и культурной жизни. Н.К. Дмитриев так писал об этом: «Исторические, бытовые и культурные реалии. Русская "Энциклопедия ислама". Терминология разного рода. Топонимия» [Дмитриев: 4]. Сведения по народной медицине не им. [ЛБ I: 373], по народной астрономии – [ЛБ II: 363]; о народных поверьях и приметах – [ЛБ I: 275; II: 202].

Н.К. Дмитриев отметил особо: "Фразеология (и семантика) богаты" [Дмитриев: 3]. Фразеологический материал в изобилии приводится при таких опорных словах, как, например, *aj* 'луна, месяц', *baş* 'голова', *at* 'имя', 'слава', *ata* 'отец' и множество других; как правило, соответствующие словарные статьи очень велики по объему. Фразеологизмами оснащена даже и небольшая словарная статья "тат. *ajaz*, дж. *ajas*"

1) ведряный, ясный (погода): *ajazda jat*- спать под открытым небом; 2) хив., кир. мороз, ясная погода зимою: *ajas uryan*, хив. *ajas ötkan* он простудился" [ЛБ I: 173–174]. Вслед за Далем Будагов вводит в свой Словарь множество тюркских народных пословиц в качестве иллюстративного материала.

Таким образом, многое унаследовав из опыта Даля в отношении объема, построения словаря, способов разъяснения в нем слов, Л.З. Будагов фактически заложил в тюркской лексикографии новую традицию – объединение принципов толкового словаря и переводного двуязычного словаря; пример этому – его собственный словарь.

III. Замечательно, что традиция эта жива в тюркской лексикографии до наших дней: она воплотилась в богатейшем "Киргизско-русском словаре" [Юдахин 1965]. Составленный "лучшим лексикографом в области национально-русских словарей" [Реформатский 1984: 58] – крупным исследователем киргизского языка К.К. Юдахиным (1890–1975), словарь этот представляет киргизскую лексику во всем ее многообразии, включая историко-этнографические термины, а также устаревшие слова, без чего затруднено понимание фольклорных произведений, этой народной киргизской литературы прошлых столетий.

Поскольку в начале второй половины XX в. киргизская письменная литература еще не была "настолько велика количественно, чтобы она могла представить сколько-нибудь полно лексику киргизского языка" [Юдахин 1965: 7], составитель широко использовал фольклорную, разговорную и диалектную лексику. Огромный массив слов дается в словарных статьях со многими членениями, с большим количеством иллюстративных примеров, богатой идиоматикой. Юдахиным продолжена традиция Даля – Будагова широко использовать народные пословицы в качестве иллюстративного материала (А.А. Реформатский даже называл его словарь "памятником фольклора" [Реформатский 1982: 57]). Благодаря этому четвертое десятилетие словарь Юдахина служит ценным пособием для специалистов по киргизской литературе и фольклору, для тюркологов-языковедов, историков, этнографов.

Разумеется, для современного составителя переводного словаря неприемлемым является способ группировки слов по гнездам. И естественно, что, например, имя *at* 'конь' и производный от него глагол *attan-* 'сидеться верхом на коня', 'выступать в поход', 'принять решение', объединяемые в одной словарной статье Будаговым, в словаре К.К. Юдахина являются заглавными словами двух отдельных статей. Из них особенно объемиста первая: помимо сложносоставных имен разных типов (*at bayar* 'конюх', *küç at* 'рабочая лошадь') и пословиц с опорным словом *at* 'конь', здесь, как и в Словаре Будагова, содержится большое количество составных глаголов (типа *at qoj-1*) пустить лошадь карьером, поскакать на лошади, 2) *перен.* наступать, нападать); см. также историческое юридическое выражение *at-çapan ajur* или *at-ton ajur* "штраф, состоящий из лошади и халата или шубы". Среди собранного в этой статье богатого фразеологического материала отметим народные обозначения созвездий *Aq boz at*, *Kök boz at* 'Кастор и Поллукс'.

Благодаря энциклопедичности словаря К.К. Юдахина в нем отражается своеобразная культура народа (в недавнем прошлом – кочевого скотоводческого) – создателя киргизского языка и уникального киргизского эпоса "Манас".

IV. Внимание отечественных востоковедов всегда привлекали ориентализмы, тюркизмы в русском языке как свидетельства "турско-русских" или "татарско-русских" отношений (А.Н. Самойлович). В.И. Далю с его пытливым взглядом на язык и живые языковые контакты, зачастую происходившие на его глазах, удалось собрать в его Словаре небывало большое количество ориентализмов, особенно тюркизмов. Осуществить это удалось благодаря тому, что обследованию были охвачены диалекты и живая русская народная речь, в том числе Поволжье и Астраханская губерния, Приуралье и Оренбуржье и др., где контакты русского населения с тюркским были особенно интенсивны. Однако тема тюркизмов в Далевом словаре только начата

разработкой (см. [Кубанова 1967; 1968]): для исследования были отобраны тюркизмы из "1) терминологии производственной и хозяйственно-бытовой; 2) лексики, относящейся к природе" [Кубанова 1968: 12].

При изучении тюркизмов у В.И. Даля необходимо иметь в виду, что его бытоописательные восточные повести и рассказы изобилуют этнографическими подробностями, а соответственно и этнографической лексикой (этнографизмами). Слова тюркские и заимствования из арабского, персидского языков, проникавшие через посредство соседствующих тюркских языков, широко вводятся в текст, получая объяснение иногда там же [как, например, *байгуш* в приведенном выше (см. раздел I) отрывке из "Бикей и Мауляна"] или же в постраничных примечаниях (см., например "*крут* – соленый, высушенный овечий сыр, обыкновенная и любимая их пища" [Повести... 3: 397]).

Интересно, что те же слова достаточно часто можно найти в Далевом словаре, регистрирующем тюркизмы как в общенародном русском языке, так и в его диалектах, говорах – с уточнениями фонетических и семантических изменений слова. См., например: "*байгуш* м. орнб. нищий из кочевых инородцев, обнищавший киргиз. || Астрх. отдаленный хуторок, за́ймка" [Д I: 38]¹¹; "*крут* м. иногда *курт*, у башкир, калмыков, киргизов, ногайцев и казаков: круто соленый, сухой сыр, б.ч. овечий, в стопочках; его скребут в похлебки. *Крутовый*, ко круту относящийся, из него приготовленный" [Д II: 204]¹². Тюркизмы имеют разные пометы: иногда это территориальная помета (см. выше: орнб.); может приводиться и целый перечень народов, у которых обозначаемая реалья распространена (см. выше); в ряде случаев – указание на ориентализм (вост.), а зачастую и отсутствие пометы (ее заменяют пометы, указывающие на территориальное распространение тюркизма в русских говорах). См. также: "*беишбармак*, *бишибармак* у башкиров и киргизов, перев. пятипалое (блюдо), вареное и крошеное мясо, обыкновенно баранина, с прибавкою к навару муки, круп; едят горстью. О дурно приготовленном кушанье говорят (орнб.): *это какой-то бишибармак*, крошево" [Д I: 65]; "*базлук*, *базлык*, *бузлук* вост. род скобы или подковы с шипами, которую рыбаки подвязывают под середину подошвы, для хода по гладкому льду; катальщики под другую ногу подвязывают конек и катаются, упираясь базлуком" [Д I: 38]¹³; "*бакеева* дорога тмб. *батыева*, моисеев или млечный путь" [Д I: 38]¹⁴; *хурды-мурды* астрх., *шарабара* орнб. *бүтор*, сиб. домашний скарибишка, всячина, пожитки [Д IV: 569]; в Москве и Московской области приходилось слышать *хурда-мурда*, чаще *шурум-бурум*). Случается, что некоторые ориентализмы соответствующих помет не имеют, например [Д IV: 539]: *фундук* 'орешник', '*Corylus tuberosus*'; [Д I: 587]: *чекмень*; [Д IV: 630]: *шерть* 'присяга мусульман на подданство'.

В Далевом словаре можно наблюдать случаи, когда тюркизм (или ориентализм) используется для объяснения другого диалектного слова. Например [Д I: 339] *гáва* нврс. 'карга́, ворона' (тюрк. *карга* 'ворона'); [Д II: 317]: 'вода, которая из *погонного ларя* – *коуза* – течет на колесо [мельницы] и его движет' [из ар. *haws* (простон. *hawuz*) 'бассейн' и др.], см. также [Д IV: 382].

¹¹ Ср. ЛБ I: 241: "тур *bajquş* сова, кирг. *bajquş* мет. бездомный, бедняк, нищий, пролетарий (на Кавказе тоже употребляется в этом значении), тур. *bajquş aqyllu* трусливый, как сова".

¹² Ср. ЛБ II: 49: "дж. *qurut*, сыр (приготавливаемый из творогу), башк. *qorot* копченый сыр (у киргизов *qut* делается из овечьего и другого молока в небольших сухих кусках; едят его в сухом виде или разводят в воде), *qai a q(u)rut* сухой сыр".

¹³ Ср. [ЛБ I: 279] в статье тур. *buz*, тат. *muz*, тоб. турк. *bus* 'лед' при производном *buzluq* 'ледник' в скобках приводится "отсюда русск. *базлук*, *бузлуки* снаряд для ходьбы по льду", со ссылкой на Григорьева. Имеется в виду азербайджанско-русский словарь, приложенный к хрестоматии "Тюркский язык. Книга для чтения и переводов" / Сост. И.И. Григорьевым и Мирзою Шафи Садык-оглы. Тифлис, 1855 [Кононов 1989: 80].

¹⁴ Ср. [ЛБ II: 81] "кир. *quş žoly* птичья дорога – Млечный путь".

В целом можно согласиться с утверждением: "В.И. Даль давал большое количество верных пометок этимологического характера" [Кубанова 1968: 11]. Это, однако, не освобождает нас от необходимости критически оценивать предлагаемые этимологии ориентализмов, среди которых есть и наивные, народные этимологии. Например [Д I: 39]: "*Бакалея, бакалия, бакалейный* товар, сухие плоды, изюм, чернослив, финики, смоква, орехи, варенье, мед, патока и пр.;... *Бак-ала* турц. Гляди и бери, т.е. всячина есть, товар налицо, бери любое". На самом деле слово восходит к заимствованию из арабского *бакала* 'бакалейная торговля', см. также *бакл* 'злаки; травы; зелень, овощи', *баккал* 'бакалейщик; торговец зеленью, овощами' [Баранов 1957: 98; см. также ЛБ I: 262].

Некоторые из широкого круга тюркизмов и ориентализмов, представленных в Далевом словаре, по своему характеру могут быть рассмотрены как непосредственно записанные самим Далем. Приводится, к примеру, ориентализм – важный историко-этнографический термин: "*баранта* у азиатских пограничных народов, а более у кочевых, самоуправная месть, по междоусобиям: набег, грабеж; отгон скота, разор аулов, захват людей. *Баранта* тем отличается от военных набегов, что нападающие, из опасения кровомести, идут без огнестрельного и даже без острого оружия, а берут ожоги¹⁵, вместо копий, обух и нагайку" [Д I: 47]. Последнее важное своеобразие баранты, сведения о котором набраны у Даля непарелью, отсутствует даже в подробной статье Словаря Будагова [ЛБ I: 224], не говоря уже о сверхлаконичных статьях *баранта* (дж.) и *барымта* (кир.) у Радлова (РСл. IV, стлб. 1478, 1481). То обстоятельство, что в Словаре Будагова *баранта* еще не отмечено как тюркизм для русского языка, наводит на мысль, что очевидно Далем зарегистрировано совсем свежее заимствование, только начинавшее входить в обиход русских служилых людей – возможно, как раз в период службы В.И. в Оренбуржье, возможно – в период Хивинского похода.

Другой подобный пример находим в повести "Бикей и Мауляна", – там, где герой повести доставляет в Оренбург письмо русских пленников из Хивы. Приводя фрагмент этого письма о "христианах, погибающих в руках неверных *масурман*", В.И. Даль так комментирует это словоупотребление: "Слово, составленное писцом вероятно из *басурман* и *мусульман*" [Повести... 3: 324]. Как видим, и здесь умозаключение Даля сделано не понаслышке. Недаром к годам пребывания его в Оренбуржье (1833–1841) П.И. Мельников (Печерский) относит "главнейшее пополнение запасов его для словаря, и собрание народных сказок, пословиц и песен" [Мельников 1903: XLII] (имеются в виду лично Далем собранные материалы). Характерно, что при толковании русских слов (например, *водоем, водопуск, водораздел*) Даль использовал в числе синонимов также ориентализмы (*хауз*) и тюркизмы (*сырт*), см. [Д I: 220, 221].

Заслуживают особого внимания зафиксированные в Далевом словаре случаи использования ориентализмов как опорных слов в составе русских пословиц, территориально ограниченных в своем распространении, см. [Д II: 14]: *От бани до мазарок*¹⁶ *недалече* (От жизни до смерти); [Д I: 14] *Кто кричит аман, кто атлан* (бестолочь: кто сдавайся, кто на конь); [Д III: 538] поговорки: *Нет ни пула; У Пикюла (Микюла) ни пула* (ориентализм *пул* 'деньги' < перс.; у Даля последнее слово как ориентализм не обозначен [Д III: 538]: *пул, пуло* ср. стар. 'мелкая медная монета'). См. использование тюркских этнонимов в пословицах [ДПРН 1957: 816]: *Татарскому мясоеду нет конца;*

¹⁵ См. [Д II: 580]: *ожёг, ожог, ожиг* древко, закаленное и заостренное на одном конце, замест копия, пики, напр., у *киргизов*.

¹⁶ См. [Д II: 288]: *мазарки* вост. кладбище, татарское и инородческое кладбище. Ср. [ЛБ II: 226]: "ар. *мазар*... могила, гробница усопших, святых (в русск. перешло *мазарки*)...". Этот же ориентализм используется Далем для объяснения другого заимствования: [Д IV 382]: *слова, сювы, каз,* чувш. 'кладбище инородцев', 'мазарки'.

[Д III: 553]: *Татарское* воскресенье (пятница); [ДПРН 1957: 272]: Что *ногайская* лошадь у колоды (у колодца): сама своего навоза (дерма) боится. Одна из территориальных пословиц, приведенных в Словаре, – [Д IV: 118]: *Рысь пестра снаружи, а человек внутри* – на наш взгляд, является калькой с тюркской пословицы [ЛБ I: 181]:

ادم اللسى ايجيندا حيوان اللسى تيشيندا "Пестрота (т.е. двуличие, коварство) человека внутри него, пестрота животного снаружи (на меху; послов.)."

При специальном, фундированном изучении тюркизмов в Далевом словаре, возможно, в паремиологии удастся наблюдать шире взаимопроникновения, подобные перечисленным выше, а это позволит судить о глубинах тесного взаимодействия русских и тюрков в области народного языкового творчества, народной речевой культуры.

Немалое внимание взаимодействию русского и тюркских языков уделял и Л.З. Будагов. Он выискивает диалектизмы, восходящие к ориентализмам, причем в числе таковых оказываются и претерпевшие переосмысление. Например, "слово *аман* во Влад.[имирской] и Костр.[омской] губер.[ниях] употребляется в значении скряги" [ЛБ I: 91]; Даль же локализует это слово в обычном значении 'пощада', 'помилование' областями, пограничными с Турцией, с Азией [Д I: 14]. О другом диалектизме, возможно, восточного происхождения – *ажлибать* – в этих двух словарях см. ниже. Словарь Будагова дает представление о русизмах, проникших в различные тюркские языки и особенно в язык казанских татар (в ЛБ принято сокращение "каз.") преимущественно устным путем¹⁷, как это можно видеть, во-первых, из принадлежности приводимых ниже слов к разряду бытовой лексики, а во-вторых – из характера адаптации заимствуемых слов; каждое из приводимых ниже слов снабжено пометой "русское (слово)". См., например: каз. *čerkaw* 'церковь' [ЛБ I: 474]; каз. *apara* 'раствор теста, опара, закваска' [ЛБ I: 6]; каз. *ulawka* (из русск. *лавка*) 'пблок в банях' [ЛБ I: 79]; каз. *haraza* и *horozna* 'борозда' [ЛБ I: 221 и 274]; каз. *borana*, *harana* 'бревно' [ЛБ I: 274]; башк., каз. *par*, *bar* 'пара' [ЛБ I: 308]; тат. *lafka* (с русск.), алт. *лакна* 'лавка, лавочка (торговая)' [ЛБ II: 186]; каз. *talinka* (русск.) 'тарелка', тат. *hidra* 'ведро' [ЛБ I: 300], *moskow* (русск.) 'Москва, Россия', *moskowlu* 'москвич, русский' [ЛБ II: 231].

Иногда семантическая специфичность таких русизмов становится понятной при учете сведений, которые сообщаются для соответствующего диалектного русского слова в Словаре Даля. Так, приводя синоним к "тоб. баш. *buçul* скирд (называемый также русским словом *кладь*)" [ЛБ I: 261], Будагов, видимо, имел в виду русск. диал. "*кладь* стог [сена], скирд, скирда, особ. хлебная" [Д II: 114]. Для "каз. *praska* (русск.) пряжка, станция (пространство от одной станции до другой)" [ЛБ I: 313] названное значение также можно найти в русских диалектах: "*пряжка* ...упряжка, переезд на одних лошадях не кормя" [Д III: 531]. В "тат. *pirikāznaj* (русское) клязунник, ябедник" [ЛБ I: 316] это значение возникло из русских бранных выражений "*приказный крючок, приказная строка* бранн. взяточник" [Д III: 415].

Энциклопедичность Словаря Л. Будагова в охвате лексического материала очевидна также и из того, что при многих тюркских (или арабских, персидских) заглавных словах отмечается факт их заимствования в русский язык и приводятся соответствующие тюркизмы (или ориентализмы) вместе с соображениями по их этимологизации. Среди них есть и общерусские заимствования (например, *барабан* – [ЛБ I: 236], *перец* –

¹⁷ По этому пути пошел также В.В. Радлов, см. фиксации русизмов в его "Опыте словаря тюркских наречий" в т. III: "*лахан* (каз. из р. яз.) лоханка, умывальный таз" (стлб. 731), "*ланпа* (каз., из р. яз.) лампа" (стлб. 733), "*лапас* (каз., из р. яз.) лабаз, подвал, каретник, крытый загон для скота" (стлб. 738), "*лом* (крм., из р. яз.) лом" (стлб. 755), "*лин* (шор., из р. яз.) лен (немятый)" (стлб. 757), "*лкар* (каз., из р. яз.) лекарь, врач" (стлб. 759).

предположительно: [ЛБ I: 275], *булгачить* – [ЛБ I: 290], *буран*, *буранить* – [ЛБ I: 274]; *жупан* – [ЛБ I: 452], *таракан* – [ЛБ I: 721] и диалектные (*балдбан* ‘верзила, олух’, *балабан* ‘пустомеля’, *балабанить* – [ЛБ I: 236]; *балдак* ‘большой стакан’, *балданчик*, *бладашка* – [ЛБ I: 252]; *базанить* ‘кричать’, *базун* – ‘крикун’, *базланить*, *базлать* ‘громко кричать, плакать’ – [ЛБ I: 280]; *чушка* – [ЛБ I: 491]), а также принадлежащие к различным социальным жаргонам (см. *биндюх*, *биндюк* ‘роспуски ломовых извозчиков’ – [ЛБ I: 271]; астрах. *бабай* ‘самый большой якорь’, *бабайка* ‘большое весло’ – [ЛБ I: 217]; *баткак* в товароведении ‘самый нижний, грязный устой вытопленного тюленьего жира, перелитого в бочки’ – [ЛБ I: 218]; *бакча*, *бакиша* ‘фунт (чая)’ – [ЛБ I: 285]; *магарыч* ‘то, что дается на водку после какой-нибудь сделки’ – [ЛБ II: 249]).

Сопоставление перечисленных выше словарных статей из Словаря Будагова и соответствующих статей в Далевом словаре показало, что некоторые из названных ориентализмов и тюркизмов В.И. Даль привел без надлежащей пометы (тат. или вост.). Это нижеследующие слова: *барабан* [Д I: 46], *базланить*, *базлать* и др. [Д I: 37], *бин(ь)дюх* [Д I: 87], *булга*, *булгачить* [Д I: 141], *жупан* [Д I: 547], *магарыч*, *могарыч* [Д II: 288], а также *чушка* [Д IV: 617], которое к тому же рассматривается в лексическом гнезде *чухна*. Остальные слова из приведенного перечня имеют у Даля пометы либо вост. либо территориальную; некоторые из таких слов отличаются более широким кругом значений. Например: "*баткак* волж. астрх. грязь, болото, жидкий ил; подонки, выварки, вытопки, вышкварки, грязный осадок при топке сала; горелая табачная грязь в трубке" [Д I: 54].

Даль приводит без пометы "*ажлибать* что ол. елозить, есть, хлебать. *Ажлибанье* еда ложкою, хлебанье" [Д I: 7]. Будагов же делает попытку этимологизации этих диалектных слов: "от слова *až* происходят русские слова, употребляемые в Орл. и Олон. *ажлабанье*, *ажлибать*, вероятно, от формы тат. *ašlab*..." [ЛБ I: 49]. Нередки также случаи, когда Даль помечает ориентализм в русском, обращая внимание и на переосмысление его в отдельных говорах, а Будагов как заимствование в русском слово не фиксирует. Ср., например: "*коуз*, *хоуз* татр. кауз, хауз, водоем; мельничный ларь || Ярс.-рост. закутка, сторожка у ворот околицы" [Д II: 180]; см. еще в статье *Мельница* [Д II: 317] *Погонный ларь*, коуз, откуда вода течет на колесо; а также [Д IV: 543] и [Д I: 220], где при объяснении слова *водоем* в числе других синонимов используется ориентализм *хауз*, и "ар. *haws* (простон. *hawuz*) бассейн. п. водопродный канал, каз. садок для рыб" [ЛБ I: 522]; "*кудук* колодезь без сруба, копанец, копань, степной колодезь; употр. по всей азиатской границе нашей, в Крыму и пр." [Д II: 212] и "дж. тат. *qodiq*, *quduq* колодец, родник..." [ЛБ II: 42], без указания на русское заимствование.

Приведенные выше материалы свидетельствуют о том, что в словарях Даля и Будагова представлены первые словарные описания тюркизмов и ориентализмов в живом разговорном русском языке и его диалектах; то же можно сказать о русизмах в тюркских языках по Словарю Будагова.

Фрагментарное сопоставление тюркизмов (ориентализмов) в словарях Даля и Будагова позволяет поставить вопрос о формировании и развитии лексикографической традиции их описания. Сравнить их подачу в том и другом словарях важно уже и потому, что Словарь Будагова для изучения этой группы лексики если и используется, то обычно далеко не систематически. При конкордирующей же работе с тюркизмами в обоих словарях можно получить ряд уточнений по этимологизации того или иного слова.

Н.К. Дмитриев, особо отмечая фиксацию Л.З. Будаговым как восточных слов, вошедших в русский язык, так и русизмов в тюркских языках, подчеркнул важность этого для исследования проблемы "Связь русской и тюркских культур" [Дмитриев: 4].

V. Преимущество и близость рассматриваемых здесь словарей можно показать и на нетривиальном интересе их составителей к способам народно-речевого выражения понятий времени и пространства в соответствующих языках. В этих способах особенно ярко проявляется своеобразие как русского, так и тюркских языков, различия в психологии языкового выражения, с одной стороны, а с другой – сказываются различия в области внеязыковых связей слова в том и других языках, что обусловлено экстралингвистическими факторами, в том числе хозяйственным укладом народа, природными условиями, в которых живет народ (о внеязыковых связях слов на русском материале см. [Богатова 1981], на тюркском [Благова 2000: 83–90]).

В русском народном языке для определения времени в изобиловавшей лесами России использовались названия леса, деревьев. См. определение времени суток: [Д II: 73]: *Солнце за лес* – казацкая радость (на грабеж); определение времени сельскохозяйственных работ [Д I: 498]: Когда дуб развернулся в заячье ухо, сей овес (тул.). Внимательный читатель и почитатель Далева словаря И.А. Подюков отметил в пермских говорах следующие выражения, связанные с названиями дерева (*ель*) и его частей: "*Солнце на ели* – вечер (из старого обозначения времени указанием на положение светила относительно линии горизонта – ср. *солнце на веточках* – близко к закату, *солнце в комелях катается* и пр.)", см. поговорку *Солнце на ели, а мы еще и не ели* [Подюков 1994: 73, 68]. См. также *Солнце на три дуба* поднялось (И.А. Бунин. Натали). Далем зафиксирован и другой ориентир в движении солнца – *изба*, см. [Д IV: 265] *Солнце с избы своротило* (т.е. с лица избы, *перешло за полдень*, угол божницы на юго-восток).

На севере России архангельские мореходы исчисляли время по морским приливам ('прибыль') и отливам ('убыль'), см. [Д I: 218] *Вода...* арх. время от самой малой до самой полной воды, между приливом и отливом, около 6 часов. ...*Стоять целую воду*, выждать прибыль или убыль. Иные считают *воду* в 12 часов, между двумя полными приливами или отливами; тогда в сутках *две воды*, иначе их *четыре*.

В новгородских, вологодских, пермских говорах многозначное слово *выть* (одно из его значений [Д I: 322] 'пора или час еды', 'завтрак или пережатка', 'полдник', 'обед, паобед', 'ужин, паужин') используется для выражения рабочего времени от еды до еды, см. [Д I: 322]: "У крестьян в рабочую пору 3, 4 или 5 вытей, но если *вытью* называют рабочее время от еды до еды, то делят день на 3–4 выти. В *три выти дрова свозил*, нов-бор. 'в один рабочий день'".

Для обозначения времени изредка привлекались и наблюдения крестьянина-животновода: в этих целях задействовано название такого домашнего животного, которое "противопоказано" народам, исповедующим ислам, как свинья. См. [Д IV: 150] *В свины полдни* 'поздно' и приводится объяснение: "запоздно, ...оттого, что свиньи, пускаемые без пастуха, бегут с поля поздно, нередко уже ночью, с хрюканьем и ревом, и поднимают хрюканье до свету".

В тюркских языках народные способы выражения времени в основном обусловлены скотоводческим укладом хозяйства и жизни кочевников¹⁸. Так, если месяцы называются или арабскими наименованиями или зодиакальными знаками, то "среди простого народа известные периоды года обозначаются приблизительными, к тому времени, событиями степного быта"; так, у казахов (ЛБ: киргизов) овцы ягнятся – начало апреля; кобыл доят для кумыса – конец апреля и май; стрижка ягнят – около 15 и 20 июля; режут скот на зимний запас – в начале декабря (по старому стилю) и т.п. [ЛБ I: 172]. См. также кирг. *at qara til bolýondo* "когда наступило лето (букв. когда язык у лошади стал черным)" [Юдахин 1965: 77]. С уходом за лошадей связан и другой способ определения времени: "кир. *žiqu, žıqu*

¹⁸ В туркменском фольклорном языке Н.К. Дмитриев отмечал даже «обычай считать грузы по верблюдам (например, "два верблюда золота")» [Дмитриев 1954: 23].

сон (= *juqi, ujqu*), *tunniŋ bir žuqusy* один сон ночи (киргизы ночное время определяют сном, повторяемым три раза, например: когда оставляют лошадь на привязи и, ложась спать, думают проснуться через 1 1/2 часа или 2 часа, чтобы отпустить ее на корм, то говорят *tunniŋ bir žuqusy*, если нужно встать через 3–4 часа, то говорится *tunniŋ iki žuqusy* два сна ночи...) [ЛБ I: 445–446]. О счете жизни лошади по *асый*'ам см. [Юдахин 1965: 76].

Время у тюрков исчислялось по количеству перекочевков: дж. *ara qon-* "провести день и ночь, иметь две стоянки, два перехода (т.е. через сутки)", *arada üč qon-* "через три перехода" при тур., тат. *qon-* 'останавливаться на ночевку' [ЛБ II: 96]; кирг. *üč qonur* "три раза переночевав (т.е. на 4-й день)" и *beš qonolyondo* "на 6-й день (пять раз переночевав в пути)" [Юдахин 1965: 401]. У киргизов до сих пор время может быть определено по тому, когда сварится еда кочевника (чаще – мясо): *aradan et byşymdaj mezgil ötröj...* "не прошло и 2–3 часов, как..." (букв.: не прошло и времени, нужного для того, чтобы сварилось мясо), *žarma byşum* "время (около одного часа), нужное для того, чтобы сварилась жарма" (т.е. похлебка из толченого ячменя или пшеницы) [Юдахин 1965: 174].

Ко времени освоения тюрками земледелия и бахчеводства относятся следующие выражения: *burčaŋ čačar küni* "день посева гороха (Егорьев день, 3-го апреля по стар. стилю)" [ЛБ I: 275], *qawun (tut) ruşuуу* "время поспевания дынь (шелковицы)" [ЛБ I: 259].

Высота подъема солнца у тюрков определялась при помощи оружия, у казахов, например, измеряется до сих пор посредством копья (пики) – монголизма *najza*, для чего используется словосочетание *najza boju* букв. 'рост копья'. Такой же способ измерения был представлен на рубеже XV–XVI вв. в "Бабур-наме": *aftab hir najza boju čuqub edi* "Солнце поднялось на длину одного копья" (подробнее см. [Благова 2000: 83]).

В старом быту тюрков-мусульман по уставным обязательным молитвам (5 раз в день) часто определялось время суток, см. об этом [ЛБ I: 292; Юдахин 1965: 551]. В Словаре Даля подобного способа выражения времени найти не удалось. Между тем, в старом русском быту существовал сходный народный способ окказионального замера времени при помощи чтения молитвы: по словам Н.Д. Насиловой, троекратного чтения "Отче наш" достаточно, чтобы сварить яйцо всмятку.

Народные способы выражения меры пространства в русском и тюркских языках имеют несколько больше типологических сближений, чем рассмотренные выше способы передачи времени. Во-первых, это измерение расстояния применительно к дальности стрельбы. См. [Д IV: 345]: *стрельбище*, в старин. знач. расстояние полета стрелы; *стрелище* сев. то же, мера, на какую ружье бьет, пуля, дробь, ядро хватает, и [ЛБ I: 10]: *oq atуту* "расстояние на выстрел стрелы". Во-вторых, в этих целях так или иначе привлекается распространенный прежде (а у тюрков зачастую и по сей день) способ передвижения на большие расстояния – езда на лошади. См. [Д II: 165]: *кормёж, кормёжка...* упряжка, перегон: *Я доехал в три кормежки*, трижды кормил лошадей; [Д III: 531]: *пряжка...*, *пряга* ярс. упряжка, переезд на одних конях, не кормя, перегон. *В две пряжки доедем*. Ср. кирг. *ara qončuluq žer* "расстояние, которое может покрыть всадник шагом за срок, немногим более одного дня (когда в пути необходимо один раз переночевать – *qon-*)", *eki ara qončuluq žer* "расстояние 2-х дневного пути (когда в пути необходимо 2 раза переночевать)" и т.п. [Юдахин, 1965: 403]; *qonolyo* "расстояние, которое может проехать верховой, раз переночевав" [Там же, 1965: 401]. С корпусом лошади связан в киргизском еще один способ меры малого пространства, см. *at keser* "по грудь коню" (снег, вода, трава и т.п.): *at keserden qar boldu* фольк. "выпал снег по грудь коню" [Юдахин 1965: 77].

У архангельских мореходов "вода ...время от самой малой до самой полной воды,

между приливом и отливом, около 6 часов" обозначало также "переплываемое в этот срок расстояние, около 30 верст" [Д I: 218].

В Словаре Даля приводится тюркизм (квк.) *агач* кавказская путевая мера, час; *пеишй агач* четыре версты; *конный* семь [Д I: 4]. См. [ЛБ I: 61] каз. *ауащ* 1) дерево, палка; "2) тур. ад. мера пространства от 6 до 7 верст. По дж. сл. <чагатайскому словарю> *жуащ* пространство, на котором два человека в крайне дальнем расстоянии друг от друга, могут слышать крик третьего, стоящего посредине, взятое втрое".

Видимо, к числу более поздних способов выражения меры пространства, относимых к поре земледелия у тюрков, принадлежит своеобразное использование в этих целях слов *kün* "день": "В кр.(ытском) наречий *kün* значит также *выпашка одного дня* (в Крыму дневному пропашкой определяется и количество пахотной земли и ее цена, *оп kün* – десятидневная выпашка, *igirmi kün* – двадцатидневная и пр.)" [ЛБ II: 165].

Более детальное ознакомление со словарями В.И. Даля и Л.З. Будагова позволит глубже осветить специфичность лексики того и другого словаря, различия в психологии языкового выражения таких категорий, как время и пространство.

*

Все вышесказанное позволяет заключить, что отечественная лексикография развивалась при известном взаимодействии (в том числе – взаимодополнении и взаимокоррекции) русистской и востоковедной своих отраслей.

Всегда особенно интересовавшая русских востоковедов проблема тюркизмов и шире – ориентализмов – в Далевом словаре решается новаторски благодаря привлечению огромного диалектного материала, показаний живой народной речи на территориях России со смешанным населением (Поволжье, Астраханский край, Приуралье, Оренбуржье и др.). Проблему эту следует рассматривать как одну из составляющих проблемного блока "В.И. Даль и Восток", который требует широкого комплексного подхода к себе при учете материала бытоописательных произведений ученого и писателя из жизни народов Приуралья и Казахских степей.

Давая первое словарное описание ориентализмов, этой своеобразной части лексики живого народного языка, диалектов, В.И. Даль тем самым заложил в отечественной лексикографии историко-культурологическую традицию их изучения, которая в тюркской лексикографии России пустила настолько глубокие корни, что оказалась жива и в наше время.

Богатейшие традиции отечественной лексикографии в этой области не должны быть преданы забвению, ибо в сложившейся современной ситуации эти традиции имеют особое значение для осмысления истории как культуры многонациональной России, так и культур любого из тюркских народов СНГ, для изучения давних связей русской народной культуры с культурами тюркских народов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабкин А.М.* 1955 – Толковый словарь В.И. Даля // Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955.
- Баранов Х.Б.* 1957 – Арабско-русский словарь / Сост. Х.Б. Баранов. М., 1957.
- Белинский В.Г.* VI – Полное собрание сочинений. Т. VI. М., 1953.
- Белинский В.Г.* X – Полное собрание сочинений. Т. X. М., 1956.
- Березин И.Н.* 1850 – Описание турецко-татарских рукописей, хранящихся в библиотеках С.-Петербурга // ЖМНП. 1850. Ч. 68. № 12.
- Бессараб М.* 1968 – Владимир Даль. М., 1968.
- Благова Г.Ф.* 1985 – Лазарь Будагов – лексикограф-энциклопедист // Сов. тюркология. 1985. № 6.
- Благова Г.Ф.* 1986 – Словари Л. Будагова и Паве де Куртейля как источники этимологического словаря // Проблемы составления этимологического словаря отдельного языка. Чебоксары, 1986.

- Благова Г.Ф. 1988 – Л.З. Будагов и тюркская историческая лексикология (К постановке проблемы) // Теория и практика этимологических исследований. Материалы к ЭСТЯ. М., 1988.
- Благова Г.Ф. 2000 – Время и пространство: народные способы выражения в тюркских языках // РО. Т. LIII. Z. 2 (1999). 2000.
- Богатова Г.А. 1981 – Эволюция внеязыковых связей слова и историческая лексикография // ВЯ. 1981. № 6.
- Боровков А.К. 1960 – Лексикографическая традиция в словарях чагатайского языка // Лексикографический сборник. Вып. IV. М., 1960.
- Виноградов В.В. 1941 – Толковые словари русского языка // Язык газеты. М.; Л., 1941.
- Герцен А.И. 1952 – А.И. Герцен об искусстве. М., 1952.
- Гоголь Н.В. – Письма Н.В. Гоголя. [В 4-х т.] Ред. В.И. Шенрока. Т. III. СПб., 1901.
- Григорович Д.В. 1928 – Литературные воспоминания. Л., 1928.
- Грот Я.К. 1873 – Воспоминание о В.И. Дале // Зап. Имп. Акад. наук. Т. XXII, СПб., 1873.
- Д I–IV – Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. М., 1955.
- Даль 1990 – Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка / Публикация и комментарий А.Л. Топоркова // ВЯ. 1990. № 1.
- Дмитриев Н.К. 1954 – Туркменская народная сказка // Туркменские народные сказки Марыйского района / Текст записал и перевел Н.Ф. Лебедев. Вводные статьи и примечания Н.К. Дмитриева. М.; Л., 1954.
- Евстратов Н. 1957 – В.И. Даль и Западный Казахстан // Уч. зап. [Уральск. пед. ин-та им. А.С. Пушкина]. Т. IV. Вып. 12. Уральск, 1957.
- Канкава М.В. 1958 – В.И. Даль как лексикограф. Тбилиси, 1958.
- Кононов А.Н. 1989 – Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский период. 2-ое изд. / Перераб., подгот. А.Н. Кононов. М., 1989.
- Кубанова Л.А. 1967 – О тюркизмах русской диалектной лексики. Черкесск, 1967.
- Кубанова Л.А. 1968 – Тюркизмы в диалектной лексике русского языка (по "Толковому словарю живого великорусского языка" В.И. Даля): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1968.
- Лазаревский В.М. 1894 – Из бумаг В.М. Лазаревского. 1. Биографический очерк. 2. Знакомство с Далем. 3. Переписка с Далем. М., 1894.
- ЛБ – Сравнительный словарь турецко-татарских наречий / Сост. Л. Будагов. Т. I – 1869; Т. II – 1871, СПб.
- Мельников П.И. (Андрей Печерский) 1903 – Владимир Иванович Даль (Казак Луганский). Критико-биографический очерк. СПб.; М., 1903.
- ОЗ – Отечественные записки. 1847. № 3.
- Повести... 3 – Повести, сказки и рассказы Казака Луганского. Ч. 3. СПб., 1846.
- Повести... 4 – Повести, сказки и рассказы Казака Луганского. Ч. 4. СПб., 1846.
- Подюков И.А. 1994 – Сны, приметы, загадки, поговорки / Сост. И.А. Подюков. Пермь, 1994.
- Реформатский А.А. 1982 – Константин Кузьмич Юдахин // Русский язык и литература в киргизской школе. Фрунзе. 1982. № 4.
- РСл. II–IV – Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. II – 1893; Т. III – 1905; Т. IV – 1911. СПб.
- Самойлович А.Н. 1927 – К вопросу о двенадцатилетнем животном цикле у турецких народов // Восточные записки [Ленинградск. ин-т жив. вост. яз.]. Л., 1927.
- Самойлович А.Н. 1928 – К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка // Мир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. Л., 1928.
- Фетисов М.И. 1950 – Первые русские повести на казахские темы. Алма-Ата, 1950.
- Юдахин К.К. 1965 – Киргизско-русский словарь / Сост. К.К. Юдахин. М., 1965.
- Dorn V. 1846 – Das Asiatische Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St.-Petersburg. St.-Pb., 1846.

© 2001 г. К. ВИНДЛ

**ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ МАКЕДОНСКО-РУССКОЙ
ЛЕКСИКОГРАФИИ**

Традиция грамматических и лексикографических исследований по балканским языкам, и в частности македонскому языку, существует в России давно. В развитии и поддержании этой традиции в последние десятилетия большую роль сыграла Р.П. Усикова, профессор Московского государственного университета, крупнейший специалист по южнославянским языкам, автор целого ряда научных работ о морфологии, семантике и лексике македонского языка. В настоящей статье рассматриваются актуальное состояние и последние достижения македонско-русской лексикографии в свете других лексикографических трудов и пособий на русском и других языках, при этом преимущественное внимание уделяется словарю, составленному Р.П. Усиковой и ее коллегами.

Новый трехтомный "Македонско-русский словарь" (далее МРС) ставит своей задачей представить и объяснить русскоязычному читателю общеупотребительную лексику и фразеологию современного македонского литературного языка, в том числе разговорную, просторечную, научно-техническую, спортивную и др., в объеме, позволяющем читать и переводить научно-популярную литературу и прессу. В соответствии с давно установленной традицией, составители исходят из предположения, что читатель знает русский лучше, чем македонский, и, следовательно, нуждается в грамматической информации только о македонском языке. Руководствуясь тем же принципом, составители русско-македонского словаря ("Русско-македонски речник", далее РМР), опубликованного в том же 1997 г. (см. ниже), предполагают, что читатель знает македонский язык лучше, чем русский. МРС предназначен в первую очередь для русских читателей, славистов, переводчиков македонской художественной литературы, а также для тех, кто пользуется научной литературой на македонском языке.

В основе "Македонско-русского словаря", как и многих других двуязычных словарей, лежит известный, составленный в 50–60-е годы, трехтомный "Речник на македонскиот јазик" (РМЈ) – первый большой словарь македонского языка¹ (см. [РМЈ, т. 1: 7]). Однако, поскольку этот словарь уже четвертое десятилетие перепечатывается без изменений или исправлений, в МРС учитываются многочисленные изменения, которые произошли в македонском языке за последние тридцать пять лет: при его составлении были использованы более современные источники и накоплен большой запас нового лексикологического материала.

В 90-е годы выбор македонских двуязычных словарей значительно расширился. Для польских специалистов появился словарь Б. Видоеского, В. Пянки и З. Тополинской (1990 г.; далее ВПТ). Англоязычные читатели македонской литературы и македонские специалисты по английскому языку получили словари О. Мишеской Томич (1994 г.; далее ОМТ) и разные словари З. Мургоского, в том числе македонско-английский словарь (1996 г.; далее ЗМ), а также в 1998 г. был опубликован "The Routledge Macedonian-English Dictionary" (RMED).

¹ О роли этого словаря как основе более поздних двуязычных словарей см. [Стаматоски 1999: 39].

Для русских читателей до недавнего времени существовали два прекрасных македонско-русских словаря среднего объема, ставшие, однако, уже библиографической редкостью. Это словарь, который составили Д. Толовски и В.М. Иллич-Свитыч (1963 г.; далее ТИС) и словарь Ксении Гавриш (1969 г.; далее КГ). Первому по праву принадлежит честь первопроходца, поскольку он появился до публикации последних двух томов РМЈ, в период, когда литературный язык еще находился в процессе становления. Второй, как и почти все последующие двуязычные словари македонского языка, опирается на основу лексикографических трудов, проделанных авторами РМЈ. Оба словаря дают русскому читателю широкое представление о лексике македонского языка, с надежными переводами. Однако, в связи с относительной нестабильностью в этом языке и с темпами перемен, давно чувствуется необходимость новых, или хотя бы дополненных изданий этих словарей.

Для македонского читателя в 1997 г., почти одновременно с МРС, вышел из печати новый (и очень хороший) "Руско-македонски речник" (РМР) Н. Чундевой, М. Найческой-Сидоровской и С. Накева, содержащий свыше 52000 слов. В отличие от македонско-русских словарей, словарь с переводами с русского на македонский, разумеется, не может опираться на основу РМЈ. Последний дает лексикографу возможность проверить значение македонских лексем, но не предлагает ни лексикографического "сырья", ни иллюстративного материала. Набор русских слов в РМР, по-видимому, более чем адекватный, качество технического исполнения высокое, и переводы даются точные и элегантные.

Если сравнивать словари по объему, то трехтомный "Македонско-русский словарь" Р.П. Усиковой значительно больше, чем его предшественники. Так, если в ТИС 30000 слов, в КГ – 50000, то в МРС – 65000; превышает он по количеству заглавных слов и РМР. Кроме этого, МРС имеет ряд других несомненных преимуществ над словарями 60-х годов, в частности, в него включено большее число фразеологизмов и он хорошо освещает современную македонскую лексику.

Вступительные материалы ("О пользовании словарем") содержат описание состава и структуры словаря, а также структуры словарной статьи. В конце книги дается обширный "Словарь географических названий", куда вошли названия стран мира и их столиц, больших рек и городов балканских стран и России, а также таких далеких рек, как, например, Муррей (Murray) и Дарлинг (Darling) в Австралии, причем производные от многих из них приводятся в основной части словаря; для сравнения: в РМЈ производные даются вместе с топонимами в списке под заголовками "Географски и други имиња (како и зборови изведени од нив)".

МРС имеет в своем составе и словарь сокращений. Среди сокращений зафиксированы такие, как *ИТАР-ТАСС*, *КЕШ* (куп на европски шампиони), *ББЦ* (Би-Би-Си), *УНПРОФОР* и многие другие; преобладают названия спортивных федераций, политических партий и агентств печати.

Словарь снабжен грамматическим справочником по македонскому языку (на русском языке), с парадигмами основных классов македонского глагола, местоимений и имен существительных. Описываются и некоторые особенности синтаксиса простого предложения.

ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЛОВАРЯ

Главное и неоспоримое преимущество МРС состоит в широком охвате всех слоев лексики современного македонского языка. РМЈ, безусловно, дает прочное основание, но к этому базовому запасу нужно было добавить более современный материал и заполнить некоторые другие лакуны. А. Поповски справедливо утверждает: "Се јавуваат бројни систематски пропусти во тие изданија во кои недостасуваат заглавни зборови што недостасуваат и во РМЈ, недостасуваат синтагми што недостасуваат во РМЈ, се предаваат застарени значења, се испуштаат новите значења и неологизмите" [Поповски 1998: 61].

В МРС зарегистрировано довольно большое количество лексем, которые, по разным причинам, не приводятся в РМЈ. Есть среди них и такие, которые не даются и в других словарях. В список входят, например, следующие слова и значения, не отмеченные в РМЈ (указываем не все переводы из имеющихся в МРС): *АЗИЛАНТ* "политический беженец"; *ВРАБОТИ -УВА* "принять на работу"²; *ДЕПОНИЈА* "свалка"; *ДИГИТРОН* "калькулятор", (*СЕ*) *ДУПИ* прост. "трахать, трахаться" (в других словарях, включая РМЕД, не дается; как известно, русские словари до недавнего времени тоже не включали такого рода вулгаризмы); *ЗАВРТКА* сущ. "болт, винт"; *ИНФОРМАТИКА* русск. "информатика"; *КОСТЕНЛИВ* "каштановый"; *МАИЦА* разг. "майка" (приводится в ТИС, КГ, РМР; отсутствует в РМЕД; не приводится в МФР); *МЕДИУМ* (в смысле "коммуникации, средства массовой информации"); *МОМЕНТАЛНО* разг. "в данный момент"; *НЕВРАБОТЕН* "безработный" (не указывается в ТИС, КГ; дается в РМР); *ПАРКИРАЛИШТЕ* "стоянка"; *ПОЈДОВЕН* "исходный, начальный" (это важное прилагательное отсутствует во многих словарях, включая РМЕД; дается в РМР); *ПОЛИТИКОЛОГ* русск. "политолог"; *ПОРТПАРОЛ* "пресс-секретарь"; *СИНТИСАЈЗЕР* "синтезатор"; *СТЕЧАЈ* "меры применяемые к предприятию банкроту"; *ТРЕТМАН* "тракторка", "лечение"; *ФОВИЗАМ* "фовизм"; *ФЛЕШ* "молния" (в средствах массовой информации); *ФОЛИЈА 1* "фольга"; *ФОЛИЈА 2* "безумие"; *ХУЛАХОПКИ* "колготки"; *ЦИЦИ-МИЦИ* "безделушки, финтифлюшки" (в ОМТ – как перевод английского *fingery*). Есть и такие лексемы (может быть, их немного), которые не вошли в МРС, а могли бы войти.

Вопрос о том, что надо включать в современный словарь македонского языка, всегда чреват большими трудностями для лексикографов, поскольку интенсивность политических и культурных процессов на Балканах является сильным экстралингвистическим фактором, и, кроме того, соседние языки оказывают постоянное влияние, от которого пуристы, при всем желании, отмежеваться не могут. На Балканском полуострове классификация слов и выражений по "национальному" происхождению сама по себе способна привести к острым конфликтам, а объективный лингвист может руководствоваться только показателями частотности, если таковые имеются.

В повседневном общении и в македонских средствах массовой информации употребляются многие "сербизмы", которые для носителей македонского языка давно перестали звучать в какой-либо мере "иностранными". Частотный словарь Д. Стефани [Stefanija 1991] демонстрирует, что сербизм *новајлија* ("новичок") занимает 2133-е место среди 4220 наиболее часто употребляемых слов в газете "Нова Македонија". Однако данное слово не отмечено ни в РМЈ, ни в более поздних лексикографических источниках, включая МРС и РМЕД³.

Возможно, что по той же причине отсутствуют в МРС следующие слова: *лулашка* "качели", *мутер* "гайка", *точак* разг. "велосипед", *кукавичлук* "трусость", *гесло*. Последнее значит в ЗМ и в РМЕД в смысле "пароль, лозунг". В лингвистических трудах это слово иногда встречается в смысле "заглавное слово, вход (в словарную статью)", см., например [Аризановска 1999; Стефанија. 1998].

МРС и РМР признают только форму *кикиритка* "арахис", по-видимому, вслед за РМЈ, который дает еще *кикирики*, но только в качестве диалектизма (что повторяется в РМЕД)⁴. (В сербскохорватском языке *кикирики* это стандартная форма.) Однако, как подчеркивает Д. Стефанија, именно форма *кикирики* стала наиболее распространенной в современном македонском языке [Стефанија 1998: 59]. ЗМ дает только эту форму, без каких-либо помет.

² Глагол *врaботи* по частотности в газете "Нова Македонија" занимает 475-е место. См.: [Stefanija 1991].

³ На тему работы по замене сербизмов во многих сферах жизни см. [Усикова 1999].

⁴ В [Томиќ 1986] приводится только форма *кикиритка* под заглавным словом *ahida*.

Среди других вокабул, отсутствующих в МРС, укажем следующие: *божемен* "мнимый" (дается в ТИС; в МРС приводится только модальное слово *божем* "якобы"); *гулаб* "голубь" (даются только производные *гулабар*, *гулабарник*, *гулабца*); *дупче* "ямочка" (дается в РМР как единственный перевод русского слова); *едначи* (*се*), *едначене* "ассимилироваться, ассимиляция"⁵; *експлицитен*, -но "ясный, четкий" (дается глагол *експлицира*); *изведенка* "производное слово" (дается в ЗМ с переводом 'derivative'; встречается в лингвистических трудах⁶); *камионџиџа* "водитель грузовика" (не дается в РМЈ); *навртка* "гайка" (не дается в РМЈ; приводится в РМР, в котором не так сильно чувствуется влияние РМЈ; указывается в RMED)⁷; *обелодени*, -ува "обнародовать" (дается в ЗМ, RMED и в ТИС; не дается в РМЈ, КГ); *подлизурко* разг. "подхалим" (не дается в РМЈ, но приводится в ТИС; дается также как первый перевод слова *подхалим* в РМР); *рибарче* "зимородок"; *санта мраз* "айсберг" (не дается в РМЈ, RMED, ТИС; приводится в ЗМ под словом *мраз*; дается в ОМТ под *iceberg*; РМР как перевод слова *айсберг* дает "санта лед", близкую кальку сербского выражения – "санта леда"); *вратоврска* "галстук" (дается в РМР как единственный перевод русского слова; дается в RMED и в ТИС; не дается в РМЈ и КГ); *зависник* "наркоман"; *усогласи* "согласовать" (дается в ТИС, КГ, RMED, РМР)⁸; *хуриет* "свобода" (дается в дополнении к РМЈ с пометой "разг." а в КГ "уст"; это – одно из турецких заимствований, употребляющихся все реже в современном языке; не дается в ТИС).

В некоторых словарных статьях в МРС даны основные смыслы данного македонского слова, но отсутствует какой-то другой известный смысл:

БРОД 2: переводится следующими русскими словами: *корабль*, *катер*, *судно*, таким образом, остается в стороне второе значение "неф, корабль церкви". Последнее значение, которое отсутствует и в РМЈ, дается в ЗМ и в RMED (англ. *pave*). (*Брод 1* это русск. "брод").

ПЛАТО: как перевод дается всего одно слово, русск. "плато", что может ввести читателя в заблуждение, поскольку остается в стороне иной смысл, в предложениях типа *платото пред зградата на ЦК*. Мак. *плато*, таким образом, может попасть в категорию "ложных друзей" переводчика, так как русское и македонское значения этого слова совпадают только частично⁹ (в РМЈ македонское толкование соответствует только географическому значению, а сербскохорватский перевод *plato* имеет оба значения. См. пример *plato za ples* в словаре М. Бенсона [Benson (no date)]).

КАЛУГЕРКА: как в ТИС, даются всего два значения (1) "монахиня", (2) "головастик". КГ дает только первое значение. Значит, во всех македонско-русских словарях отсутствуют и орнитологический смысл "чибис" (*Vanellus vanellus*) (не дается в РМЈ), и ботанический – вид ириса (*Iris pseudacorus*), который указывается в РМЈ.

⁵ Употребляется как фонологический термин в таких безукоризненных источниках, как "Правопис на македонскиот литературен јазик", который значится в библиографии МРС и РМР, и в трудах Б. Конеского (см. [Правопис... 1994: 21–23; Конески 1987: 125–128]). В македонско-русских и русско-македонских словарях не приводится.

⁶ Например, [Стефанија 1998: 57, 60]. Встречается и форма *изведеница*, что совпадает с сербскохорватской формой.

⁷ Об отсутствии слов *навртка*, *навртка* в РМЈ см. комментарий Д. Стефанији [Стефанија 1998: 57].

⁸ В РМЈ дается всего лишь *усклади в. усогласи* и *согласи в. сложи*, *усогласи*, но как заглавное слово *усогласи* не появляется. Следовательно, и тот и другой глагол остаются без дефиниции и перевода. Д. Стефанија обращает внимание на отсутствие глагола *усогласи* в РМЈ, см.: [Стефанија 1998: 60].

⁹ См. примеры такого же типа в [Grabovšek 1998: 165–174].

• **РИБА**: дается без распространенного разговорного значения "убава девојка", которое регистрируется в других лексикографических источниках, среди них словарь жаргонных выражений Т. Трневского (ТТ) и ЗМ¹⁰. В МРС дается *риба 2* – "кусок".
ПЕШКИР: как и в RМED, дается без жаргонного значения "педераст", которое появляется в ЗМ и ТТ. (О первом значении этого слова см. ниже).

Однако македонские жаргонные выражения более широко представлены в МРС, чем русский жаргон в RMP, авторы которого приняли решение исключить "диалектные слова и слова с грубо-просторечной окраской" [RMP: 5]. МРС в меньшей степени, чем его предшественники, и меньше, чем RMP, избегает вульгарных лексем. Помета "вульг." изредка появляется (см. *лајно*), хотя это сокращение пропущено в списке сокращений [MPC, т. 2: 24], чаще же используется помета "груб."

Не только жаргон сам по себе представляет трудность для лексикографа. Применение этой и других помет, а также разработка лексем, которые нуждаются в таких пометах, тоже создает определенные проблемы. Говоря о решении включить в ТИС самые разные лексические слои, составители утверждают, что это "необходимо в условиях становления литературного языка, когда области употребления отдельных слов постоянно смещаются, диалектные и просторечные слова становятся общепотребительными и т.п. Последнее обстоятельство обуславливает лишь относительную точность системы помет (диал. фольк., разг. и т.д.), принятой в словаре" [ТИС: 4]. Поэтому неудивительно, что статус некоторых лексем, особенно тюркизмов и сербизмов, все еще колеблется в разных словарях и, во многих случаях, меняется со временем. Своими стилистическими пометами разные словари выражают разные точки зрения.

ПЕШКИР "полотенце": сопровождается пометой "разг." в ТИС и МРС; в ЗМ, КГ, ВПТ и РМЈ (в этом значении) дается без какой-либо пометы. В небольшом словаре [Мургоски 1995] *towel* переводится одним только словом *пешкир*. Зато RMP вообще не признает *пешкир* как македонское слово, а дает только *крпа* как перевод русск. *полотенце*. Не дается в МФР.

БРУЦОШ "студент-первокурсник": "жарг." в РМЈ, КГ; в МРС и ТИС имеет помету "разг."; дается без пометы в ЗМ и МФР.

УФРЛИ "вбросить, вставить": в МРС сопровождается пометой "прост."; без пометы в ТИС и ЗМ; не дается вообще в РМЈ, КГ, RМED.

ПЕКИ "ладно, хорошо": в МРС имеет помету "разг."; в РМЈ – "argh." (архаичен); в ТИС "уст."; не дается в ЗМ и RМED.

ЃУМЕ "укрытие для охоты на водоплавающих птиц": в МРС имеет помету "диал."; дается без пометы в РМЈ и ТИС; не дается в RМED.

Иные лексемы, охарактеризованные в РМЈ как архаизмы, в более современных словарях, таких, как МРС, не даются вообще. К таковым относятся мак. "отечество" (дается в КГ; в современном языке употребляется только *татковина*) и мак. "пучина" (дается без пометы в ТИС, в КГ – как "книжн.") (см. [Јовановска-Грујовска 1999: 134]). В RMP русские слова *отечество* и *пучина* переводятся без помощи своих однокорневых аналогов.

СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Если говорить о структуре словарных статей в МРС для слов с большим количеством значений, то ее общая схема местами (и пожалуй, в большей мере, чем

¹⁰ См. также [Јовановска-Грујовска 1999: 135–136], где автор констатирует, что составители трехтомного Словаря македонского языка уделяют мало внимания разговорному языку.

RMED) отражает структуру соответствующих статей в РМЈ. Например, под заглавным словом *наш* в РМЈ различается не менее пяти пронумерованных значений¹¹, которые иллюстрируются следующими примерами:

1. *наша куќа*;
2. *Петре наш, наш човек*;
3. *нашиот автобус стигна порано од вашиот*;
4. *нашиот јунак таа ноќ не спиеше*;
5. *нашите*.

МРС под заглавным словом *наш* повторяет это деление и все примеры слово в слово. Но одновременно с этим *ваш* имеет те же самые примеры, что в РМЈ, но уже без всякой нумерации, что, возможно, свидетельствует о некоторой несогласованности в работе составителей разных частей МРС.

Другие словари, даже КГ, который, как правило, мало отступает от РМЈ, объединяют первые четыре значения слова *наш*. Подобным образом трактуется эта лексема и в "Сербскохорватско-русском словаре" И.И. Толстого, где дается только эквивалент и, после ромба, *наши смо* [Толстой 1970].

В других случаях, однако, МРС дает другую нумерацию, т.е. значения классифицируются по-иному, нежели в РМЈ, или вообще отвергается то деление, которое наблюдается в РМЈ. *Социализм* в РМЈ имеет три "разных" значения, которые все переводятся сербскохорватским словом *socijalizam*; *социјалистички* имеет не менее пяти значений, с одним и тем же сербскохорватским переводом. В МРС, как и в более ранних ТИС и КГ, такая классификация не сохраняется. У слова *теорија* в РМЈ выделяется пять значений, для которых даются следующие примеры:

1. *марксистичко-ленинистичка т.*;
2. *т. на музиката*;
3. *атомската т.*;
4. *т. на стихијноста (спонтаноста) на работничкото движење*;
5. (fig.) *другари, нам сега овде не ни се потребни теории, туку треба да запнеме и да ја свршиме работата*¹².

Данное слово получает упрощенную разработку в МРС (как и в RMED, ТИС, и КГ), без нумерации значений и с меньшим количеством примеров. Даже словарь объема РМР не считает нужным деление русск. "теории" на несколько значений, а дает всего один эквивалент и один пример.

В конце многих статей в МРС, как и в других словарях среднего и большого объема, помещаются всякого рода фразеологизмы, поговорки и пословицы. Источником многих из них служит, естественно, РМЈ, к достоинствам которого относится богатый набор устойчивых словосочетаний. И здесь преимущество МРС по сравнению с ТИС и КГ очевидно. В нем дается гораздо больше фразеологических единиц, чем в предыдущих словарях, и составители МРС хорошо справляются с подчас трудной задачей перевода этих выражений на русский. Фразеологизмы представлены систематически и располагаются по принципу "от простого к сложному" [МРС, т. 1: 19], см. также [Шанова 1999: 114]. Сюда входят и специальные термины, сначала именные, например, *змија осожница*, *гума за бришење*, затем глагольные, например, под заглавным словом *глава* – *фати се за глава*, и в конце – пословицы и поговорки: *со глава сид не се турка*, *за таква глава – таков брич*. В последнем случае, и во многих подобных, где меняется метафорическая формулировка центральной мысли, перед русским соответствием стоит знак приближительности. В тех случаях, если в русском языке не

¹¹ Примечательно, кстати, что *ваш* в РМЈ не имеет таких тонких градаций, как *наш*, хотя выделяется три значения.

¹² О нумерации "разных" значений и "the positing of arbitrary polysemies" см. [Wierzbicka 1992/93: 54–56].

существует эквивалента, дается нефразеологический перевод или объяснение значения македонского фразеологизма [Шанова 1999: 115].

PMJ известен также своими примерами, многие из которых черпались в политической литературе 60-х годов. Идеологическая лексика, и не только идеологическая, иллюстрируется примерами типа *смрт на фашизмот – слобода на народот!* (под главным словом *фашизам*¹³. Составители МРС, по-видимому, подвергли тщательному пересмотру весь иллюстративный материал, и таких примеров осталось очень мало. Иные ненужные (и неидеологические) примеры употребления, которые местами появляются в PMJ, также удалены, см. [Поповски 1998: 57–70; Виндл 1998: 23; Windle 1998b: vi–viii]. Обычно остаются (добавляются) только действительно типичные и полезные примеры. Так, в PMJ еще можно найти примеры следующего типа:

НЕДРАГО: кога чула змијата дека ја благословил дедо Нојо да јаде глумци, недраго ѝ паднало;

ОДМОЛИ: од ламјата да ме скриееш или да ме одмолиш да не ме јаде;

ПРОЛЕТЕР: моралот на нашите пролетери беше на извонредна висина;

ТЕЛО: главата ѝ е убава, ама телото не ѝ чини.

В соответствующих местах в МРС таких примеров уже нет. *Недраго* и *пролетер*, за ненадобностью, не имеют речевых иллюстраций, а *тело* имеет другие, более короткие примеры.

В других местах, однако, сохраняются примеры из PMJ с минимальными изменениями, иногда с сокращениями, в случае очень длинных речений, которыми изобилует PMJ. Объективно говоря, из следующих примеров, далеко не все действительно нужны, даже в сокращенном виде, чтобы проиллюстрировать значение или употребление данных лексем.

*СОЗДАТЕЛ: МРС – создатели и градители на нов живот (ср. PMJ – *ке б и д а т создатели и градители на нов с р е к е н живот*);*

*УЧИТЕЛ: МРС – водач и учител (PMJ – *Т и т о е н а ш и о т водач и учител*);*

*ОТПЕРЕ: МРС – *утре ќе отперам уште малку* (PMJ – *утре ќе отперам уште малку од преслекана, така што на другиден да не ми остане многу*);*

*ТУКУРЕЧИ: МРС и РМ – *ке си одам откај вас и тукуречи од Битолава*;*

*ПИЈАЧКА: МРС и РМЈ – *ке падне една пијачка* (рус. *эх и выпивка будет*).*

ОМОНИМИЯ И ПОЛИСЕМИЯ

В сложной сфере омонимии и полисемии, как указал Л. Стефановски, местами в PMJ наблюдается некоторая непоследовательность, что сказывается и на других более поздних словарях [Стефановски 1999: 68–69]. В принципе появляются разные статьи для одной формы, когда данная форма представляет собой разные слова с разной этимологией (*цин* – "джин", *цин* – "гигант"). Однако в PMJ появляются два "слова" *операција*. *Операција 1* – это "хирургическая операция". Второе, "омоним" первого, *Операција 2*, куда входят "военная операция", "финансовая операция" и "техническая операция". В МРС, как и в RMED, эта непоследовательность в данном случае устранена. Дается всего одно слово *операција*, не разделенное на пронумерованные значения, с иллюстративными примерами, демонстрирующими вышеуказанные нюансы.

В случае слова *време* PMJ дает три заглавные статьи для разных значений: "время", "погода", и то, что иллюстрируется примером *немаме време да правиме свадба* с

¹³ На эту тему см [Стефанија 1998: 55; Windle 1998a: 310; Hill 1994: 18].

переводом "nismo u stanju (nemame sredstva)..." Во многих других словарях, в том числе в словаре "Речник на македонската народна поезија" (РМНП), последний смысл вообще не признается. В МРС даны два омонима: "время" и "погода". Значение "средства" дано с пометой "перен." в первой статье. В RМED все значения даются в пределах одной статьи. В ВПТ и ЗМ "время, пора" и "погода" входят в одну статью, но ЗМ выделяет еще один омоним со значением "tense (грамматичка категорија)".

С другой стороны, несмотря на указание, что "омонимы даются отдельными словами" [МРС, т. 1: 17], есть в МРС случаи, когда в одной статье совмещаются два слова, случайно совпадающие по форме, но не связанные по своему происхождению. В статье *измет* читатель находит два значения: "1. кал, испражнения. 2. уход, присмотр". Переводы совершенно точные, но вопреки внешней формальной схожести, здесь представлены два разных слова (два омонима): в одном случае *измет* восходит к славянскому корню *-мет* с приставкой *из-* и означает "испражнения", а в другом – к турецкому заимствованию *hizmet*, от арабского *хидмат* ("услуга"), и имеет совсем другой смысл. Такое же объединение этих омонимов произошло при подготовке RМED. В более раннем македонско-русском словаре (ТИС) эти лексемы правильно представлены – как два отдельных слова. В РМЈ, по наблюдению Д. Стефании, первый смысл вообще не регистрируется, хотя под словом *гомно* синоним *измет* дается в качестве объяснения [Стефанија 1998: 55].

В соответствии с общепринятыми нормами, и в отличие от некоторых англо-македонских словарей, слова, схожие по своей семантике или имеющие общие этимологические корни, даются не в одной статье, а в своих собственных статьях. В ОМТ, наоборот, английские числительные *third, thirty, thirteen* даются под одним словом *three*, так же, как и *dead, death* (с разными фразеологизмами) под глаголом *die*, что осложняет читателю поиск. А в словаре Црвенковского и Груича [Црвенковски, Груич 1993] возникают странные ошибки: *гладок* (русс. "гладкий") и *гладува* "голодать" приводятся в одной статье, а *глад* (русс. "голод") дано отдельно, см. также [Windle 1998с: 299–300].

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ

МРС отличается чрезвычайно высоким качеством своих русских переводов. Здесь наблюдается резкий контраст с некоторыми македонско-английскими словарями, где в переводах нередко чувствуется отклонение от языковой нормы. В МРС высокая степень точности сочетается с ясностью и элегантностью формулировок.

Составители МРС в переводах не боятся ради точности употреблять современные выражения, даже новейшие английские заимствования в русском языке. Например, одно из значений македонского слова *илепер* переводится англицизмом "трейлер". В РМР последнее не дается в словнике и мак. *илепер* не дается под русск. *тягач* или *буксир*.

Вообще МРС в большей мере, чем РМР, готов признать сравнительно новые, но вполне установленные лексические явления. РМР, под буквой "к" не дает *кроссовки, курировать, кульбит*, а под буквой "е" переходит от *еловый* сразу к *епанча*, оставляя в стороне *емкий, емкость* и *енот* (впрочем, здесь о новизне не может быть и речи).

Если ударение русских лексем в РМР соответствует традиционным нормам, МРС местами отступает от традиции в сторону реальных норм современной речи интеллигентных слов русского общества. Так, РМР (как и более старые ТИС и КГ) признает только *фольга, пѐтля*, а МРС под заглавными словами *фолија* и *јамка* дает только общепринятые ныне формы *фольгá, петля́*, что отражает современную языковую действительность. Однако в случае глагола *ржаветь* и МРС, и РМР дают современное ударение на последнем слоге, тогда как КГ и ТИС, появившиеся в 60-е годы, отдают предпочтение принятой в то время форме *ржаветь*.

Если МРС сравнить с македонско-английскими и англо-македонскими словарями, опубликованными в Македонии, приятно удивляет то, что количество опечаток кажется незначительным. Автор данной статьи, может быть, не самый внимательный читатель, заметил всего лишь присутствие одного ненужного диакритического знака (*раќа* вместо *рака*, под заглавным словом *работи*), ненужный курсив в переводе одной поговорки (см. *гуштерица*), и одну сербскохорватскую букву в русском слове (η вместо у, там же). А в македонско-английских и англо-македонских словарях (почти во всех) бросаются в глаза опечатки и другие ошибки в таком количестве, что могут поставить под сомнение надежность этих словарей. Из русских словарей КГ тоже страдает недостаточно высоким уровнем технического исполнения и неадекватностью корректуры.

В заключение можно с полной уверенностью сказать, что "Македонско-русский словарь" отвечает всем требованиям современной лингвистической и лексикографической науки. В нем поддерживаются все лучшие традиции русского языкознания и русской лексикографии и еще раз демонстрируется высокий уровень теоретического и практического мастерства лексикографической науки в России.

Можно только сожалеть, что этот прекрасный и очень нужный словарь вышел, по-видимому, ничтожно маленьким тиражом, вследствие чего он уже стал такой же библиографической редкостью, как и его предшественники.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аризановска Л. 1999 – Споредба на речнички статии меѓу ССКЈ и РМЈ // XXV Научна дискусија на XXXI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1999.
- Винда К. (*Windle K.*) 1998 – Подготовките на Македонско-англискиот речник // XXIV Научна дискусија на XXX Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 1998.
- ВПТ – Б. Видоески, В. Пјанка, З. Тополињска. Македонски-полски и полско-македонски речник. Варшава; Скопје, 1990.
- ЗМ – З. Мурѓоски. Македонско-англиски речник. Скопје, 1996.
- Јовановска-Грујовска Е. 1999 – За колоквиалната лексика во толковниот речник на македонскиот јазик // XXV Научна дискусија на XXXI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1999.
- КГ – К. Гавриш. Македонско-руски речник. Скопје, 1969.
- Конески Б. 1987 – Граматика на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1987.
- МРС – Р. Усикова, З. Шанова, М. Поварницина, Е. Верижникова, Р. Тасевска, С. Маринкович. Македонско-руски речник. Македонско-русский словарь / Под ред. Р. Усиковой. Скопје, 1997.
- Мурѓоски З. 1995 – Англиско-македонски македонско-англиски речник. Скопје, 1995.
- МФР – Д. Китановски. Македонско-француски речник. Скопје, 1974.
- ОМТ – О. Мишеска Томиќ. Англиско-македонски речник. Скопје, 1996.
- Поповски А. 1998 – Примерот во македонската лексикографија // XXIV Научна дискусија на XXX Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1998.
- Правопис... 1994 – Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, З. Угринова-Скаловска. Правопис на македонскиот литературен јазик. Скопје, 1994.
- РМЈ – Б. Конески, Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски. Речник на македонскиот јазик (со српскохрватски толкувања). Т. 1–3. Скопје, 1961-1966.
- РМНП – Речник на македонската народна поезија / Под ред. Т. Димитровски. Т. 1. Скопје, 1983.
- РМР – Н. Чундева, М. Најческа-Сидоровска, С. Накев. Русско-македонски речник. Скопје, 1997.
- Стаматоски Т. 1999 – Тритомниот Речник на македонскиот јазик наспрема предвидуваниот

- толковен речник // XXV Научна дискусија на XXXI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1999.
- Стефанија Д. 1998 – Околу изборот на лексичкиот материјал за изработка на македонски речник // XXIV Научна дискусија на XXX Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1998.
- Стефановски А. 1999 – Проблемот на хомонимијата и полисемијата во лексикографската обработка // XXV Научна дискусија на XXXI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје, 1999.
- ТИС – Д. Толовски, В.М. Илиќ-Свитиќ. Македонско-рускиот словарь / Под ред. Н.И. Толстого. М., 1963.
- Толстой И.И. 1970 – Сербскохрватско-рускиот словарь. М., 1970.
- Томиќ М. 1986 – Романско-македонски речник. Скопје, 1986.
- ТТ – Т. Трневски. Речник на жаргонски зборови и изрази. Скопје, 1997.
- Усикова Р.П. 1999 – Языковая ситуация в Македонији и явления языковой интерференции и диглосии в македонском языке // Македонскиот јазик, литература и култура во славјанском и балканском контексте. Материјали меѓународној русско-македонској научној конференцији (Москва, 15–16 септември 1998 г.). М., 1999.
- Црвенковски Д., Груиќ Б. 1993 – Англиско-македонски македонско-англиски речник. Скопје, 1993.
- Шанова З.К. 1999 – Фразеологизми во македонско-рускиот словарь // Македонскиот јазик, литература и култура во славјанском и балканском контексте. Материјали меѓународној русско-македонској научној конференцији (Москва, 15–16 септември 1998 г.). М., 1999.
- Benson M. (no date) – Serbocroatian-English dictionary / With the collaboration of B. Šljivić-Šimšić. Belgrade, [no date].
- Grabovšek D. 1998 – Dimensions of falseness in false friends: implications of bilingual lexicography // Symposium on lexicography VIII. Proceedings of the Eighth International symposium on lexicography. May 2-4, 1996, at the University of Copenhagen / Ed. by A. Zettersten et al. Tübingen, 1998.
- Hill P. 1994 – The Macedonian-English dictionary project // Australian Slavonic and East European studies. V. 8. 1994. № 2.
- RMED – The Routledge Macedonian-English dictionary / Compiled by R. de Bray, T. Dimitrovski, B. Korubin, T. Stamatovski / Ed. by P. Hill, S. Mirčevska, K. Windle. London; New York, 1998.
- Stefanija D. 1991 – Osnovni frekvenčni slovar Nove Makedonije (Основен честотен речник на Нова Македонија). Ljubljana, 1991.
- Wierzbicka A. 1992/93 – What are the uses of theoretical lexicography? // Dictionaries: Journal of the Dictionary society of North America. 1992/93. № 14.
- Windle K. 1998a – A Macedonian dictionary based on Recnik na makedonskiot јазик: some practical problems // Symposium on lexicography VIII. Proceedings of the Eighth international symposium on lexicography. May 2-4, 1996, at the University of Copenhagen / Ed. by A. Zettersten et al. Tübingen, 1998.
- Windle K. 1998b – Preface // The Routledge Macedonian-English dictionary / Compiled by R. de Bray, T. Dimitrovski, B. Korubin, T. Stamatovski / Ed. by P. Hill, S. Mirčevska, K. Windle. London; New York, 1998.
- Windle K. 1998c – English-Macedonian and Macedonian-English dictionaries: A survey of some recent publications // Slavonic and East European review. V. 76. 1998. № 2.

© 2001 г. И.Г. МЕЛИКИШВИЛИ

ЛИНЕЙНОСТЬ ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

(К ЦЕЛОСТНОЙ И ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА)

Для языкового сообщества
языковое "для чего" гораздо
более значительно, чем "почему"

Р Якобсон

Положение о линейном характере языкового знака принадлежит Ф. де Соссюру. В его "Курсе" читаем: "Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) оно обладает протяженностью и б) эта протяженность имеет одно измерение – это линия... Это весьма существенный принцип и последствия его неисчислимы... От него зависит весь механизм языка... Означающие, воспринимаемые на слух, располагают лишь линией времени; их элементы следуют один за другим, образуя цепь [Соссюр 1977: 103]. А в записях 1900 года он пишет: "Языковая сема является частью общей семьи *однонаправленных* сем, в которую по необходимости входит всякая сема, используемая в акустической связи... Здесь важна не акустическая связь, а *однонаправленность*" [Соссюр 1990: 154 (3318.3) – тут и далее в круглых скобках указан номер афоризма]. Речь, вне сомнения, реализуется во времени, но можно ли считать время фундаментальной характеристикой и языка? При этом, *однонаправленно* ли речевое время, как это представлялось Соссюру? Если же нет, то какое временное направление превалирует в речи – от прошедшего к последующему или от последующего к предшествующему?

Понятие хронологического времени – временной отрезок между двумя точками – которое характеризуется как одномерное и *однонаправленное*, не является единственно возможным осмыслением времени. Отношение человека ко времени, которое в языке отражается категориями настоящего, прошедшего и будущего, независимо от хронологического времени. Так например, 1921 год, или 12 часов дня в разных случаях могут быть как настоящим, так и прошедшим и будущим. Мартин Хайдеггер говорит о трехмерном времени, а из взаимосвязи этих трех измерений (осуществленности, настоящего и наступающего) возникает, по его мнению, четвертое измерение; так что, время для него скорее четырехмерно [Хайдеггер 1993: 400]. Морфологическая категория времени явно не одномерна и *однонаправленна*. Точкой отсчета, немаркированной категорией, как по отношению ко прошедшему, так и к будущему, предстает настоящее время – *одновременность* события и говорения [Jakobson 1966: 26]. Семантика как будущего, так и прошедшего определяется по отношению к настоящему, точнее, к *одновременности*. События предшествующие и последующие могут определяться и по отношению к прошедшему времени: например *Он сказал, что не видел его* (предшествующее); и *Он сказал, что не увидит его* (будущее). Ср. результативные времена в прошедшем типа: *Ich hatte gemacht* "у меня было сделано" и т.п. Итак,

интерпретация лингвистического времени как неоднородного явления более адекватно и имеет гораздо большую объяснительную силу. Такой характер человеческого времени отражается не только в морфологии, но также и в фонологии. Так, например, правила сочетаемости шумных и сонорных согласных в начале и конце слога отражают не однонаправленную линейность последовательности, а внутреннюю иерархию структуры. Эти правила определяются по отношению к центру слога: перед гласными предпочтительны сочетания типа шумный – сонорный, а после гласного – сочетания типа сонорный – шумный.

Положение о линейном характере языкового знака не является для Соссюра случайным или эпизодическим. Как видно из записок Соссюра, опубликованных Р. Энглером (материалы для его будущей книги, которые относятся примерно к 1900 году, известные под названием афоризмов "ТЕМ"), этот вопрос был предметом его особого внимания [Соссюр 1990: 153–156]; ниже при цитации будем приводить только номера афоризмов. В этих афористических положениях он ясно и последовательно отвергает возможность присвоения языку признаков организма. Учитывая противоположные аргументы, он пишет: "Отметим тот факт, что слово не имеет слишком большую длину, поэтому оно может быть воспринято комплексно, в едином акте восприятия. Этот факт, наряду с временной членимостью, обуславливает взгляд на слово как на псевдоорганизм, что является причиной множества неверных представлений" (3317.1). Соссюр подчеркивает однонаправленность слова – членение, по его мнению, всегда происходит в одном направлении и осуществляется одинаково: "Противопоставление двух сем ... осуществляется с помощью отрезков, которые следуют в одном направлении и сменяют друг друга по одному" (3317.2). При этом, Соссюр указывает, что это суть характеристики именно языкового знака, так как легко представить себе сотни разных систем, в которых ни то, ни другое условие не будет соблюдаться. "Чем более мы изучаем, – пишет он, – тем больше убеждаемся, что именно членимость звуковой цепи на временные отрезки (простая, однонаправленная членимость) одновременно создает отличительные признаки и порождает иллюзии, одна из которых заключается в том, что языковые единицы являются организованным целым, в то время как они просто представляют собой целое, членимое во времени и параллельно функциям, которые можно приписать каждому временному отрезку" (3317.3).

По мнению Соссюра, допущение существования и одновременных компонентов языкового знака является примером неправильного рассуждения. Знаменательно, что принцип членимости фонем на одновременные различительные признаки, на котором Р. Якобсон основывал отрицание линейного характера языкового знака, не остается незамеченным для Соссюра – он видит возможность такого осмысления – но в принципе отвергает такой подход. "Может быть, – говорит он, – стоит сказать о том, что в фонетической транскрипции диакритические знаки, например *o*, не нарушают принцип однонаправленности, потому что здесь целое рассматривается как одна сема (нет никаких частей)" (3318.2). Языковой знак он относит к общей семье однонаправленных сем, в которую по необходимости входит всякая сема, используемая в акустической связи (3318.3). Для того, чтобы понятие однонаправленной семы стало еще более ясным, он приводит пример разнонаправленной семы. В качестве таковой он указывает на "аллегорическую картину или любое полотно в той мере, в какой изображенные предметы предназначены для обозначения чего-то. Нельзя сказать, что вот эта картина начинается слева и кончается справа" (3318.5).

Из этого следует, что два основных принципа Соссюра – произвольность и линейность языкового знака – находятся во внутренней взаимосвязи. Для него аллегорические, т.е. мотивированные знаки могут иметь нелинейный характер. Для Соссюра произвольность и линейность, с одной стороны, и мотивированность и нелинейность, с другой, составляют два ряда внутренне взаимосвязанных понятий, которые соотносятся с принципиально разными объектами.

Из философских течений Соссюру наиболее близок позитивизм [Соссюр 1990: 8]. Язык же ему представлялся социальным явлением, характер которого обусловлен

случайными причинами. компромиссом. установлением, соглашением [Соссюр 1990: 89, 92, 93]. Он часто цитировал положение американского лингвиста У.Д. Уитни: "Язык есть просто человеческое установление" (Institution humaine) [Соссюр 1990: 93]. Соссюр одним из первых увидел значение понятия системы для языка, однако он не смог увидеть сложную внутреннюю структуру языковых единиц, возможность одновременного соединения компонентов. сложное иерархическое строение языковых структур на всех его уровнях. Р. Якобсон указывал, что Соссюр, "первый человек, полностью осознавший огромное значение понятия системы для лингвистики, не сумел, однако, увидеть строго обязательного порядка в такой отчетливо иерархической системе, как грамматическая система падежей. Даже такой бесспорно исходный падеж, как именительный, нулевой падеж. занимает, по мнению Соссюра, произвольное место в падежной системе" [Якобсон 1963: 98]. Соссюр резко и последовательно отвергает представление о языке как об организме. будь то в понимании Шлейхера или Гумбольдта [Соссюр 1990: 99, 155–156]. Интересно, что в нем вызывает резко отрицательное отношение ("это ничего не говорит нашему уму" [там же: 157]) сравнение языка не только с организмом, но и с химическими соединениями и с механизмами, так как "и они имеют свою анатомию и физиологию", т.е. внутреннюю структуру. "В слове нет никакой структуры". – декларирует он (3319.2). Итак, Соссюр, который внес понятие системы в языкознание, всячески отвергал какое бы то ни было структурное осмысление языковых единиц. Если можно так выразиться, "системист" Соссюр никогда не был "структуралистом" и такие его положения, как принципы произвольности и линейности языкового знака, вытекают из его позитивистской и атомистической ориентации.

В концепции Р. Якобсона, выдающегося теоретика Пражской лингвистической школы, принцип линейности языкового знака уже не находит места. Нелинейный характер языкового знака Р. Якобсон основывал на анализе фонем в качестве одновременных комбинаций различительных признаков и на иерархической структуре языка на всех его уровнях, отражающейся в принципе непосредственных составляющих [Якобсон 1985: 87; 1971b, II: 718].

Лингвистическая концепция Пражской школы находится в соответствии с научной парадигмой человековедческих наук (биологии, психологии, социологии...), разработанной в начале нашего века. Суть этой концепции состоит в целостном и телеологическом подходе к объекту изучения. В пределах этого подхода сложились такие термины, как "целостное мышление", "холизм", "гештальт", "целостная каузальность", "интенционализм". Макс Дриш, основатель неовитализма, опираясь на открытые им эмбриональные регуляции (развитие целого организма из части его зародыша), сформулировал закон, согласно которому ход развития каждой части зародыша определяется ее положением в целом организме, а также витальным фактором энтелихи (понятие, созданное Аристотелем, связанное с его телеологическим учением – *ἐντελής* "законченный, завершённый" и *ἔχω* "имею"). М. Дриш вводит такое понятие, как "целостную каузальность" [Driesch 1909]. Его идеи легли в основу таких течений, как органицизм и холизм (см. [Smuts 1926]). Близкие к этому направлению идеи лежат в основе гештальтпсихологии М. Вертхаймера и В. Кёлера, целостной интерпретации функций головного мозга в работах К. Гольдштайна, "интенционализма" Эдмунда Гуссерля... Феномены, выявленные Х. Дришем – способность регуляции при нарушении целостности, самоусложнение пространственной организации, достижение одной конечной цели разными путями – в современной научной парадигме соотносятся с принципом самоорганизации сложных систем. Понятие цели является определяющим для таких кибернетических понятий, как саморегулирующие системы, принципы обратной связи, эквифинальные системы (см. например [Rosenblueth, Wiener, Bigelow 1966]). Берут начало эти идеи в учении Аристотеля. Центральное место занимали принципы целостности и целенаправленности в системах Лейбница, Гете, Шлегеля, Гегеля.

В лингвистическую теорию принцип целенаправленности (телеологии) был внесен

Пражской школой. Уже ее Тезисы содержат программное положение: "Язык есть система средств выражения, служащая какой-то определенной цели" [Тезисы 1967], а это определяет функциональный подход к языковым явлениям. С принципом "целостной причинности" Х. Дриша соотносится положение Р. Jakobsona: "Фонемные изменения должны анализироваться в связи с той фонемной системой, которая терпит мутацию. Нарушение равновесия в лингвистической системе вызывает цикл звуковых изменений, нацеленных на стабилизацию системы" [Jakobson 1962a: 2].

Для Пражской школы была характерна открытость современным научным и культурным открытиям. Р. Jakobson часто указывал на это: "Когда мы смотрим на период между двумя войнами, видим, что то, что считается специфическим вкладом Пражской школы в развитие современной лингвистики, оказывается общим знаменателем нескольких параллельных течений научной жизни европейских стран того времени. Типичной особенностью пражской школы являлась ее открытость ко всем культурным импульсам запада и востока" [Jakobson 1971a: 522–523].

В ретроспективном обзоре своей деятельности Р. Jakobson говорит о философских основах своего научного мировоззрения, о влиянии на формирование его идей феноменологии и диалектики Гегеля и "Феноменологии языка" Гуссерля [Jakobson 1971b: 713–714]. Он присоединяется к цитации Э. Бенвениста Гегеля: "Истинным является целое", выражающей суть целостного подхода. Э. Бенвенист в 1935 г. в предисловии своего "Индоевропейского именованного словообразования" пишет: «Мы пытаемся дать целостное представление о предмете; Только достигнув целостности, мы считали бы наше предприятие оправданным, если принять принцип Гегеля: "Истинным является целое"» [Бенвенист 1955: 26].

В ретроспекции, опубликованной в первом томе его Избранных трудов, Р. Jakobson говорит о родстве пражского целостного мышления с идеями, возникшими в области искусства и упоминает Пикассо, Джойса, Брака, Стравинского, Хлебникова ... Он цитирует Стравинского: "Поиски единого во множестве", "одно предшествует множеству" [Jakobson 1962b: 631–632]. Р. Jakobson отмечает также работы Масарика 80-х годов, чешских и словацких гегельянцев [Jakobson 1971b: 547]. Для самого Р. Jakobsona структурный подход с необходимостью подразумевает целостное мышление. Он говорит о "структурной целостности в противоположность механической аггломерации", о "внутренней упорядоченности языковой системы" и "о строго реляционной и иерархической природе его составляющих частей" [Jakobson 1971b: 711–713]. Целостность, целенаправленность, функционализм, система, структура, внутреннее иерархическое строение (принцип непосредственных составляющих) представляются нам компонентами парадигмы структурной лингвистики, в которой, как неоднократно указывал Р. Jakobson, нет места для принципов линейности и произвольности языкового знака.

Ниже на основе фонологических закономерностей и фонетических изменений мы попытаемся показать неадекватность положения об односторонней линейности языкового знака. Будут представлены два ряда закономерностей. В первом, на наш взгляд, совершенно не действует принцип линейности, а во втором взаимодействие компонентов таково, что поддается телеологической, а не причинно-следственной интерпретации. Целенаправленность же опять-таки является проявлением целостности.

Законы, определяющие структуру таких языковых единиц, как корень и основа, часто имеют характер, свидетельствующий о том, что эти структуры представляют собой единство составляющих элементов, а не цепочки следующих друг за другом элементов.

Очень часто эти законы соотносятся с целыми структурами и не подразумевают линейных отношений. Если придать им линейный характер, т.е. сформулировать в терминах предшествующего и последующего, или последующего и предшествующего, они всегда подразумевают дополнение: "и наоборот"; – т.е. их можно сформулировать как в одном, так и в другом направлении. Более адекватным же является их нелинейная формулировка.

Правила, определяющие структуру общеиндоевропейского и общекартвельского корня, имеют именно такой нелинейный характер.

Правила, определяющие структуру общеиндоевропейского корня, сформулированные А. Мейе, при реинтерпретации звонкой серии в качестве глоттализованной [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 19], принимают следующий вид:

1. Нет корней, которые бы начинались и оканчивались на глоттализованную смычную.

2. Корень, начинающийся на смычную звонкую, не оканчивается на глухую и наоборот [Ср. Мейе 1938: 191]. Можно увидеть, что эти правила соотносятся с целыми структурами и не имеют линейного характера.

Таковы и правила, определяющие структуру общекартвельского корня:

1. В пределах одной корневой морфемы допустим только один депессивный комплекс (не имеет значения, находится он в начале или в конце корневой морфемы – ср. **xem-* и **racx-*).

2. В пределах одной корневой морфемы допустим только один лабиальный комплекс типа (w): ср. **cwel-* и **leyw* – [Гамкрелидзе, Мачавариани 1965: 305–306].

И эти правила соотносятся с целостной структурой и определяют одновременно как форму анлаута, так и форму ауслота. Правило сонорного равновесия, сформулированное нами для общекартвельского корня и архаических основ, также соотносится с целостной структурой. Оно двухмерно и определяется на основе соотношения по степени сонорности – а) признаков ларингальной артикуляции (с иерархией: звонкий – глухой аспирированный – глоттализованный) и б) места артикуляции (с иерархией: велярный – альвеолярный – дентальный – лабиальный). "Правило сонорного равновесия" следующим образом регулирует взаимоотношение этих признаков.

3. Если анлаутный смычный более сонорен по признаку ларингальной артикуляции, то конечный будет более сонорным по признаку места артикуляции и наоборот: если анлаут более сонорен по признаку места артикуляции, то ауслат будет более сонорным по признаку ларингальной артикуляции. Следовательно, допустимы конгруентные структуры типа **b – k*, **b – k*, **p – k* и *k – b*, **k – b*, **k – p*; и недопустимы структуры, в которых сонорность к концу корня уменьшается по обоим параметрам. Это правило имеет параллель и в структуре общеиндоевропейского корня [Меликишвили 1980]. Итак, структура корня в общекартвельском и общеиндоевропейском такова, что в структуре типа *CVC* распределение дифференциальных признаков между анлаутным и ауслатным смычным происходит на основе единого правила.

Правило, определяющее структуру индоевропейских основ, сформулированное Э. Бенвенистом, также имеет нелинейный характер. Знаменательно, что Э. Бенвенист и не придавал ему линейного характера. Он сформулировал его следующим образом:

"От корня образуются с помощью суффикса две чередующиеся основы: I – ударяемый корень с полной огласовкой + суффикс в нулевой ступени; II – корень в нулевой ступени + ударяемый суффикс с полной огласовкой" [Бенвенист 1955: 201].

Это правило одновременно определяет форму как корня, так и суффикса, и поэтому является правилом построения всей структуры. Оно находит параллель в общекартвельском [Гамкрелидзе, Мачавариани 1965].

В этом контексте представляют интерес эксперименты по восприятию речи, проведенные З. Джaparидзе, которые свидетельствуют о том, что первичными единицами восприятия являются не отдельные фонемы, но целостные структуры: последовательности фонем, слоги, слова: "При восприятии трехзначных бессмысленных последовательностей и их отрезков в большинстве случаев для узнавания отдельных знаков требуется больше времени, чем для узнавания их последовательностей: не засвидетельствован ни один случай, когда бы время распознавания первого звука бессмысленного комплекса (слога) было меньшим, чем при распознавании других отрезков – т.е. ни разу не возникла ситуация, которая ожидалась бы, если бы первичными единицами восприятия были фонемы. Наименьшее время реакции отмечалось при

распознавании всего слога, или при распознавании первых двух согласных. Т.е. эти результаты свидетельствуют, что первичными единицами восприятия являются не фонемы, а последовательности фонем" [Джапаридзе 1975: 210–211].

Как видим, значительная часть фонологических закономерностей имеет определенно нелинейный характер, они соотносятся с целостными структурами. Именно в целостных структурах, на основе единых закономерностей происходит распределение дифференциальных признаков, и, соответственно, фонем и последовательностей фонем. Возможно, такого рода закономерности имеют большее распространение в фузионных языках, где большие структурные единицы (слово, основа, корень) имеют более слитный характер, чем в агглютинативных языках, где части легче поддаются вычленению и целое предстает в качестве цепи составных частей. Это является дополнительным свидетельством в пользу квалификации общекартвельского в качестве фузионного, а не агглютинативного языка, так как правила, определяющие структуру общекартвельских корней и архаических основ, имеют целостный, а не линейный характер.

В языке может актуализироваться и принцип линейности. Каково его проявление: имеет ли он однонаправленный характер, как предполагал Ф. де Соссюр?

В этой связи обратим внимание на то, что во многих языках регрессивные фонемные изменения, когда последующий элемент влияет на предшествующий, имеет гораздо большее распространение, чем прогрессивные процессы. Так, например, большая часть ассимилятивных процессов в грузинском имеет регрессивный характер: *erdguli* < *ertguli*, *mzgavsi* < *msgavsi*, *šimšili* < *simšili*, *baxši* < *baḡši* и т.п. Регрессивный характер имеют диалектные ассимилятивные изменения гласных: *meiṭana* < *moiṭana*, *geigo* < *gaigo*, *ṣiuḡo* < *ṣaiḡo* и т.п. И оглушение звонких в конце слова возможно трактовать как регрессивный прогресс: ассимиляцию с последующей паузой.

В восточных диалектах грузинского языка почти не наблюдаются случаи прогрессивной ассимиляции. И в западных диалектах они чрезвычайно редки – можно указать только на один такой процесс – переход типа *kb* > *kḡ*, *tb* > *tḡ*, *kd* > *kt*, *xd* > *xt* в акцесивных негомогенных комплексах согласных.

Регрессивный характер имеет умлаут, широко распространенный как в индоевропейских, так и картвельских языках – см. нем. *Gast* ~ *Gäste*, сванское *sädil* < *sadili*.

И диссимилятивные процессы часто имеют регрессивный характер – см. например, правило диссимилятивного озвончения, выявленное Г. Ахвледиани, – *baṭara* < *paṭara*, *baṭroni* < *paṭroni*, в горских грузинских диалектах, в осетинском *biṭna* < *piṭna*, *gotoši* < *koḡoši* [Ахвледиани 1949: 204]. И в русском языке регрессивные процессы гораздо более распространены, чем прогрессивные – см. например, *лотка* < *лодка*, *фсаду* < *в саду*, *чичас* < *сейчас* и т.п., чередование согласных, основанное на палатализации **друк* ~ *друзья* и т.п.

В "Основах фонологии" Н.С. Трубецкого, в главе: "Типы нейтрализации смысло-различительных противоположений" представлена обширная типология фонемных изменений. Из приведенных Н.С. Трубецким примеров контекстуальных изменений большая часть имеет регрессивный характер, контекст нейтрализации определяется как п е р е д чем-то и очень редко как п о с л е чего-то. Н.С. Трубецкой приводит 24 примера контекстуальных нейтрализаций, где контекст определяется как п е р е д и б случаев, где контекст определяется как п о с л е определенного фонемного окружения [Трубецкой 1960: 258–262]. Материал Н.С. Трубецкого очень обширен и включает языки самых разных типов, поэтому это соотношение можно считать показательным. По-видимому, преобладание фонетических процессов, в которых последующий элемент воздействует на предшествующий, является чрезвычайно распространенным фактом.

На этом фоне интересное исключение составляет сингармонизм, характерный для тюркских, уральских и алтайских языков. Как вокалическая, так и консонантная форма сингармонизма имеет прогрессивный характер – огласовка или консонантизм

предшествующего корня определяет форму суффиксальных морфем. Интересно, что обычно сингармонизм не распространяется на префиксы, оставаясь строго прогрессивным процессом. Из шести примеров прогрессивной контекстуальной нейтрализации два приходится на угро-финские языки: марийский и мордовский.

Как известно, сингармонизм характерен для агглютинативных языков. Можно поставить вопрос: не составляют ли агглютинативные языки такой тип языка, в котором прогрессивные процессы преобладают над регрессивными, в отличие от фузионных языков, в которых явно преобладают регрессивные процессы. Соотношение регрессивных и прогрессивных процессов в языках представляется нам значительным типологическим признаком, определяющим характер всего языкового строя и по-видимому сопутствующим такой фундаментальной типологической характеристике, как фузия/агглютинация.

Если же вернуться к тем очень многочисленным языкам, где регрессивные процессы преобладают над прогрессивными, то в этих языках явственно видна ориентация говорящего на будущее, адаптация начала к концу. Для говорящего слово является единственным, при произнесении которого он подсознательно ориентируется на последующее. Как видим, характер фонетических процессов таков, что не позволяет принять положение Соссюра об однонаправленной линейности языкового знака. Лингвистическое время не одномерно, оно может иметь направление как от предшествующего к будущему, так и от будущего к предшествующему. По-видимому, целенаправленность является фундаментальной характеристикой человеческой деятельности, которая отражается и в речевом поведении человека. Интересно, что и в письменном языке можно увидеть его проявление. В грузинском слитном письме предшествующие буквы уподобляются последующим и никогда воздействие не происходит от предшествующего к последующему.

Итак, на временной оси взаимовлияние происходит чаще от п о с л е д у ю щ е ю к п р е д ш е с т в у ю щ е м у и для говорящего гораздо большее значение имеет цель, установка на будущее, чем причина, предшествующая ситуации. По удачному выражению Р. Якобсона «Wohl ist für die Sprachgemeinschaft das sprachliche "Wozu" bedeutend wichtiger, als das "Weshalb"» [Jakobson 1971c: 548]. По его мнению, "длительное пренебрежение к исследованию целевого аспекта языка – пренебрежение, которое все еще живет в некоторых академических кругах, – исторически объясняется укоренившимся страхом перед проблемами, связанными с идеей целенаправленности. Поэтому вопросы генезиса вытеснили вопросы направленности, а поиск предпосылок заменил исследование целей" [Jakobson 1971a: 523].

Представляется, что преимущественную ориентацию контекстуальных изменений на последующее, будущее можно поставить в один ряд с другими аспектами проявления целенаправленности в языке, на которые указывал Р. Якобсон: 1. Процессы, которые можно соотнести с "целостной каузальностью", когда нарушение равновесия фонемной системы вызывает цикл звуковых изменений, направленных на восстановление стабильности [Jakobson 1962a]; 2. Исследование отношений типа "средство – цель" в языке, когда особое внимание уделяется акустической стороне, в соответствии с коммуникативной функцией языка; 3. Сознательная целенаправленная деятельность носителей языка, которая проявляется в поэтической речи и в таких областях языка, как культура речи, речевая педагогика, нормирование литературного языка [Jakobson 1971b: 548–549].

В заключение можно сказать, что изучение языковых законов проявляет их целостный характер, а в языковой динамике постоянно проявляется целенаправленный, ориентированный на будущее характер речевой деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ахведиани Г. 1949 – Основы общей фонетики. Тбилиси, 1949.

Бенвенист Э. 1955 – Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.

- Гамкрелидзе Т., Мачавариани Г.* 1965 – Система сонантов и аблаут в картвельских языках. Тбилиси, 1965.
- Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В.* 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. М., 1984.
- Джапаридзе З.* 1975 – Основные вопросы перцептивной фонетики. Тбилиси, 1975.
- Мейе А.* 1938 – Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М., 1938.
- Меликишвили И.* 1980 – Структура корня в общекартвельском и общеиндоевропейском // ВЯ. 1980. № 4.
- Соссюр Ф. де* 1977 – Курс общей лингвистики. М., 1977.
- Соссюр Ф. де* 1990 – Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
- Тезисы 1967 – Тезисы пражского лингвистического кружка, Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Трубецкой Н.С.* 1960 – Основы фонологии. М., 1960.
- Хайдеггер М.* 1993 – Время и бытие. М., 1993.
- Якобсон Р.* 1963 – Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание / Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
- Якобсон Р.* 1985 – Звук и значение. Избранные работы. М., 1985.
- Driesch H.* 1909 – Philosophie des Organischen. Leipzig, 1909.
- Jakobson R.* 1962a – The concept of the sound law and the teleological criterion // Selected Writings. V. I. 's-Gravenhage, 1962.
- Jakobson R.* 1962b – Retrospect // Selected Writings. V. I. 's-Gravenhage, 1962.
- Jakobson R.* 1966 – Zur Struktur des russischen Verbums. Readings in linguistics. II. 1966.
- Jakobson R.* 1971a – Efforts toward a means-ends model of language in interwar continental linguistics // Selected Writings. V. II. 's-Gravenhage, 1971.
- Jakobson R.* 1971b – Retrospect // Selected Writings. V. II. 's-Gravenhage, 1971.
- Jakobson R.* 1971c – Die Arbeit der Sogenannter "Prager Schule" // Selected Writings. V. II. 1971.
- Roesenblueth A., Wiener N., Bigelow J.* 1966 – Behavior, purpose and teleology // Purpose in nature. Englewood Cliffs, 1966.
- Smuts J.* 1926 – Holism and evolution. 1926.

© 2001 г. В.П. МОСКВИН

**ЭВФЕМИЗМЫ: СИСТЕМНЫЕ СВЯЗИ, ФУНКЦИИ
И СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ**

В одной из своих работ Б.А. Ларин говорит о "характерном для социалистической эпохи разоблачении эвфемизмов и предпочтении прямых, иногда резких и грубоватых выражений" [Ларин 1977: 110]. К сожалению, употребление подобного рода "резких и грубоватых выражений" постепенно стало нормой нашей жизни: прямые именованные проникают в средства массовой информации (что не было характерно даже для "социалистической эпохи"), все чаще используются в быту. Соответственно, активность употребления эвфемистических коррелятов таких наименований снижается.

На этом фоне вполне естественным представляется отсутствие в отечественной лексикографической традиции такого жанра аспектных словарей, как словарь эвфемизмов¹. Не включены эвфемизмы и в толковые словари русского языка.

В современных курсах стилистики и риторики (учебники И.В. Арнольд, Ю.А. Бельчикова, М.Н. Кожинной, Н.Н. Кохтева, Д.Э. Розенталя и многие другие) эвфемизмы не рассматриваются; в лучшем случае лишь констатируется факт существования такого стилистического средства (пособия И.Б. Голуб, Б.В. Томашевского). В курсах "Введение в языкознание" преобладает диахронический подход к рассмотрению проблемы: здесь эвфемизмы увязываются с первобытными табу и суевериями и анализируются преимущественно на индоевропейском, славяно-балтийском либо на общеславянском фоне в виде различного рода смысловых и лексических изоглоссов с соответствующими весьма любопытными, однако не имеющими прямого отношения к современному состоянию языка этимологическими разысканиями (Л.А. Булаховский, Б.А. Ларин, Ю.С. Маслов и др.).

В литературе, посвященной данному вопросу, нам представляется не вполне четким отделение эвфемии от других явлений (к примеру, криптолалии). Отсюда – спорность названных некоторыми учеными отдельных функций эвфемии, а также размытость самого объекта исследования, поскольку при неразличении, в частности, эвфемии и криптолалии ("тайноречия") к эвфемизмам, на наш взгляд, совершенно необоснованно причисляются слова воровского жаргона (см., например, соответствующий раздел в словаре Дж.С. Нимэн и К.Дж. Сильвер [Neaman, Silver 1995: 185–238]), медицинские термины и латинизмы, к которым прибегают врачи с целью скрыть предмет разговора от пациентов, а также различного рода зашифровки (напр., *город N*), которые используются в речи военных с целью сохранить секретность информации [Реформатский 1996: 106] и проч. Думается, понятие эвфемии нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении. По уточнении данного понятия окажется возможным составление реестра функций и способов эвфемистической номинации, который, на наш взгляд, до сих пор далек от исчерпывающей полноты. Уточнить объем понятия эвфемии можно, лишь определив ее место в системе смежных феноменов.

¹ Заметим, что в англоязычных странах указанные словари существуют – к примеру, написанные в соавторстве тезаурусы Дж. С. Нимэн и К. Дж. Сильвер [Neaman, Silver 1995; Neaman, Silver 1983], словари Х. Роусона [Rawson 1981], Р.У. Хольдера [Holder 1987] и др.

Эвфемистическая замена входит в число приемов и средств, связанных с выполнением либо нарочитым несоблюдением так называемых требований к речи, именуемых также качествами речи. Список коммуникативно значимых качеств речи: достоинств (*ἀρεταὶ λέξεις*, *virtutes dicendi*), к которым нужно стремиться, и недостатков (*κακά, vitia*), которых следует избегать, сформировался еще в античности – в трудах Феофраста, Аристотеля, Деметрия, Цицерона, Квинтилиана, других греческих и римских ученых V–I вв. до н.э. Основными качествами (или "требованиями") в эллинистическо-румынской традиции признавались правильность, однозначность, логичность (связность), понятность (ясность), точность, благозвучие, красота, разнообразие, изобразительность (наглядность), краткость и уместность речи, а также правдоподобие ее содержания. Различные варианты этого списка, модифицированные либо в сторону детализации, либо в сторону обобщения, либо в количественном отношении, либо чисто терминологически, находим и в работах современных ученых (Б.Н. Головин, Г.П. Грайс и др.).

Невыполнение указанных требований приводит к непонятности, нелогичности, однообразию речи и прочим ее недостаткам. Здесь, однако, отметим, что случаи несоблюдения данных требований и, соответственно, непонятность (неясность), двусмысленность и алогизм речи, неправдоподобие содержащейся в ней информации могут быть коммуникативно неоправданными, случайными (и в этом случае должны оцениваться как недостатки), а могут быть и нарочитыми: есть целый ряд приемов и средств построения нарочито неясной, нарочито нелогичной, нарочито двусмысленной, нарочито неправдоподобной речи (ср. [Санников 1999: 386–433]). Так, диалогия и антифразис являются приемами нарочито двусмысленной (в частности, "эзоповой") речи, оксюморон и зевгма используются как приемы нарочитого алогизма. Еще Деметрий в трактате "О стиле" отметил, что гипербола "основывается на невозможности" [Античные теории... 1996: 240], то есть является фигурой нарочитого неправдоподобия; к этой же категории фигур отнесем литоту ("обратную гиперболу") и реализацию метафоры. Для построения нарочито непонятной (неясной) речи используются приемы так называемой искусственной книжности, состоящей в нагнетании книжных слов (в частности, терминов) и усложненных книжных синтаксических конструкций; этой же цели служат приемы криптолалии. К числу фигур нарочито неточной речи отнесем названное еще Аристотелем "перенесение с вида на вид" [Аристотель 1957: 109], а также мейозис; фигуры повтора могут быть определены как приемы нарочитого однообразия. Средствами нарочито неправильной речи являются, к примеру, макароническая речь и метатеза, в частности метатезное словообразование (*Позвольте у вокзая трамвал остановать*); на нарочитом нарушении таких норм письменной речи, как горизонтальность написания и чтение слева направо, основаны соответственно акростихи и палиндром.

Есть средства и приемы, с помощью которых перечисленные выше требования к речи выполняются. Так, ассонанс и аллитерация используются для придания речи благозвучия (например, мелодичности, ритмичности), звукопись применяется как средство изобразительности; к числу фигур краткой речи принадлежат эллипсис, а также три позиционных разновидности зевгмы: протозевгма, мезозевгма и гипозевгма; тропы являются средством украшения речи. Эвфемизация служит соблюдению одного из условий, определяющих уместность речи. Таких условий, как известно, два. 1. Слова и выражения должны быть уместны по отношению к теме (содержанию) речи. Согласно известной античной теории, высоким стилем следует говорить о предметах возвышенных (см., например, оду "Бог" Г.Р. Державина), средним – о предметах обычных, житейских (вспомним начало поэмы А.С. Пушкина "Евгений Онегин"), низким – на темы малозначительные, ничтожные (яркий пример использования сниженного стиля – рассказы М. Зощенко). Нарочитое несоблюдение условия т е м а т и ч е с к о й уместности речи лежит в основе бурлескного стиля. 2. Слова и выражения должны быть уместны по отношению к адресату речи и другим участникам

общения, то есть соответствовать требованиям ситуации, в которой происходит общение. В этом случае можно говорить о с и т у а т и в н о й уместности (либо неуместности) отдельных слов, выражений или даже речи (текста) в целом. Одним из средств реализации условия ситуативной уместности речи и являются, на наш взгляд, эвфемизмы. Их назначение, как справедливо отметил И.Р. Гальперин [Galperin 1977: 173], вполне разъясняется происхождением соответствующего термина. Поморфемный перевод последнего А.П. Квятковский даже включает в словарную дефиницию: "Эвфемизм, или эвфемизм... – б л а г о р е ч и е (разрядка наша. – В.М.), вежливое выражение (порой мнемо вежливое), смягчающее прямой смысл резкого, грубого или интимного высказывания" [Квятковский 1966: 347]. Эвфемистическая замена используется в "стремлении избегать коммуникативных конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта" [Крысин 1996: 391].

Так, в общих чертах, может выглядеть (в свете античной теории качеств речи) классификация приемов и средств выразительной речи, и таким представляется нам место эвфемизации в этой системе.

Прежде чем приступить к рассмотрению функций эвфемизмов, следует определить (в рамках представленной выше системы) соотношение: 1) эвфемии и криптолалии; 2) эвфемии и дезинформации; 3) эвфемии и тропики. На наш взгляд, именно эти понятия ученым не всегда удается развести с достаточной четкостью.

Эвфемия представляет собой использование словесных зашифровок с целью смягчить, завуалировать, изящно "упаковать" предмет сообщения, оставив все-таки возможность л ю б о м у носителю языка догадаться, о чем идет речь. И в этом плане эвфемизмы следует отличать от реализующих "конспиративную" (В.Д. Бондалетов) функцию слов и выражений тайных языков, которые, по определению О.С. Ахмановой, представляют собой "языки особых социальных групп, создаваемые в целях замкнутого общения в пределах данной группы" и "непонятные для тех слоев общества, которые не входят в данную социальную группу"; в качестве примера можно привести воровские жаргоны [Ахманова 1969: 534]. Использование средств тайного языка в речи условiously именовать к р и п т о л а л и е й (тайноречием), ср. [Ахманова 1969: 211].

Насколько нам известно, вопрос о соотношении эвфемии и криптолалии был затронут всего один раз: «В некоторых жаргонах, например в воровском, наряду с "украшающими" эвфемизмами типа *пришить* (вместо *убить*), *купить* (вместо *украсть*) и т.п. встречаются еще и "обратные" эвфемизмы, когда приличные наименования заменяются неприличными; в жаргонах эвфемистика служит целям тайноречия (криптологии)» [Реформатский 1996: 106–107]. Комментируя мысль и пример ученого, заметим: 1) эвфемии и криптолалию, видимо, целесообразнее трактовать как две вполне самостоятельные, функционально противопоставленные речевые стратегии; 2) вызывает сомнение трактовка жаргонизма *пришить* как "благоречия", "смягчающего смысл резкого, грубого или интимного высказывания" (А.П. Квятковский), дабы "не создавать у собеседника ощущение коммуникативного дискомфорта" (Л.П. Крысин); 3) в жаргонах и просторечии, в отличие от литературного языка, метафора зачастую служит не столько эвфемистике и тайноречию, сколько своего рода эпатажной выразительности; думается, именно в этом контексте может быть рассмотрен и приведенный А.А. Реформатским глагол.

Дж. Нимэн и К. Сильвер, анализируя речь профессиональных разведчиков, причисляют к эвфемизмам такие профессионализмы, как *объект (target)* – 'лицо, за которым производится слежка', *источник (source)* – 'агент', *больной (ill)* – 'арестованный', *госпиталь (hospital)* – 'тюрьма' [Neaman, Silwer 1995: 339–340, 346]. Приведенные единицы более похожи на средства профессиональной криптолалии, нежели на средства эвфемии. В предисловии к указанному словарю отмечено следующее: «Сленг часто эвфемистичен, поскольку он достаточно скрытен (arcanе), иначе говоря, поскольку он является принадлежностью ограниченной группы "своих людей" (*people "in the know"*)» [Neaman, Silwer 1995: VIII]. Как видим, и здесь эвфемия недостаточно последовательно отделена от тайноречия.

Вряд ли можно признать вполне эвфемистическим употребление слова *хозяин* для обозначения домового [Булаховский 1953: 51] или медведя (напр., [Арапова 1997: 636]); здесь, пожалуй, мы также имеем дело со случаем криптолалии – используемой, видимо, из того соображения (суеверного по своей природе), что «произнесение запретного слова... "накликает" названное запретным словом опасное существо» [Зеленин 1929: 6]. Недостаточно четкое проведение границы между эвфемией и тайноречием наблюдаем и в целом ряде других работ, посвященных эвфемии.

Эвфемию и криптолалию нередко можно противопоставить только ситуативно. Так, термин *педикулез* в устах врача может быть квалифицировать: 1) как эвфемизм – в случае, если врач говорит пациенту, знающему содержание этого термина: *У вас педикулез*; 2) как средство криптолалии – если врач говорит своему коллеге при пациенте, заведомо не знающем медицинской терминологии: *У больного педикулез*.

Ситуация тайноречия противостоит ситуации эвфемии по составу коммуникантов. Состав участников ситуации тайноречия: 1) адресант (говорящий, пишущий); 2) адресат (слушающий, читающий); 3) контрагент (коммуникант, от которого адресант и адресат пытаются скрыть информацию). В случае присутствия контрагента субъекты речи (адресант и адресат) прибегают либо к элементам криптолалии (например, к иносказанию, недомолвкам, намекам и т.д.), либо к иллюзивной блокаде – речевому акту, целью которого является прекращение коммуникации [Freidhof 1992: 215–216]: *Замолчи, Не при детях, Не по телефону* и др. Состав участников ситуации эвфемии более прост: 1) адресант; 2) адресат речи. Заметим: в ситуации эвфемии фактор слушателя (третьего лица) также бывает важен, однако третье лицо здесь не является контрагентом (лицом, от которого что-то скрывают); скорее, при эвфемии присутствие третьего лица может послужить стимулом для использования более мягких, однако вполне по н я т н ы х для этого третьего лица выражений (подробнее о типах криптолалии, а также о соотношении эвфемии и криптолалии см. [Москвин 1999: 9–14]).

К сожалению, попыток решения вопроса о разграничении эвфемии и криптолалии до сих пор не предпринималось. Неразличение соответствующих языковых фактов, размытость самого понятия эвфемии при столь широком ее истолковании, видимо, и явились причинами "стихийного" неприятия представителями прикладной лингвистики соответствующих теоретических разработок. Вероятно, именно отсюда – отсутствие разделов, трактующих эвфемию, в большинстве современных курсов стилистики и риторики.

Ученым не всегда удается с достаточной четкостью развести эвфемию и д е з и н - ф о р м а ц и ю; последняя может быть определена как "заведомое искажение истины" [Galperin 1977: 175] либо, в терминах античной теории качеств речи, как нарочитое нарушение принципа точности, или правдивости (об этом качестве речи см. [Античные теории... 1996: 207 и 220], ср. "Будь правдив!" Г.П. Грайса), в терминах современной прагматики – принципа истинности, например [Санников 1999: 386]. Один и тот же прием, к примеру мейозис, может быть использован как с целью смягчить выражение (*полный* вместо *толстый*), так и с целью обмана (*чернобыльская авария* вм. *чернобыльская катастрофа*). Политик, назвавший ядерную катастрофу аварией, может быть обвинен во лжи, однако вряд ли можно обвинить во лжи того, кто назвал толстого человека полным. Таким образом, эвфемия и дезинформация (ложь, обман, искажение истины) противопоставлены функционально (по своей коммуникативной цели). Поэтому мы не склонны к подразделению эвфемизмов на "смягчающие" и "искажающие" (такое подразделение практикуется, в частности, специалистами, изучающими политическую эвфемию; см., например, [Павлова 1989]).

Определим соотношение эвфемии и поэтической т р о п и к и. "По семантической структуре эвфемизмы, – считает Б.А. Ларин, – одна из разновидностей тропа, то есть метафоры, метонимии, синекдохи и др. Отличие этой разновидности в ее назначении и в сфере применения. Эвфемизмы имеют целью не образное представление действительности, как тропы поэтического языка, а затемнение, прикрытие неприглядных

явлений жизни или нескромных мыслей, намерений" [Ларин 1977: 110]. Как видим, эвфемия и поэтическая тропика также могут быть противопоставлены функционально. Эвфемизм является средством смягчения (напр., *шут с ним* вм. более грубого *черт с ним*), поэтический троп выполняет в тексте декоративную функцию. Так, вряд ли можно счесть эвфемистическую следующую метафорическую перифразу: *В то время, когда проворный фронт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу* (Н.В. Гоголь. Ночь перед Рождеством). Причисление некоторыми учеными эвфемизмов к разряду тропов (а следовательно, и истолкование термина э в ф е м и з м через идентификатор т р о п – см., напр. [Ахманова 1969: 521]) представляется не вполне обоснованным еще и по той причине, что в роли эвфемизмов нередко выступают семантически одноплановые слова и выражения – термины (*летальный исход* вм. *смерть*) и заимствования (*путана, куртизанка*).

II. ФУНКЦИИ ЭВФЕМИЗМОВ

Рассмотрим основные функции и, соответственно, функциональные типы эвфемизмов.

1. Еще Л.А. Булаховский отметил, что эвфемизмы могут быть использованы для замены "точных названий пугающих предметов и явлений" [Булаховский 1953: 51]. Так, для замены слов тематической сферы "Смерть" в русском языке имеется довольно значительное количество эвфемистических наименований – например, *уйти из жизни* (вм. *умереть*) и мн. др. Объектом эвфемистической замены могут стать также наименования некоторых заболеваний, приводящих к смерти (*новообразование* вм. *опухоль*).

2. Эвфемизмы используются и при нежелании называть что-либо неприятное, отвратительное своим прямым именем. К примеру, вместо слов *вошь, клоп, блоха* используются такие не прямые наименования, как *паразит* и *насекомое*.

3. Эвфемистически может быть обозначено то, что в данную эпоху и в данном конкретном социуме считается неприличным. Приведем пример использования эвфемизмов этого функционального класса. В романе Н.В. Гоголя "Мертвые души" читаем: *Дамы города N отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностью и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: я высморкалась, я вспотела, я плюнула, а говорили: я облегчила себе нос, я обошлась посредством платка*. Такого рода эвфемизмы Б.А. Ларин именовал бытовыми. Ученый справедливо полагал, что для этого разряда наименований характерны "ограничение кругом представлений из области физиологии и анатомии человека", а также употребительность "по преимуществу в разговорной речи" [Ларин 1977: 113].

4. Следующий функциональный тип эвфемизмов связан с этикетом. Этикетные эвфемизмы используются, когда говорящий избегает прямых наименований из боязни обидеть либо собеседника, либо третье лицо. В этом случае эвфемистической замене подвергаются слова вполне приличные, однако, с точки зрения говорящего, обидные для того, о ком идет речь. Так, о глупом человеке говорят: *пороха не выдумает, ограниченный, неумный; верхний этаж у него слабо меблирован* (пример Л.А. Булаховского).

Во второй половине XIX в. в дворянском обществе избегали слов *любовник* и *любовница*. Вот каким деликатным способом выражает эту идею И.С. Тургенев в повести "Клара Милич": *Купфер, как и следовало ожидать, попал в ее дом и стал к ней близким ... злые языки уверяли: слишком близким человеком*. А вот еще более изящ-

ная зашифровка указанного понятия (на этот раз – из современной разговорной речи): *У нас с ней ... [пауза] романтические отношения.*

5. Довольно значителен в русском языке пласт эвфемизмов, используемых, по определению Н.С. Араповой, "с целью искажения или маскировки подлинной сущности обозначаемого" [Арапова 1990: 590], ср. [Шмелев 1979: 402; Крысин 1996: 392]. В качестве примера приведем фрагмент одного известного диалога.

Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал душ умершими, а только несуществующими. <...>

– Вам нужно мертвых душ? – спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

– Да, – ответил Чичиков, и опять с мягчил (разрядка наша. – В.М.) выражение, прибавивши: "несуществующих". [Н.В. Гоголь. Мертвые души].

Примеры такого рода эвфемизмов – глаголы *позаимствовать*, *не вернуть*, *взять* вместо *украсть* (ср.: *Я не украл, а взял*). Разновидностью маскирующих эвфемизмов являются политические эвфемизмы, цель которых, по определению И.Р. Гальперина, – "обмануть общественное мнение и выразить что-либо неприятное более деликатным способом" [Galperin 1977: 175]. Эвфемизмы этого типа могут быть определены и как "лексемы, употребляемые вместо нежелательных слов и выражений с целью скрыть неприятные стороны действительности за счет смягчения и искажения смысла описываемого факта" [Павлова 1989: 62]. В качестве примера приведем слово *зачистка* (*ОМОН произвел зачистку села*), в этом значении не зафиксированное ни в одном из современных толковых словарей русского языка. Назовем несколько политических эвфемизмов, используемых в американском варианте английского языка: *the Vietnam efforts* 'вьетнамские усилия' (вм. *война во Вьетнаме*), *push-button war* 'война кнопок' (вм. *ядерная война*), *peacekeeping mission* 'мировотворческая миссия' (вм. *агрессия*) [Борисенко 1988]; *guards of the Constitution* 'стражи конституции' и *knights of the night camelia* 'рыцари ночной камелии' (вм. *куклуксклановцы*) [Postman 1980], *electronic surveillance* 'электронное наблюдение' (вм. *illegal wiretapping* 'незаконное прослушивание телефонных разговоров') [Holder 1987].

Вслед за И.Р. Гальпериним заметим, что следует различать политическую эвфемию и политическую дезинформацию. Так, именование черновыльского взрыва "черновыльским событием" является эвфемией, а "черновыльской аварией" (как это было первую неделю после взрыва) – ложью, дезинформацией, "заведомым извращением истины", поскольку имела место не авария, а катастрофа. О не вполне четком разведении указанных речевых стратегий говорит, к примеру, тот факт, что некоторые ученые называют политическую эвфемию приемом "ложной семантики" [Борисенко 1988: 161].

6. Отдельно отметим случаи, когда посредством эвфемизмов обозначают непрестижные, с точки зрения данного социума, профессии, организации и т.п. Так, *манекеничка* (*манекеницицу*) сейчас предпочитают именовать *моделью*. Довольно значителен класс эвфемизмов, осуществляющих функцию "возвышения профессий, связанных с неквалифицированной и черной работой" (to elevate menial or unskilled jobs), в современном английском языке: *sanitation engineer* 'санитарный инженер' и *waste-reduction manager* 'менеджер по сокращению отходов' вм. *garbageman* 'мусорщик'; *building maintenance engineer* 'инженер по уходу за домом' вм. *janitor* 'дворник' [Neaman, Silver 1995: 289–290]. В качестве русской аналогии приведем эвфемизмы *техничка* 'уборщица', а также шутил. *инженер по укладке грузов* 'грузчик'. Л.П. Крысин приводит следующие примеры: *оператор на бойне*, *оператор машинного доения* [Крысин 1996: 400].

Если говорить о социальной сфере бытования эвфемизмов, то небезосновательной представляется точка зрения тех ученых, которые считают основным носителем эвфемизмов средний класс; с ослаблением позиций именно этого социального класса

принято связывать рост функциональной активности прямых наименований [Neaman, Silver 1995: 4–7].

III. СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ

Первый в отечественной науке о языке перечень способов эвфемизации составлен Ж.Ж. Варбот: замена посредством заимствования, описательного выражения, определения, обобщенного названия, местоимения и др. [Варбот 1979: 345]. Ранее такими учеными, как Л.А. Булаховский, Б.А. Ларин, А.А. Реформатский, Б.В. Томашевский, назывались лишь отдельные способы образования эвфемизмов. Еще один список эвфемизации находим в работе Л.П. Крысина "Эвфемизмы в современной русской речи": "номинации с достаточно общим смыслом", "иноязычные слова и термины", "аббревиатуры", "некоторые слова, обозначающие неполноту действия или слабую степень свойства" и др. [Крысин 1996: 400–402].

Польский филолог С. Видлак называет следующие способы образования эвфемизмов: 1) заимствования из других языков ("поскольку иноязычные слова меньше шокируют и кажутся более благородными"); 2) "частичный антоним (литотес)", например, *неправда* вм. *ложь*. "литотическое" *довольно трудный* вм. *трудный* (речь идет о мейозисе); 3) "метафорическое употребление слов" и т.д. [Видлак 1967: 275–281]. А. Домбровская указывает, в частности, такие приемы эвфемизации, как "фонетическая аллюзия", метафора, метонимия, перифразирование, антономасия, мейозис ("литота"), антифразис ("ирония") и др. [Dąbrowska 1994: 262–376].

Способы образования эвфемизмов особенно активно изучают американские ученые, что, видимо, объясняется потребностями прикладной лингвистики (подготовка словарей эвфемизмов, традиция включения эвфемизмов в толковые словари). Американские лексикографы Дж. С. Нимэн и К. Дж. Сильвер в предисловии к своему словарю приводят такие способы образования эвфемизмов: 1) использование иноязычных, в частности, греческих и латинских заимствований (напр., *halitosis* 'несвежее дыхание' от лат. *halitus* 'дыхание'); 2) генерализирующую номинацию (*widening*), напр., *growth* 'новообразование' вм. *cancer* 'рак, раковая опухоль'; 3) метонимическую номинацию; 4) метафорический перенос; 5) аббревиацию (напр., *the Big C* вм. *cancer* 'рак', *the Big D* 'дьявол') и др. [Neaman, Silver 1995: 9–11]. Б. Уоррен среди приемов эвфемистической зашифровки называет использование: 1) иноязычных слов; 2) метафоры; 3) мейозиса (*understatement*; напр., *нетрезвый* вм. *пьяный*, *drug habit* 'наркотическая привычка' вм. *addiction* 'пристрастие') и др. [Warren 1996: 128–142].

Те формулировки, которые оказались нам спорными, и термины, которые оказались не вполне адекватными, мы опустили; о некоторых из них речь пойдет ниже.

Обычно способы эвфемистической зашифровки подаются списком. Нам представляется, однако, что приемы эвфемизации можно подразделить на четыре разряда (то есть представить в виде классификации).

1. Эвфемизация нередко возникает на основе нарочито двусмысленной речи, построению которой могут служить следующие приемы.

1.1. Метонимическая номинация (в частности, металепсис). Важность этого способа образования эвфемизмов подчеркивал еще Б.В. Томашевский: "В метонимической форме обычно образуются и эвфемизмы...". Так, на многих заброшенных заборах и стенах глухих закоулков можно прочесть надпись: *Останавливаться строго воспрещается*. Слово *останавливаться*, употребляемое здесь не в первичном значении, является эвфемизмом" [Томашевский 1996: 65–66].

1.2. Метафора (как правило, незамкнутая): Врач (взяв шприц) – больному: *Приготовь-ка для работы плацдарм!* (К/ф "По улицам комод водили"). Как прием эвфемии может быть использована и метафорическая прономинация (стилистически значимая замена апеллатива онимом), ср. *куртизанка* – поэт. *Лаиса*, книжн. *Магдалина* и др.: *Восторгов исступленье – Минутное забвеньё; Отринь их, разорви Лаис коварных узы* (В.А. Жуковский) [Андреева 1999: 10].

1.3. Антифразис – например, при обозначении неприятного запаха: *Ну и аромат!* (вм. более грубого *Ну и вонь!*) [Сунь Хуэйцзе 2000: 296].

1.4. Замена близкозвучным словом, или, по А. Домбровской, "фонетическая аллюзия" (мы назвали эту фигуру двусмысленной речи паронимической заменой [Москвин 1998: 162]). В XIX веке в дворянском обществе такие слова, как *блоха*, *вошь*, *таракан*, считались вульгарными. Видимо, не желая использовать одно из указанных слов, П.А. Вяземский обратился к созвучному наименованию известного древнерусского княжества (ср. *тьма тараканов* и *Тмутаракань*): *А долго ли прикажешь мне, Платья в избе терпенью дани, Истории тьму-таракани Учиться по твоей стене?* (П.А. Вяземский. Станция). Еще один пример паронимической замены как способа эвфемизации: *Только, может, посмотрел он на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит и темнота на психику благоприятно действует* (М. Зощенко. Прискорбный случай). Истолковывая смысл и способ образования приведенного эвфемизма, А.А. Реформатский пишет: "вместо *его* *вырвало* говорят *он поехал в Ригу* (по каламбурному созвучию)" [Реформатский 1996: 106].

Паронимическая замена как способ эвфемистической зашифровки специалистами отмечена, однако трактуется, на наш взгляд, не всегда вполне адекватно. Так, Дж. Нимэн и К. Сильвер приводят примеры замены по близкозвучию (прост. *cripes* 'вот те на!' вм. *Christ* 'Христос' и *gad* 'острие, острый шип' вм. *God* 'бог'), однако называют этот способ "фонетическим искажением" (phonetic distortion). Б. Уоррен именует данный способ эвфемизации "меной фонем", С. Видлак – "эвфемистической контаминацией" и "эвфемистической фонетической деформацией слова" (напр., франц. *sacrebieu* вм. *Sacre Dieu!*) [Видлак 1967: 280]. На наш взгляд, здесь уместнее говорить о паронимической замене. О "замене некоторых звуков соответствующего слова" как средстве эвфемизации писал еще Л.А. Булаховский: «Это имеет место, например, во французских проклятиях: *corbleu*, *morbleu* и т.п. вместо *corps*, *mort de dieu* и т.п.; в немецком *Potzblitz* вместо *Gottesblitz* – "божья молния", *Potztausend* (букв. 'тьфу, пропасть тысячу раз!' – *B.M.*) – [вместо] *Gottestausend* (буквально "божья тысяча")» [Булаховский 1953: 52]. В приведенных примерах, однако, мы видим не "замену некоторых звуков", а замену созвучными словами (парономазами): франц. *bleu* 'синий' вм. *Dieu* 'бог', нем. *Potz* 'тьфу, пропасть!' вм. словоформы *Gottes* 'бога, божий'.

2. Основной эвфемии может стать и нарочитая неясность (при том условии, что она полностью снимается контекстом либо конситуацией). Отсюда использование следующих приемов.

2.1. Прониминализация (замена местоимением), например: *зайти кое-куда*, "Про это" (название поэмы В.В. Маяковского).

2.2. Замена слова наименованием соответствующего родового понятия (по Ж.Ж. Варбот – замена "обобщенным названием"): *насекомое* вм. *вошь* или *таракан*; *новообразование* вм. *опухоль*. Иногда "перенесение с рода на вид" (Аристотель), или гиперонимизация, приводит к сужению значения. Так, в некоторых словарях, например, в "Толковом словаре русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова, слово *насекомое* фиксируется в значении 'вошь' (в указанном словаре – с пометами "разг". и "эвф."). Сюда же отнесем логическое перифразирование (основанное, как известно, на гиперонимизации). Эвфемистическая зашифровка может осуществляться посредством использования логических перифраз двух разновидностей: а) с определением, называющим какую-нибудь отличительную особенность объекта (напр., *модная болезнь*); б) с определением, выражающим нежелание говорящего называть такую особенность и, соответственно, производить уточнение: *илленту ребенка по одному месту* – в последнем случае получается двойная зашифровка (осложненная прониминализацией). Перифразы, построенные по схеме "определение + родовое наименование", часто используются при эвфемистическом обозначении некоторых заболеваний и

болезненных пристрастий: *Большой талант дала ему судьба, В нем совместив поэта и пророка. Но властью виноградного порока Царь превращен в безвольного раба* (И. Северянин. Фофанов); *Корабль испанский трехмачтовый, Пристать в Голландию готовый: На нем мерзавцев сотни три, Две обезьяны, бочка злата, Да груз богатый шоколата, Да модная болезнь: она Недавно нам подарена* (А.С. Пушкин. Сцена из Фауста). "Считалось, – комментирует предпоследний стих Д.Д. Благой, – что сифилис привезли в Европу матросы Колумба" [Благой 1969: 521].

Здесь следует отметить, что практикуемое некоторыми учеными истолкование эвфемизма как "разновидности перифразы" [Никитина, Васильева 1996: 149] представляется не вполне адекватным, поскольку: а) эвфемизмы могут быть и однословными единицами; б) перифраза является лишь одним из довольно многочисленных средств эвфемии.

2.3. Антономасия: *Его бухарский халат разъехался спереди, и обнаружались препротивные нижние невыразимые* (И.С. Тургенев. Несчастливая).

2.4. Эллипсис, в частности, абсолютное употребление переходных глаголов: [Тарелкин:] *Да вы курьеру-то сунули?* [Муромский:] *Как же, как же* (А.В. Сухово-Кобылин. Дело).

2.5. Искусственная книжность – при том обязательном условии, что содержание речи может быть правильно истолковано благодаря консиитуации. Вот как пользуется этим приемом Остап Бендер, решив наказать Паниковского за невежливое поведение:

– *Адам Казимирович, остановите на минуточку машину. Благодаря Вас. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво* (Ср. "вышвырни этого мерзавца". – В.М.). *Балаганов не понял* (разрядка наша. – В.М.), *что означает "статус-кво"*. *Но он ориентировался на интонацию, с которой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу.* (И. Ильф и Е. Петров. Золотой теленок).

3. Эвфемистическая зашифровка может возникать на основе нарочито неточной речи; этому могут служить три приема.

3.1. "Перенесение с вида на вид" [Аристотель 1957: 109]: *гурман* вм. *обжора* (пример Б. Уоррена), *храбрость* вм. *безрассудство*, *щедрость* вм. *расточительность* (примеры Квинтилиана), *сочинять* вм. *врать*, *позаимствовать* вм. *украсть* и др. Сюда же отнесем замену наименования непрестижной профессии наименованием профессии, имеющей более высокий рейтинг в обществе, напр., рус. *техничка* (< *техник*) вм. *уборщица*, англ. *sanitary engineer* 'санитарный инженер' вм. *garbageman* 'мусорщик' (Б. Уоррен такую эвфемистическую субституцию называет, на наш взгляд, не совсем правомерно, гиперболой).

3.2. Синекдоха (в частности, перенесение с целого на часть): *Барыня в летах, но нарядная и авантажная, ... с большим бюстом, подтянутым корсетом к самому носу, сидела на диване* (М. Кузмин. Круг царя Соломона).

3.3. Мейозис – замена словом, выражающим "неполноту действия или слабую степень свойства" (Л.П. Крысин): *Он недослышит* (о глухом), *Он прихрамывает* (о хромом), *приостановить* (деятельность организации, членство в партии и т.п.) [Крысин 1996: 402]. Сюда же отнесем эвфемизм *полный* (вм. *толстый*). Разновидность данного типа смягчающих выражений представляют собой эвфемизмы, образованные посредством номинации "от противного" – с помощью префикса *не* от соответствующего антонима, например: *нечистый* вм. *грязный*, *нетрезвый* вм. *пьяный*. Эвфемизмы, основанные на отрицании противоположного (по Ю.Д. Апресяну, "полуэвфемизмы"), выражают "сдержанное порицание... для отрицательно оцениваемых свойств" [Апресян 1995: 312]. Следует заметить, что данный разряд эвфемизмов ("эвфемизмы через отрицание") был выделен еще Б.А. Лариным [Ларин 1977: 113]. Отрицание противоположного содержат и многие эвфемистические перифразы русского языка: *пороха не*

выдумает, звезд с неба не хватает, не блещет умом (чистотой), не страдает от избытка ума (от скромности), не (самым) лучшим образом (сделать что-л.) и др. К этому же разряду эвфемизмов ("через отрицание") отнесем и выражения, содержащие косвенное отрицание, напр.: *Ее трудно назвать красавицей* (пример Л.П. Крысина), *Вряд ли это можно считать приличным* и проч.

Использование метонимии, метафоры, мейозиса, переноса "с вида на вид", "с рода на вид" и других способов не прямого обозначения предмета речи делает эвфемизм "своеобразным намеком, предлагающим читателю или собеседнику самому догадаться, о чем идет речь" [Барто 1994: 92]. Заметим, что определение эвфемии зачастую увязывается лишь с использованием не прямых, образных, иносказательных (Л.П. Крысин), семантически двуплановых ("двухмысленных") наименований².

4. С другой стороны, эвфемистическим вполне может являться и прямое обозначение предмета речи. Этому служит два разряда наименований, которые не отягощены различного рода бытовыми ассоциациями и именно поэтому могут быть использованы в эвфемистических целях.

4.1. Книжные слова и выражения (в частности, термины), напр. *педикулез, испражнения* etc. Еще С. Видлак указал, что в эвфемистической функции могут «выступать ... заимствования из специальных языков и "более высоких" сфер языка в отношении к повседневному языку, т.е. административный, юридический, литературный язык. Так, вместо слова *porco* в более утонченном разговоре по-итальянски употребляют синоним *suino*, а вместо *merda – sterco*» [Видлак 1967: 275].

4.2. Иноязычные слова, не освоенные языком (и, соответственно, еще не успевшие "обрасти" бытовыми ассоциациями). Использование их в эвфемистической функции отмечено еще А.А. Реформатским – в речи медицинских работников, которые "часто прибегают к латинским названиям болезней (заменяют русские слова латинскими синонимами)", например, *cancer* вм. *рак* [Реформатский 1996: 106], ср. [Крысин 1998]. В книге "Путь слова" Л. Боровой приводится следующий пример использования иноязычных слов в указанной функции: – *Эрутировать, Санчо, значит рыгать. Но рыгать – одно из самых гадких слов в испанском языке, хотя оно и очень выразительно. Поэтому люди просвещенные обратились к латыни и слово "рыгать" заменили словом "эрутировать", а вместо "рыганье" говорят "эрутация"* (М. Сервантес. Дон Кихот).

Подводя итог рассмотрению приемов эвфемии, можно (с некоторой долей осторожности) утверждать, что эвфемистическая зашифровка возникает на основе: 1) нарочито двусмысленной речи (при использовании металеписа, незамкнутой метафоры, паронимической замены, антифразиса); 2) нарочито неясной речи (с этой целью могут быть употреблены прономинализация, перенесение с рода на вид, антономасия, эллипсис, искусственная книжность); 3) нарочито неточной речи ("языка обмана", по Р.У. Хольдеру) – этому могут служить перенесение с вида на вид, с целого на часть, мейозис; 4) речи, не отягощенной бытовыми ассоциациями. Соответственно, выявив те фигуры нарочитой двусмысленности, нарочитой неясности и нарочитой неточности, а также те способы "освобождения" от бытовых ассоциаций, которые используются с тем, чтобы сделать речь ситуативно уместной, мы получим исчерпывающий перечень способов эвфемизации.

² Весьма характерными в этом отношении представляются названия упомянутых выше словарей Х. Роусона [Rawson 1981]: A Dictionary of euphemisms and other doubletalk (букв. "Словарь эвфемизмов и других [приемов] двусмысленной речи") и Р.У. Хольдера [Holder 1987]: A Dictionary of American and British euphemisms: The Language of evasion, hypocrisy, prudery and deceit, букв.: "Словарь американских и британских эвфемизмов: язык уклончивых ответов, лицемерия, притворной стыдливости и обмана".

При рассмотрении феномена эвфемии целесообразно различать: а) прием эвфемистической замены; б) эвфемизм как номинативную единицу, которая, при условии регулярного воспроизведения, может получить определенную "клетку" в языковой системе. Таким образом, можно говорить:

- о системных связях эвфемизации как фигуры речи;
- о системных связях эвфемизмов как языковых единиц.

Выше было определено место фигуры эвфемизации в системе приемов и средств выразительной речи, что дало возможность уточнить круг функций и способов образования эвфемизмов. Рассмотрим место эвфемистических наименований в лексической системе языка.

Появление нового слова всегда приводит к более или менее заметным сдвигам в лексической системе (пусть даже на очень ограниченном ее участке). Каков характер взаимодействия эвфемизмов с другими единицами языка?

Прежде всего следует отметить синонимическое сближение эвфемизмов с теми словами и выражениями, которые в определенных ситуациях этими эвфемизмами регулярно заменяются. Следовательно, эвфемизация является источником синонимии (и довольно заметным). Здесь мы выделяем два случая.

1) Использование эвфемизмов приводит к пополнению уже существующего в языке синонимического ряда, например: *лгать*, *врать*, эвф. *сочинять* ("Не сочиняйте!"), *ошибаться* и *заблуждаться*; *выгнать*, *выставить* (кого-л. за дверь), эвф. *попросить*.

2) Появление эвфемизма ведет к образованию новой синонимической пары или нового синонимического ряда: *опухоль*, эвф. *новообразование*; *пенсия*, эвф. *заслуженный отдых*; *вошь*, эвф. *насекомье, паразит*.

Эвфемистическая замена представляет собой стилистический прием, поэтому эвфемизация является источником стилистической синонимии. Соответствующую стилистическую помету (эвф. – "эвфемистически") использовали составители "Толкового словаря русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова, поясняя ее следующим образом: "употребительное эвфемистически, для замены прямого обозначения чего-нибудь описанием с целью скрыть, прикрыть что-нибудь предосудительное" [ТСУ: XXVII]. К сожалению, в современных словарях эта помета не используется, а информация об эвфемизмах отсутствует.

Иногда взаимодействие эвфемизма с какой-либо единицей лексической системы приводит либо к уходу этой единицы из языка, либо к снижению частотности ее употребления. Существует два вида такого "отрицательного" взаимодействия: 1) вытеснение эвфемизмом соответствующей производящей единицы; 2) вытеснение одним эвфемизмом другого из активной зоны синонимического ряда в пассивную. Рассмотрим эти явления.

1) Некоторые слова и словосочетания, производящие по отношению к соответствующим эвфемизмам, приобретают довольно неприятные эпидигматические ассоциации. Так, еще 10–15 лет назад (до появления известного эвфемистического наименования) при прочтении списка действующих лиц пьесы А. Блока "Незнакомка" ассоциаций указанного рода не возникало:

"Незнакомка.
Голубой.
Звездочет.
Поэт.
Посетители кабачка и гостиной.
Два дворника".

Подобные ассоциации обычно учитываются носителями языка.

2) Чем чаще используется эвфемизм, тем быстрее он теряет свои "облагораживающие свойства" и тем быстрее "требует новой подмены" [Ларин 1977: 110]. Этим

объясняется смена эвфемизмов в активной зоне соответствующего синонимического ряда (*известного рода девица* → *девушка по вызову* → *девушка без комплексов* и т.д.). Процесс утраты эвфемистическими наименованиями своих "вуалирующих" свойств именуется девальвацией эвфемизмов (термин А.Д. Швейцера).

Как видим, "результаты употребления слова-эвфемизма влекут за собой явные изменения в структуре лексики языка" [Видлак 1967: 270]. Такие изменения затрагивают прежде всего парадигматику, в меньшей степени – эпидигматическое измерение языковой системы и наблюдаются в лексических микросистемах двух типов: в пределах словообразовательной мотивационной пары и в пределах синонимического ряда.

* * *

Подводя итоги рассмотрению эвфемизмов, отметим, что в отечественной и зарубежной науке о языке, к сожалению, доминирует ш и р о к о е понимание эвфемии, не способствующее адекватному ее описанию. Исчерпывающая непротиворечивая функциональная и деривационная классификация эвфемизмов, разработки которой ждет прикладная лингвистика, возможна, на наш взгляд, только при четком отделении эвфемии от других речевых стратегий (прежде всего криптолалии), то есть при у з к о м понимании этого непростого феномена.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Андреева А.А.* 1999 – Прономинация как источник синонимии в современном русском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 1999.
- Античные теории...* 1996 – Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб., 1996.
- Апресян Ю.Д.* 1995 – Лексическая семантика: Синонимические средства языка. М., 1995.
- Арапова Н.С.* 1990 – Эвфемизмы // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Арапова Н.С.* 1997 – Эвфемизм // Русский язык: Энциклопедия. Изд. 2-е. М., 1997.
- Аристотель* 1957 – Об искусстве поэзии [Поэтика]. М., 1957.
- Ахманова О.С.* 1969 – Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
- Бартон В.И.* 1994 – Эвфемизмы // Логика. Минск, 1994.
- Благой Д.* 1969 – Примечания // А.С. Пушкин Собрание сочинений. В 6 тт. Т. 3. М., 1969.
- Борисенко И.А.* 1988 – Эвфемизмы в языке буржуазной пропаганды США // Социальная лингвистика и общественная практика. Киев, 1988.
- Булаховский Л.А.* 1953 – Введение в языкознание. Ч. 2. М., 1953.
- Варбот Ж.Ж.* 1979 – Табу // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
- Видлак С.* 1967 – Проблема эвфемизма на фоне теории языкового поля // Этимология. 1965. М., 1967.
- Зеленин Д.К.* 1929 – Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. Запреты на охоте и других промыслах // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 8. Л., 1929.
- Квятковский А.* 1966 – Поэтический словарь. М., 1966.
- Крысин Л.П.* 1996 – Эвфемизмы в современной русской речи // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996.
- Крысин Л.П.* 1998 – Иноязычное слово в роли эвфемизма // Русский язык в школе. 1998. № 2.
- Ларин Б.А.* 1977 – Об эвфемизмах // Б.А. Ларин История русского языка и общее языкознание. Избранные работы. М., 1977.
- Москвин В.П.* 1998 – Способы эвфемистической зашифровки в современном русском языке // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград; Саратов, 1998.
- Москвин В.П.* 1999 – Эвфемизмы в лексической системе современного русского языка. Волгоград, 1999.
- Никитина С.Е., Васильева Н.В.* 1996 – Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. М., 1996.

- Павлова Е.К.* 1989 – Специфика перевода политических эвфемизмов // Вестн. Моск. ун-та. 1989. № 10.
- Реформатский А.А.* 1996 – Введение в языкознание. М., 1996.
- Санников В.З.* 1999 – Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.
- Сунь Хуэйцзе* 2000 – Приемы и сферы эвфемии в русской и китайской культурных традициях // Язык образования и образование языка. Материалы междунар. науч. конф. Великий Новгород, 2000.
- ТСУ – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. В 4 тт. Т. 1. М., 1994.
- Томашевский Б.В.* 1996 – Теория литературы. Поэтика. М., 1996.
- Шмелев Д.Н.* 1979 – Эвфемизм // Русский язык: Энциклопедия. М., 1979.
- Dąbrowska A.* 1994 – Eufemizmy współczesnego języka polskiego. Wrocław, 1994.
- Freidhof J.* 1992 – Typen dialogischer Kohärenz und Illokutions-Blockade (mit Belegen aus dem Russischen und Tschechischen) // Zeitschrift für Slawistik. 1992. Bd. 37, h. 2.
- Galperin I.R.* 1977 – Stylistics. М., 1977.
- Holder R.W.* 1987 – Dictionary of American and British euphemisms: The language of evasion, hypocrisy, prudery and deceit. Bath, 1987.
- Neaman J.S., Silwer C.G.* 1983 – Kind words: A thesaurus of euphemisms. New York, 1983.
- Neaman J.S., Silwer C.G.* 1995 – The Wordsworth book of euphemisms: The hilarious guide to the unmentionable. Cumberland House, 1995.
- Postman N.* 1980 – Euphemism // Language Awareness. New-York, 1980. № 9.
- Rawson H.A.* 1981 – A dictionary of euphemisms and other doubletalk. New York, 1981.
- Warren B.* 1996 – What euphemisms tell us about the interpretation of world // Studia Linguistica. V. 46. 1996. № 2.

© 2001 г. Л.Э. КАЛНЫНЬ

**СОГЛАСНЫЕ, РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ УЧАСТИЕМ ГОЛОСА,
КАК КОМПОНЕНТЫ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СЛОВА
В СЛАВЯНСКИХ ДИАЛЕКТАХ**

В описании славянской фонетики, начиная с праславянского состояния, важное место занимают правила сочетания звуков в линейной последовательности. В зависимости от допустимости/запрещенности сочетания оно при образовании звуковой последовательности сохраняется или устраняется путем разных изменений (включая утрату одного из компонентов сочетания). Такие изменения на всех этапах изучения славянской фонетики рассматривались в рамках последовательности рядом стоящих сегментов, т.е. сочетаний гласных, согласных друг с другом и с паузой (CC, CV, VC, VV, #C, #V, C#, V#). Это означает, что каждое сочетание звуков, хотя оно является частью слова/словоформы, изымается из общего фонетического контекста и рассматривается изолированно.

Синтагматически обусловленные фонетические изменения в праславянском и позже в отдельных славянских языках/диалектах каталогизированы в литературе с большой степенью полноты. При этом обнаруживается, что на фоне общего праславянского наследия, сформировавшегося ко времени падения редуцированных, отдельных языки/диалекты демонстрируют чрезвычайное разнообразие линейных фонетических изменений в звуковой цепи, многие компоненты которой являются следствием утраты слабых редуцированных. Это проявляется как в синтагматике гласных, так и согласных. Одинаковые сочетания в одних диалектах изменялись, в других – нет; или – изменялись по-разному в разных диалектах, или – в одних диалектах изменение представлено как исторический факт, а в других – как компонент актуальной фонетики. В этом плане показателен материал ОЛА, фиксирующий высокий уровень расхождения между славянскими диалектами в фонетическом оформлении тождественных морфем [Калнынь 1989а : 12].

Когда сообщается о синтагматических изменениях в звуковой цепи при описании одного языка/диалекта, это обычно дополнительных вопросов не вызывает – всегда есть конкретный перечень артикуляционных шагов, эксплицирующих уподобление/расподобление рядом стоящих сегментов (место, способ образования, участие голоса и под.). Но по-другому воспринимается звуковая синтагматика, взятая в масштабах славянского диалектного континуума, т.е. как многокомпонентное диалектное различие в том его понимании, какое дано в [Вопросы теории 1962]. В этом случае ситуация представляется в известном смысле парадоксальной.

Каждое фонетическое изменение в звуковой последовательности имеет своей целью произносительное удобство – естественная речь не может стремиться к созданию произносительных трудностей. Разнообразие же синтагматически обусловленных звуковых изменений в славянских языках/диалектах создает впечатление, что именно произносительное удобство в них после падения редуцированных понимается по-разному (хотя до падения редуцированных этого, по-видимому, не было). Встает вопрос о причинах разного изменения одних и тех же сочетаний, а также о причинах стабильности/неизменяемости того или иного сочетания.

Имея это в виду, можно предположить, что причина разнообразия звуковой синтагматики в славянских диалектах коренится не просто в артикуляционной специфике соответствующих сегментов, а определяется факторами другого порядка.

Можно думать, что главный из этих факторов состоит в том, что после падения

редуцированных изменилось пространство реализации синтагматических связей между звуками. До падения редуцированных таким пространством в основном был слог, имевший однотипное устройство (открытый, восходящая сонорность) и унифицированный относительно высоты тона (палатальная, велярная просодемы). После падения редуцированных синтагматическое пространство становится более разнообразным – это не только последовательность слогов, но и последовательность отдельных звуков.

Исходя из этого, можно полагать, что фонетические изменения регулируются не только взаимодействием рядом стоящих звуков, но и правилами, актуальность которых проявляется в более длинном пространстве, чем сочетание звуков или слог. Это – пространство, в рамках которого развертывается фонетическая программа слова. Имеется в виду следующее.

Натуральной единицей членения звукового потока является фонетическое слово, которое развивается как линейный процесс между двумя потенциальными паузами. Как сказано в [Высотский 1978: 9], "...произносимое слово процессуально не только в силу своей протяженности во времени. Живой фонетический процесс сопровождает каждый акт говорения". Именно слово как фонетическое целое присутствует в сознании говорящих при порождении и восприятии речи. Фонетика слова организуется в соответствии с произносительной программой. Это – план-намерение, который формулируется до произнесения слова на основе пересчета и выбора из серии сегментных и суперсегментных возможностей, присущих данному идиому. Используя термин Трубецкого [Трубецкой 1960: 280], можно говорить о влиянии рамочной единицы на изменение сочетающихся в ее пределах звуков/фонем. Рамочная единица при этом понимается не как статическая конструкция, а как динамическая категория, определяющая развертывание звуковой последовательности.

С тем, чтобы сделать содержательным сопоставление сегментной фонетики разных диалектов через призму фонетической программы слова, следовало бы выделить некие общие параметры программы и с их помощью оценивать отдельные факты фонетики. В качестве таких параметров выступают два вида связи между звуками в фонетическом слове.

В славянской фонетике синтагматически обусловленные изменения имеют **регрессивную** и **прогрессивную** направленность. По этим направлениям происходит ассимиляция/диссимиляция согласных, уподобление/расподобление гласных разных слогов, взаимовлияние гласных и согласных и под.

Регрессивное и прогрессивное изменение в звуковой последовательности представляют собой категориально разные явления в рамках фонетического процесса, которым образуется фонетическое слово.

Регрессивное изменение (первого звука перед вторым) даже в группе рядом стоящих звуков по своей сущности дистактно. Первый звук настраивает свою артикуляцию в предвидении еще не произнесенного, а только ожидаемого звука. Антиципация/предвидение определенного звука может оказывать на выбор произношения большее влияние, чем реальный состав звуковой последовательности (ср. сохранение звонкого согласного перед глухим после нулевой редукции разделявшего их гласного в русской разговорной речи и в диалектах [Русская разговорная 1973: 60; Пауфошима 1977: 217]). При регрессивном фонетическом изменении приоритет принадлежит произносительному *н а м е р е н и ю*, а не конкретному контакту между звуками.

Прогрессивно направленное фонетическое изменение, напротив, всегда реализуется на основе контактной (непосредственной) связи между звуками. Артикуляция второго звука меняется (если это синтагматически предусмотрено) только после того, как первый звук произнесен. В этой ситуации отрыв первого сегмента от второго сопровождается устранением изменения, происшедшего по правилам прогрессивного уподобления (в вологодском говоре при слогоделении – *йёшче, рожджён'йо > йёш/м'е, рож/д'ён'йо*). Поэтому можно считать, что прогрессивно направленное фонетическое изменение реализуется в сегменте не длиннее соответствующего сочетания. В славянских диалектах прогрессивное изменение в звуковой последовательности редко

имеет диссимилиативный характер – и это понятно, поскольку конфронтация с непосредственно предшествующей артикуляцией затруднена.

Из сказанного можно заключить, что дистактная и контактная связи между звуками в фонетическом слове различны по своему динамическому статусу – дистактная связь планируется, но может и не реализоваться в виде соприкосновения звуков (прерванное произношение), а контактная связь – обусловлена моментом конкретно свершившегося произношения.

Дистактной и контактной связи между звуками может быть придана разная временная характеристика. Контактная связь – это онтологическое свойство любой звуковой последовательности. Дистактная связь – это в значительной степени инновация в славянской фонетике. Она нашла широкое поле применения после падения редуцированных, когда нарушается стереотип слова как последовательности открытых слогов, расширяется ассортимент консонантных сочетаний и появляются сочетания согласных с паузой, развивается регламентация вокальных компонентов слова.

В фонетическом слове программируются фонетические изменения, обусловленные названными двумя видами связи между звуками. Поскольку дистактные связи являются преимущественно инновацией, можно думать, что их внедрение в фонетическую программу могло происходить в конкуренции с контактными связями и с разной интенсивностью в разных языках/диалектах. Кроме того, смена модели, при которой слово образовывалось нанизыванием слогов на программируемую последовательность отдельных звуков, могла происходить с разной интенсивностью в разных диалектах.

Через призму этих принципов организации фонетической программы слова далее рассматриваются особенности синтагматики согласных, различающихся участием голоса в славянских диалектах.

Одним из результатов падения редуцированных явилась последовательность шумных согласных, неоднородных в отношении участия голоса в их образовании. Контраст по глухости/звонкости между рядом стоящими шумными согласными до падения редуцированных был невозможен, поскольку имеющиеся сочетания шумных согласных были однородны по участию голоса [Мейе 1951: 105]. Прежде чем обратиться к реакции на это новшество в славянской речи, следует иметь в виду следующее.

Падение редуцированных не было одномоментным явлением (фонетическим сдвигом), а процессом, протяженным во времени. В этой связи в [Сидоров 1966: 63] приводится мнение Бодуэна-де-Куртене, согласно которому существуют "переходные исторические стадии от полного существования к исчезновению звука", когда "имеется еще в душах говорящих воспоминание и представление известного звука, но без необходимости его исполнения". В.Н. Сидоров считает, что это в полной мере относится к падению редуцированных. А это означает, что перестройка конкретной фонетики слова и формирование на новой основе фонетической программы слова не были синхронны. Программа слова могла оказаться более консервативной и не поспевать за конкретной фонетикой. Подтверждением этого являются изменения, которым подверглись в славянских диалектах последовательности согласных, неоднородных в отношении голоса. Отражение этого в фонетической программе слова рассматривать следует отдельно в применении к консонантным сочетаниям, с одной стороны, и к сочетаниям согласных с паузой, с другой.

Сочетания шумных согласных, неоднородные в отношении участия голоса, имели альтернативное развитие в зависимости от того, включалась или нет антиципация второго согласного при выборе первого. Обусловленная антиципацией регрессивная ассимиляция согласных по участию голоса присутствует в большей части славянских диалектов. Так, в [FO 1981: 30, 282, 630] при реконструкции исходного состояния фонетики для включенных в сетку ОЛА словенских, хорватских, сербских, македонских говоров констатируется унифицированность по участию голоса сочетаний шумных согласных после падения редуцированных. То же относится к польской системе [OF 1982: 32].

Но в некоторых диалектах антиципация не включается в программу слова. В этом

случае как бы сохраняется фантомная память о гласном, разделявшем согласные ("воспоминание и представление известного звука"), и произносится последовательность согласных неоднородных в отношении участия голоса. При этом включение глухих и звонких согласных в фонетическую программу слова лишено параллелизма.

В славянской речи очень редко встречается отсутствие антиципации звонкого согласного при выборе предшествующего шумного. На отсутствие уподобления предлогов *от*, *с* следующим звонким в болгарском указывает [Георгиев 1985: 49], но в [Стойков 1961 : 154] об этом не сказано. Отсутствие же антиципации глухого согласного и, как следствие этого, произношение звонкого согласного перед глухим не является раритетным. Так, в состав украинских диалектных различий входит наличие/отсутствие звонких шумных согласных перед глухими, т.е. *ка́зка, ри́бка, сто-ро́жка / ка́ска, ри́пка, сторо́шка* [Жилко 1955 : 71,93, 161; Бевзенко 1980 : 200, 209]. Звонкие согласные перед глухими свойственны белорусским восточнополюсским говорам – *ры́бка, л'о́гко, ц'егц'і, соло́шы, рэ́дко, дз'а́дз'ко, л'э́з'ц'е* [Крывіцкі, Падлужны 1984 : 232].

Традиционно принято рассматривать регрессивную ассимиляцию по голосу как единый процесс, но в отдельных своих проявлениях имеющий разную хронологию: озвончение глухих происходило раньше, чем оглушение звонких, а произношение звонких перед глухими означает незаконченность процесса [Бернштейн 1961 : 263; Сидоров 1966 : 62]. В основе этого суждения лежит представление о том, что сразу после падения редуцированных глухие и звонкие согласные образовали один синтагматический класс и, в соответствии с этим, унификация рядом стоящих согласных по голосу задается как универсальный для славянских диалектов процесс, основанный на межзвуковом контакте. Однако объединение глухих и звонких согласных в один синтагматический класс для ранней эпохи не кажется бесспорным.

Как известно, глухие и звонкие согласные в принципе различаются не только участием голоса, но и уровнем напряженности основной артикуляции. Согласно [Брок 1910 : 49], это "разные степени в силе согласных образований", чему соответствует "большее или меньшее мышечное напряжение для создания традиционных степеней внутри согласного образования, тождественного в остальных отношениях". Так образуются артикуляции типа *fortis* и *lenis* (сильная и слабая). Глухость/звонкость и разная степень напряженности могут конкурировать в своей значимости для оппозиции согласного как звукотипа. От того, какой из признаков является доминирующим, зависит синтагматическое поведение согласных [Пауфошима 1987 : 100]. Исходя из артикуляционных особенностей шумных согласных в севернорусских говорах, некоторые авторы считают возможным констатировать в них и оппозицию по напряженности, а не по участию голоса [Русская диалектология 1989 : 72; Касаткин 1995; 1997; Пауфошима 1987]. Считается при этом, что оппозиция по напряженности согласных отражает более раннее состояние, чем различение по голосу.

Не касаясь функциональной характеристики глухих/звонких согласных, а учитывая лишь комбинацию артикуляционных параметров, вряд ли можно допустить их тождественное синтагматическое поведение после падения редуцированных. Если оценить унификацию по голосу как реализацию дистактных связей в пределах фонетической программы слова, то можно допустить следующее. Антиципация звонкого (или ненапряженного) и антиципация глухого (или напряженного) согласного как компоненты фонетической программы слова могли возникнуть независимо друг от друга, а не как элементы единого процесса. Поэтому современные модели типа [dt, dd] и [tt, dd], возможно, на находятся в отношении хронологической последовательности, а репрезентуют независимые друг от друга типы включения в фонетическую программу слова сочетаний шумных согласных, образовавшихся после падения редуцированных.

Для такой дифференциации имелись определенные основания. Частота сочетаний типа *td* после падения редуцированных была ниже, чем *dt*. Это связано с особенностью фонетического оформления приставок и суффиксов, так как новые сочетания согласных образовывались, главным образом, на стыке этих морфем с корнем. Приставки

чаще оканчиваются на звонкий согласный, а суффиксы начинаются преимущественно на глухой согласный. Отсюда и бóльшая частота dt в сравнении с td. В возникшем после падения редуцированных сочетаний td после глухого/напряженного согласного следовал сегмент, образованный с голосом и сходный в этом отношении с гласным, т.е. вновь возникший контраст по звучности между последовательностями tьd и td был отчасти сглажен. Это облегчало включение в программу слова антиципации звонкого/ненапряженного согласного и озвончение глухого согласного. Тот же контраст между сегментами dьt и dt был более резким и поэтому ожидание гласного (память о гласном) после d могло задерживаться вопреки фонетической реальности. Это тормозило включение антиципации глухого/напряженного согласного в фонетическую программу слова и сохраняло звонкий согласный перед глухим. Допустимость сочетания типа dt – это знак архаической фонетики с недостаточной развитостью дистактных связей в звуковой цепи.

Прогрессивно направленное изменение по признаку голоса в консонантных сочетаниях в славянских диалектах происходит редко. Этим эксплицируется сохранение/усиление контактных связей между согласными в качестве противодействия возможному включению в программу слова дистактных связей. Так, в польских диалектах отмечается изменение $v > f$ после шумных согласных – *šfeca, šfyńa, šferšć, ćferć, śf'entojan'k'i, marx'o* [OF 1984: 52, 57, 77]. То же свойственно македонским говорам – *sfat, sfaka, sfińar, sfršen, šfaler, sfešća, žentfa* и др. [FO 1981 : 636 и сл.]. Оглушение v в этих случаях означает усиление контактной связи в исконно существующих сочетаниях (**sveto, *svěťь*). В [Русская диалектология 1989 : 77] приводятся примеры из русских (вероятно, северных) говоров – *тфoјó, сф'ěжу, сфoй, шф'ěды*. Архаическое проявление контактной связи, как условия прогрессивного оглушения согласных, содержат нижнелужицкие диалекты в виде изменения $r > š$ в праславянских сочетаниях *pr, tr, kr*, т.е. *pšawy, tšawa, kšyšo*, при отсутствии изменения в новых сочетаниях – *prose, strusk, krop* [Fasske 1964 : 107; Калнынь 1989б : 160].

Редкое явление прогрессивного озвончения в сочетаниях согласных, образовавшихся после падения редуцированных, представлено в украинских надсянских говорах – *дон'ká* и *візгá* род. ед. от *візók* (т.е. изменение суффиксального $k > g$), *hp'édga, fid'gó, nibjzga, na дур'із'дз'і, ж'эбга, дóбга, пірjж'і, нáз'га* (Мостиский р-н Львовской обл.).

Синтагматическое значение позиции на конце слова для шумных согласных различается по диалектам и не всегда совпадает с тем, что происходит в консонантных сочетаниях. Существуют диалекты, в которых сочетание унифицированы по участию голоса, а на конце слова представлено различие глухих и звонких согласных, т.е. tt, dd, но t# – d#. Обратного соотношения, т.е. t–d перед согласным и только t на конце слова, в диалектах нет – если звонкость сохраняется перед согласным, то она допустима и на конце слова. Это дает [Жилко 1955 : 93] основание утверждать в украинских говорах, что утрата звонкости в середине слова значительно больше выражена, чем в конце слова.

Существует мнение, что оглушение звонких согласных на конце слова является самым поздним проявлением начавшегося после падения редуцированных изменения шумных согласных по участию голоса [Бернштейн 1961 : 263; Колесов 1980 : 161]. Между тем, можно полагать, что основания для изменения согласных в названных позициях не были одинаковыми.

Падение редуцированных создавало на конце слова принципиально новую синтагматическую ситуацию – возникло сочетание согласного с паузой (С#), чего не было в праславянском. Унификация вновь возникших сочетаний по участию голоса имела синтагматический образец, известный по падению редуцированных. Для сочетания С# такого образца не было, а сама по себе пауза не подразумевала изменение уровня голосности предшествующего сегмента (ср. синтагматику сонантов). При произношении звонких шумных согласных на конце слова сохраняется старый консонантный состав

слова. Это явление, хотя и более редкое, чем оглушение конечных согласных, представлено в диалектах разных регионов Славии.

В словенских говорах, описанных в [FO 1981] – *zò:b, lè:d, mráz, rì:ž* (с. 85); сохранение звонкости связано с восходящим ударением на предшествующем гласном – *žà:p и žá:b, rì:p и rí:b, nó:h* (с. 54): возможно, в этом случае реализуется контактная связь в сегменте VC и подъем голоса при акуте задерживает звонкость следующего согласного.

В сербских говорах – сохранение или неполное оглушение конечных звонких согласных отмечено в [Peco 1980] – *drúg, hóg, nôž drúg^h, hóg^h, grád^h, zúb^p* (с. 29, 71, 72). То же в [FO 1981 : 561] – *lad, zid, grob, muž, nož, tuž, prag, rog* (так обозначена полувзвонность).

В серболужицких диалектах сочетания шумных согласных унифицированы по участию голоса. Поведение же шумных согласных на конце слова образует диалектное различие – в верхнелужицких говорах допустимы только глухие согласные, а в нижнелужицких представлена иная ситуация. Из диалектных описаний известно, что в н.-луж. говорах на конце слова может сохраняться оппозиция шумных согласных по участию голоса [Schroeder 1958 : 29, 37, 40; Michalk 1964]. Это же явление получает несколько иную интерпретацию в [SS 1990]. Здесь автор исходит из того, что согласные класса fortis и lenis могут менять артикуляционные параметры, связанные с участием голоса и уровнем напряженности, вне связи друг с другом. Если звонкий согласный утрачивает голос, но не повышает напряженность, он становится безголосым lenis, который следующим образом описан в [Брок 1910 : 59]: "голосовые связки при звонких согласных образуют в гортани преграду, невольно уменьшающую давление выдыхаемого тока в ротовой полости, а эта преграда в гортани может до известной степени сохраняться, хотя бы и исчезло звучание голоса". Такие безголосые lenis наряду со звонкими согласными, по данным [SS 1990], произносятся на конце слова во многих н.-луж. говорах. При этом отмечается, что между глухим и звонким lenis (b–b) акустическое различие меньше, чем между глухим lenis и глухим fortis (b–p) (с. 238). Это может указывать на то, что опознание согласных в большой степени определяется уровнем напряженности их артикуляции. Сказанному соответствует произношение типа *klěb//h, jašćeb//h, sněg//g, fód//d, wyz//z* [Michalk 1964: 222].

О том, что в истории чешского языка после падения редуцированных был период, когда в качестве главной характеристики шумных согласных конкурировали признаки участия голоса и уровня напряженности, сказано в [Vachek 1958] – при утрате голоса звонким согласным сохранялась оппозиция между безголосым lenis в *leđ* и безголосым fortis в *let*.

В украинских и белорусских диалектах сохранение звонкости перед глухим согласным и перед паузой обычно сосуществуют [Жилко 1955: 93; Крывіцкі, Падлужны 1984: 232].

Разные стадии изменения конечного звонкого согласного сосуществуют в гуцульском говоре (Раховский р-н Закарпатская обл.). Здесь на месте звонкого согласного перед паузой произносятся: 1) согласный с ослабленным голосом, или полувзвонкий (✓ под буквой) и 2) безголосый lenis, т.е. глухой, но ненапряженный (∧ под буквой). Эти согласные оформляют фонетические дублиеты слов – *hpeč//č, ob' iđ//d, čěl' iđ'//d', v' iđ//z, bud' z//d z, zámuzj//ž, dožd' ž//d ž, kl' ež//z*.

Отсутствие оглушения конечных звонких согласных известно и некоторым русским говорам, как это показано в [ДАРЯ 1986, комментарий, 177]. Участие голоса в образовании конечных согласных иногда обозначается как *n^b, bⁿ, m^d, d^m* и под., что подразумевает неполную утрату голоса.

Замена звонкого согласного глухим означает снижение/утрату голоса и повышение напряженности. Такое изменение выглядит достаточно мотивированным при контакте со следующим согласным. Но пауза, являющаяся звуковым нулем, не содержит мотива для выключения голоса в предшествующем согласном. Хотя уже свершив-

шее изменение и может квалифицироваться как "антиципация безголосности паузы" [Брок 1910: 168], тем не менее оно не является результатом прямого уподобления согласного паузе. Понять это изменение можно, оценивая его как компонент фонетической программы слова.

Утрата конечных редуцированных гласных была одним из проявлений того, что конец слова находился в зоне сниженного произносительного внимания. В такой же ситуации оказался конечный согласный. Слабая напряженность звонкого согласного, не поддержанного следующим гласным, т.е. перед паузой, снижала его выразительность и могла способствовать его утрате независимо от того, сохранялся в нем голос или нет. Именно примеры такой утраты приводятся в [ДАРЯ 1986, комментарии, 177] – в одном южнорусском говоре при сохранении конечных звонких согласных утрачивается конечный γ – *дру, плау, кру, сто, ша, твѡръ* (= творог).

В этом отношении показательно синтагматическое поведение фарингального спиранта *h* в некоторых украинских говорах. Особенность артикуляции этого спиранта состоит в ненапряженности и в неполном образовании голоса – "уже самые незначительные перемены голосовых связей в передней части щели ведут к безголосому *h*" [Брок 1910: 47, 48]. Попадая в речи в зону сниженного внимания, такая артикуляция может утратиться или замениться другим согласным. Примеры того и другого имеются в украинских говорах региона Карпат. В ответах на [Программа КДА 1967] конечный фарингальный спирант часто обозначен буквой в экспоненции, что означает ослабление артикуляции. Этому соответствуют комментарии, даваемые в ответах: "в *сн'ih*, *бѣр'ih* фарингальный согласный произносится как звонкое придыхание" (Калушский р-н Ивано-Франковской обл.). Это значит, что слабая напряженность становится еще слабее перед паузой и лишь сохранение голоса позволяет опознавать фарингальный спирант. Подобное ослабление артикуляции не распространяется на другие звонкие согласные в той же позиции, т.е. *сн'ih*, *р'ih*, но *н'иж*, *в'из* (Стрыйский р-н Львовской обл.). Возможна и такая ситуация, когда *h* утрачивается при том, что звонкие согласные снижают уровень голоса перед паузой: *р'и*, *пор'и*, *снi* и *в'из*, *н'иж*, *р'ад* (Долинский р-н Ивано-Франковской обл.). Характерно, что сами носители диалекта не стремятся на крайнюю слабость *h* перед паузой не ощущают его отличия от *h* в других позициях, т.е. почти не слышный, напоминающий слабое придыхание спирант в *ватаh#*, *оборih#*, *луh#* носителями диалекта отождествляется с тем же спирантом в *ватаh одѣн*, *луh у нас*, *оборih на хорбах* (Раховский р-н Закарпатской обл.).

В позиции между предшествующим гласным *i* и последующей паузой фарингальный спирант может заменяться спирантом *й*. Примеры из бойковского говора (Турковский р-н Львовской обл.): *порѡна* > *пор'й*, *б'ihати* > *в'йн'об'й*, *к'йн' б'й*, *бѣреha* > *бѣр'й*, *оборѡни* > *обор'й* [Калнынь 1973: 199]. Передвижение фрикативной артикуляции в среднеязычную зону обусловлено близостью места образования *h* и *i* и сходством по низкому уровню напряженности. В этой ассимиляции просматривается тенденция сохранить согласную артикуляцию в контуре фонетического слова. Реализация этой тенденции происходит только перед паузой, так как в этой ситуации *h* безальтернативно связан с предшествующим гласным, находясь с ним в одном слоге.

О том, что спиранты, локализованные в фарингальной/заднеязычной зоне, являются менее напряженными в сравнении с остальными согласными, свидетельствуют и факты из других славянских диалектов. В данном случае интересно, как это связано с участием голоса в артикуляции такого согласного.

В южнославянских диалектах специфическую синтагматику имеет спирант *x*. Будучи локализован вблизи голосовых связей и имея слабую напряженность, этот спирант воспринимает голосную артикуляцию в позициях V-V, V-Son. Так, по данным [FO 1981], примеры этого есть в сербских говорах – *s'naxa*, *'uxo*, *st'raxa* (с. 525), *'muxa*, *'jaxa*, *'nosa:yu*, *b'jeyu*: (с. 539). На озвончение *x* в позиции V-Son в болгарском языке обратил внимание О. Брок: приводя произношение *kupixme*, *čuxme*, автор отмечает,

что γ "звучало с весьма слабым велярным трением, находясь уже на переходе к голосному гортанному" [Брок 1910: 74, 166]. На это же указано в [Стойков 1942: 83]. Изменение $x > \gamma$ не только в позиции V-Son, но и V-V показано в ответах на [Програма 1969] – для пункта 3147 (Кортен Старо-Загорско) даются записи *гу убѣѣа, нуштѣ ѱди, дрѣѣи, утѣдуѣми, заклѣѣа, да ѱрѣни, пѣѣало*; знак γ определен как "звучно гърлено, но слабоучленявано x ". Сходное явление в македонских говорах фиксируется в [FO 1981] – *буѣ'на, риѣ'на, 'теѣмет* (с. 741). Здесь же в позициях V-Son и Son-V $x > \nu$ – общее между этими согласными только их веляризованность (низкий тон), но губной эквивалент x произносится с голосом: *маѣна, еѣла, беѣме* (с. 643), *болѣа, меѣлен, нѣвно, беѣме* (с. 657).

Отдельные случаи такого же изменения спиранта x отмечены в польских говорах в [OF 1983]: *миѣа, теѣи, без ѣа* (с. 62), *ѳоѳѣу, сиѣу, тасоѣа* (с. 103). О слабости артикуляции задненебного спиранта перед паузой свидетельствуют и такие примеры как *да^x, k^uozu^x, stra, da, gro, bѣи* (с. 62).

Благодаря своей ненапряженности спирант x в южнославянских диалектах может после переднего гласного передвигаться в средненебный ряд и, получив при этом голосность, изменяться в j . Как показано выше, в украинских диалектах подобное преобразование претерпевал спирант h и только перед паузой. В говорах, описанных в [FO 1981], такого ограничения нет. Так, в хорватских говорах: *ori:j, snȃ:ja*, здесь же после лабиализованного гласного $x > \nu$, т.е. также реализуется подобие между согласным и предшествующим гласным – *'uvo, bú:va* (с. 251), *snȃ:ja, 'nijov, 'tije (= tiho)* и *'kuva, sȃ:vi, plȃva* (с. 347). В сербском – *strija, ki:ja, griji* (с. 462). В македонских – *nijno, suj lep*, а также *mej, orej, grej* (с. 727, 766). Замена конечного x средненебным спирантом отражает тенденцию сохранить фонетический контур слова как имеющий консонантное завершение. Контур мог быть нарушен в связи с возможностью утраты слабонапряженного спиранта x . Выразительным проявлением охранительного отношения к контуру слова в сербском говоре является изменение $x > g$ в конце слова – *órag, nú:g, grȃg, pȃstug, mišl'a:g, vižog, svijeg* (с. 550).

Перечисленные факты синтагматического поведения спирантов h и x приводятся в качестве подтверждения того, что низкий уровень напряженности согласного, будучи чреват его утратой в звуковой цепи, помещает согласный в зону поисков способа противостоять его возможной утрате. В этой зоне объединены разные артикуляционные параметры, в том числе и отношение к участию голоса.

Исходя из сказанного, можно полагать, что в славянских диалектах как сохранение звонких согласных перед паузой, так и преобразование конечного согласного в виде $d > t$ было вызвано охранительным отношением к контуру слова. Это отношение было заложено в фонетическую программу слова и выражалось в сопротивлении возможному понижению акустической выразительности конечного согласного. В случае сохранения звонкого согласного на конце слова действовала антиципация уже утраченного редуцированного (фантомная память). При изменении $d > t$ перед паузой приоритет отдавался усилению напряженности, поскольку именно эта артикуляция эффективно фиксировала конец слова. Усиление напряженности согласного автоматически сопровождалось выключением голоса, так как звонкость комбинировалась с ненапряженностью. Как сказано выше, ослабление голоса при низкой напряженности не делало конечный согласный (безголосый lenis) более выразительным в сравнении со звонким lenis (ср. нижнелужицкую ситуацию).

Напряженность глухого согласного может сопровождаться придыханием, следующим после основной артикуляции [Касаткин 1995: 43]. Такое придыхание в особенности должно сопровождать ту напряженность, которая возникла как реакция на утрату конечного редуцированного. Известное подтверждение этого можно видеть в особенностях артикуляции конечных согласных в одном болгарском говоре, описанном в [Калнынь, Попова 1993]. Здесь глухие согласные перед паузой усиливают артику-

ляцию рекурсии, т.е. ту фазу образования звука, когда речевые органы выходят из занятого положения. У *t, k* это создает эффект сильного придыхания, у *c, ш'* – эффект долгого спиранта; завершение *ц, ч'* воспринимается и как придыхание, и как долгий спирант. Произношение выглядит следующим образом: *n'et⁺* (+ означает усиление рекурсии), *m'et⁺, not⁺, nar'et⁺, пръс⁺, ув'эс⁺, náл'иц⁺, нош⁺, стаиш⁺, к'ер'эч⁺, доб'итък⁺, б'алткъ⁺*; определенно долгий спирант произносится в *мос.#, той мно́гу си прѠс.#, крѠс.#*.

Охранительная тенденция в отношении конечного согласного (фонетического контура слова) может проявляться не только в повышении его напряженности/оглушении, но и в произношении гласного пазвука после звонкого согласного, что отмечено в русских говорах в [ДАРЯ 1990, комментарии, 177; Атлас 1957, комментарии, 558] – *хлѣбъ, хѠладъ, вѠзъ, гѠдъ, навѠзъ, мѠжь, ѡжь, халхѠзъ, пагѡбъ, сасѠдъ*. В этом случае как бы реставрируется (задерживается?) первоначальная вокальная артикуляция на конце слова. О том, что в чешских диалектах звонкость конечного согласного может поддерживаться вокальным пазвуком, т.е. *dub^ʷ, vid^ʷ*, сказано в [Lamprecht... 1986: 102].

Синтагматика согласных, различающихся участием голоса, имеет свои особенности и в условиях сандхи, т.е. на стыке слов. В славянских диалектах шумные согласные на стыке слов сочетаются с последующими сегментами *#t, #d, #V, #Son*.

Перед *#t, #d* на выбор согласного, оканчивающего предшествующее слово, накладываются ограничения в отношении голоса. Но реализуется это в разных диалектах неодинаково.

Часто это проявляется в унификации согласных по участию голоса по тем же правилам, как это происходит в слове. Если в слове только *tt, dd*, то и на стыке слов *#t, d#d*. В основе этого лежит, в частности, оглушение звонкого согласного перед *#t* и озвончение глухого перед *#d*.

В рамках такой модели своеобразное синтагматическое поведение обнаруживает глухой согласный в гуцульском говоре (Раховский р-н Закарпатской обл.). Здесь в позиции перед *#d* (при том, что в слове *dd*) на месте глухого произносится согласный, в образовании которого принимает участие голос, однако распространяется он не на всю длительность согласного, а лишь на завершающую его часть, т.е. *t̃d*. Это означает, что антиципация сегмента *#d*, в сравнении с антиципацией *d* в слове, менее категорично требует изменения глухого согласного. Акустически эти согласные типа *t̃d* отличаются от неполнозвонких согласных перед паузой в *об'іѡ, в'іѡ*. Различие состоит в распределении звонкой и глухой частей согласного: перед *#d* сначала глухая, а потом звонкая часть, а перед паузой (*#*) – сначала звонкая, а потом глухая. Реализация такого вида сандхи выглядит следующим образом (согласный типа *t̃d* обозначен знаком \wedge над буквой): *зуп к'ѣннути, бут' тѣхо, не мош купѣти, сѣн хлѣну, н'іп дѡже дѡбрий, з'ѣт' бѡѡ, нѡс хѡѡкае, таѡ бѡде, хѡд' би іх боѡ закрѡѡ, вѣрѡ грун'ѣ, хл'іб з'з'істи, сн'ід блѡвѡий, в'із нѡѡу* под. Получается, что в этом говоре существует возможность противопоставления согласных перед *#* из-за неполного оглушения звонкого, а перед *#d* – из-за неполного озвончения глухого (*нѡс – в'іѡ, нѡс бѡѡ – в'із бѡѡ*).

Синтагматическая ситуация, при которой в слове – *dd, dt*, а на стыке слов *d#d, d#t*, представлена в белорусском полесском говоре (Лунинецкий р-н Брестской обл.) – *бѡбка, р'ѣдко, с'ѣрад хѡты, дѡбчык, с'ц'ѣжка и а коб таб'і, с"нѣн пѡдаѣе, бѡн ты мѡй, сус"ід куп'іѡ, дзѣд нам'іѡр, вѡз цѡльий, вѡчардз' стаіц', асѡд ѣтѡий, снѡб жѡта, муѡ дѡста* и под.

Особую ситуацию репрезентует стык слов, первое из которых оканчивается на шумный согласный, а второе начинается на гласный или сонант, т.е. позиция перед *#V, #Son*. Имеются следующие варианты экспликации этого вида сандхи.

Звонкий согласный оглушается так же, как перед паузой. Например, в севернорусском говоре (Кологривский р-н Костромской обл.) – *руп од' ін, остаф на пол' іц' к' е, вэ' аф ёту комун' іску, в глат' вышыва́ла. сто́рош он ношнóй.*

Различаются глухой и звонкий согласный так же, как это имеет место перед гласным и сонорным в середине слова. Например, в гуцульском говоре (Раховский р-н Закарпатской обл.) – *хлоп р' іже, хо́луб лет' іу, хрѣб одѣн, тут ласу́е так, зара́з убіу́, на вас уважа́у, бо́конч одѣн, до́ждж на плѣчи, обор' th на хорба́х, так и уа́, на см' іх оз' му́т, міh єнаг зробо́ети.* То же в белорусском полесском говоре (Лунинецкий р-н Брестской обл.) – *сно́п аўса́, разду́ц' аhóн', н' єнав' ідз' у л' удз' єй ук' інуласа, нож упа́у, ба́б ашўквайу́ц', паh' іб на хрóн' ц' і, дз' єд марму́че, ўак у каhó, прыбо́у́з у в' єчеры, бо́h ўіх в' єда́е.* Как показано в [Пауфошима 1983: 36], случаи сохранения оппозиции t–d перед #V_{Son} встречаются и в севернорусских говорах. Это явление, по словам автора, на фоне статистически преобладающего изменения типа t–d > t#V_{Son} "распространено едва ли не повсеместно на территории русского Севера".

Наконец, представлен такой тип сандхи, когда на стыке слов перед #V_{Son} не только сохраняются звонкие согласные, но и глухие заменяются звонкими. В условиях сандхи оказываются запрещенными сочетания, допустимые в слове, т.е. tV, t_{Son}. Выглядит это следующим образом в надсянском говоре (Мосткинский р-н Львовской обл.) – *хл' іб мн' іўк' ій, мо́жі маў с' ім л' ід мо́жі маў дѣвї́д' л' ім, выл' із вікно́м, пї́дѣз (= пец) набіра́йі со́пуху, за до́з' дз' іе (= дость), прыждж мі збї́йh на но́с' і, ка́жеж і підеж ду до́му, худо́г на но́ху, по́т' ік т' іг на т' ім, капі́л' ўh на хо́луву, тута́ р' ідж ішл́а (= речь), р' іг уді́н.*

Допустимость только звонких согласных в позиции перед #V_{Son} свойственна польским говорам, имеющим так называемый "краковский тип сандхи". В [OF 1983] приводятся примеры такого произношения: *seż razy, kuńeż nosu, noż i żuń* (с. 17), *brad jest, uez ofcy* (с. 34), *brad ojca, iż ode mię, fcaz rano, seż a p' eć, noż' i żej* (с. 72) и др.

Такой вид сандхи является следствием того, что на стыке слов звуковая последовательность регулируется антиципацией голосности сонанта и гласного, вследствие чего шумные согласные включают в свое образование голос. В слове нет подобного уподобления шумных согласных следующему гласному или сонанту, хотя связь между звуками в слове должна быть более тесной, чем на стыке слов. Брок, комментируя подобную ситуацию, заметил, что "для прикосновения разных слов принцип регрессивного голосного уподобления развился в более широких размерах, чем внутри отдельных слов" [Брок 1910: 168].

Озвончение шумных согласных перед #V_{Son} не может быть аргументировано непосредственным артикуляционным контактом. Это изменение реализует тенденцию не увеличивать после падения редуцированных на стыке слов количество сочетаний, контрастных по голосности. Включение антиципации гласного и сонанта в процесс выбора шумного согласного, оканчивающего предшествующее слово, исключило перепад голосности на стыке слов, поскольку последовательности, начинающиеся на согласный, приобрели вид t#t, d#d, d#V, d#_{Son}. Такая модель наиболее близка к оформлению сандхи до падения редуцированных, когда перепад голосности имел место только в [dʰ, tʰ#t] и отсутствовал в [tʰ, dʰ#d], [tʰ, dʰ#V], [tʰ, dʰ#_{Son}]. Озвончение глухих согласных перед #V_{Son} как бы компенсирует утрату *ʰ, обеспечивая ровное протекание голосности в условиях сандхи. При таком объяснении следовало бы признать, что модель [d#V_{Son}] наиболее категорически настаивает на старом типе протекания голосности на стыке слов.

Рассмотренные виды межсловной сандхи различаются в зависимости от включения в звуковую последовательность антиципации следующего согласного, т.е. от актуализации дистактных связей.

При [t#t, d#d, t#V_{Son}] – антиципация шумного согласного, как и внутри слова, а позиция перед гласным или сонантом следующего слова приравнивается к паузе, в соответствии с чем у звонких согласных повышается напряженность и снижается голос.

При [t#t, d#d, t#Vson, d#Vson] – антиципация шумного согласного, а перед #Vson сохраняется ожидание голосного элемента (представление об утраченном гласном), что способствует стабильности шумных согласных. По своему значению позиция перед #Vson тождественна позиции в слове перед гласными и сонантами.

При [t#t, d#d, d#t, t#Vson, d#Vson] – антиципация глухого согласного не действует в отношении звонкого, поэтому d#t, а перед #Vson сохраняется ожидание голосного элемента как и в предыдущей модели.

При [t#t, d#d, d#Vson] – антиципация шумного согласного, как и в слове, а перед #Vson, в отличие от слова, запрещены глухие согласные. Этот вид сандхи порожден неприятием на стыке слов перепада голосности, ставшего возможным в результате падения редуцированных.

Сказанное позволяет сделать следующие выводы.

1. Различие в синтагматическом поведении глухих/звонких согласных в славянских диалектах зависит от того, включается ли в фонетическую программу слова антиципация следующего сегмента при выборе предшествующего согласного. Не исключено, что в ранний период после падения редуцированных глухие и звонкие согласные не были объединены в один синтагматический класс. Антиципация звонкого (или ненапряженного) и антиципация глухого (или напряженного) согласного в качестве компонентов фонетической программы слова могли возникнуть независимо друг от друга, а не в рамках единого процесса. Поэтому современные модели [dt, dd] и [tt, dd] могут и не находиться в отношении хронологической последовательности, отражая разные виды реакции шумных согласных на утрату редуцированных.

2. Отсутствие антиципации согласного обусловлено сохранением ожидания после первого согласного уже утраченного редуцированного гласного (сохранение представления о гласном). Это – один из случаев несовпадения фонетической программы слова и реальной фонетики.

3. Содержание изменения согласных по признаку голоса в сочетаниях dt, td, с одной стороны, и d#, с другой, неодинаково. В сочетании согласных происходит регрессивное, реже прогрессивное, уподобление по голосу и напряженности – в данной синтагматической ситуации сравнительный уровень приоритетов этих видов артикуляции не просматривается. Перед паузой же, в силу включенного в фонетическую программу охранительного отношения к концу слова, приоритет получает артикуляция напряженности, как средство, гарантирующее от ослабления и возможной утраты конечного звонкого согласного. Усиление напряженности автоматически выключает участие голоса в артикуляции согласного. Подтверждением того, что ситуации в слове и перед паузой различались, являются говоры, в которых сочетания шумных в слове унифицированы по участию голоса, а на конце слова актуальна оппозиция t–d.

4. Позиция перед #Vson отражает степень продвинутости фонетической модели слова в направлении новых отношений, становящихся актуальными после падения редуцированных. Модель t#Vson является наиболее новой. Модель t–d#Vson сохраняет память о старых отношениях до падения редуцированных. Модель d#Vson также ориентирована на старые отношения, но достигается это новыми средствами, а именно – недопустимостью перепада голосности на стыке слов.

5. В целом, разнообразие синтагматического поведения глухих и звонких шумных согласных в славянских диалектах отражает хронологию изменений, которым подвергалась фонетическая программа слова после падения редуцированных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Атлас 1957, комментарии – Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. Вступительные статьи. Справочные материалы и комментарии к картам. М., 1957.
- Бевзенко С.П. 1980 – Українська діалектологія. Київ, 1980.
- Бернштейн С.Б. 1961 – Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
- Брок О. 1910 – Очерк физиологии славянской речи. СПб, 1910.

- Вопросы теории 1962 – Вопросы теории лингвистической географии / Под ред. Р.И. Авнесова. М., 1962.
- Высотский С.С.* 1978 – Предисловие // Сб. Физические основы современных фонетических процессов в русских говорах / Под ред. С.С. Высотского. М., 1978.
- Георгиев В.И.* 1985 – Проблемы на български език. София, 1985.
- ДАРЯ 1986, комментарии – Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части СССР. Вступительные статьи. М., 1986.
- Жилко Ф.Т.* 1955 – Нариси з діалектології української мови. Київ, 1955.
- Калнынь Л.Э.* 1973 – Опыт моделирования системы украинского диалектного языка. М., 1973.
- Калнынь Л.Э.* 1989а – Фонетика в Общеславянском лингвистическом атласе (ОЛА) // ОЛА. Материалы и исследования. 1985–1987. М., 1989.
- Калнынь Л.Э.* 1989б – Нижнелужицкое оглушение вбранта как факт славянской фонетики // Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. М., 1989.
- Калнынь Л.Э., Попова Т.В.* 1993 – Фонетика двух болгарских говоров, функционирующих в условиях разной языковой ситуации // Исследования по славянской диалектологии 2. Южнославянские диалекты. М., 1993.
- Касаткин Л.Л.* 1995 – Некоторые фонетические изменения в консонантных сочетаниях в русском, древнерусском и праславянских языках, связанные с противопоставлением согласных по напряженности // ВЯ. 1955. № 6.
- Касаткин Л.Л.* 1997 – Некоторые особенности консонантизма говоров Гдовского р-на Псковской обл. // Псковские говоры. История и диалектология русского языка. Осло, 1997.
- Колесов В.В.* 1980 – Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
- Крывіцкі А.А., Падлужны А.І.* 1984 – Фанетыка беларускай мовы. Мінск, 1984.
- Мейе А.* 1951 – Общеславянский язык. М., 1951.
- Пауфошима Р.Ф.* 1977 – О структуре слога в некоторых русских говорах // Экспериментально-фонетические исследования в области русской диалектологии. М., 1977.
- Пауфошима Р.Ф.* 1983 – Некоторые особенности сандхи в севернорусских говорах // Русские народные говоры. Лингвогеографические исследования. М., 1983.
- Пауфошима Р.Ф.* 1987 – О связях характера примыкания и звукового эллипсиса с особенностями фонологической системы // Русские диалекты. Лингвогеографический аспект. М., 1987.
- Програма 1969 – Програма за събиране на материали за Български диалектен атлас. София, 1969.
- Програма КДА 1967 – Програма собираяния материалов для Карпатского диалектологического атласа // Карпатский диалектологический атлас. М., 1967.
- Русская диалектология 1989 – Русская диалектология / Под ред. Л.Л. Касаткина. М., 1989.
- Русская разговорная 1973 – Русская разговорная речь. М., 1973.
- Сидоров В.Н.* 1966 – Из истории звуков русского языка. М., 1966.
- Стойков Ст.* 1961 – Увод в българската фонетика. София, 1961.
- Трубецкой Н.С.* 1960 – Основы фонологии. М., 1960.
- Fasske H.* 1964 – Die Vetschauer Mundart. Bautzen, 1964.
- FO 1981 – Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom. Sarajewo, 1981.
- Lamprecht A.* ... 1986 – Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J. Historická mluvnice češtiny. Praha, 1986.
- Michalk S.* 1964 – Zur Frage des sorbischen Sandhi (Satzphonetik) // ZfSl. 1964. IX. 2.
- OF – Opisy fonologiczne polskich punktów "Ogólnostowiańskiego atlasu językowego".
- Topolińska Z.* – Zeszyt I, 1982; *Basara A., Basara J.* – Zeszyt II, 1983; *Zduńska H.* – Zeszyt III, 1984, Warszawa.
- Peco A.* 1980 – Pregled srpskohrvatskih dijalekata. Beograd, 1980.
- SS 1990 – Sorbischer Sprachatlas 13. Synchronische Phonologie. Bautzen, 1990.
- Schroeder A.* 1958 – Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz. Lautbeschreibung. Tübingen, 1958.
- Vachek J.* 1958 – K znělostnímu protikladu souhlásek v češtině a angličtině // Studie ze slovanské jazykovědy. Praha, 1958.

© 2001 г. Е.Л. РУДНИЦКАЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ И НЕЛОКАЛЬНЫЕ РЕФЛЕКСИВЫ В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ С ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ – ФОРМАЛЬНОЕ ИЛИ ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ?

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе рассматривается вопрос об анафоре в пределах сложного предложения. Мы исследуем так называемые **нелокальные** рефлексивы (возвратные местоимения) в корейском языке: рефлексивы, антецедент которых находится вне пределов простого предложения, в котором они содержатся. Обсуждается следующая проблема: каковы ограничения на антецедент нелокального рефлексива и являются ли эти ограничения синтаксическими или прагматическими? В качестве отправного пункта в данном исследовании используется теория управления и связывания (*government and binding theory*) [Chomsky 1981].

Мы используем определение рефлексива, принятое в теории управления и связывания: рефлексивом является такое местоимение, которое ни в каком контексте не может иметь независимую референцию, т.е. референция рефлексива всегда совпадает с референцией некоторого антецедента. Этот антецедент может как находиться в определенных структурно-синтаксических, так и в прагматических отношениях с рефлексивом (т.е. играть определенную роль в предшествующем контексте). В качестве теста на возможность независимой референции используется возможность дейктического употребления. Так, личное местоимение (так называемый прономинал, *pronoun*) может быть употреблено дейктически [в примере (1)], поэтому личное местоимение нельзя отнести к рефлексивам; возвратное местоимение не может употребляться дейктически [пример (2)].

(1) **Посмотри на него!** [на Ивана, с указанием на Ивана]

(2) **Посмотри на себя!** [указание на собеседника или на какое-либо другое лицо невозможно]

В пункте 2 мы приведем аксиомы стандартной теории связывания и укажем на проблемы, с которыми эта теория сталкивается. В пункте 3 будут коротко рассмотрены теории генеративной грамматики, которые защищают первую точку зрения: согласно этим теориям, японское и корейское нелокальные **zibun/caki** по своей природе – рефлексивы (как и русское **себя**), и к ним применимо Условие А с некоторыми изменениями. В пункте 4 будут рассмотрены теории, которые считают, что нелокальные **zibun/caki** являются не рефлексивами, а **логофорическими** (*logophoric*) местоимениями, и их употребления регулирует не формальное Условие А, а другие, неформальные закономерности.

2. ПРОБЛЕМА НЕЛОКАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСИВОВ

2.1. СТАНДАРТНАЯ ТЕОРИЯ СВЯЗЫВАНИЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ: СИНТАКСИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕФЛЕКСИВАМ

Отношения между рефлексивом и его антецедентом фиксируются в стандартной теории управления и связывания следующим образом: рефлексив должен быть **связан** антецедентом. Понятие **связывания** включает два условия. **Во-первых**, антецеденту и

рефлексиву присваивается один и тот же цифровой индекс (они "коиндексированы", coindexed), что указывает на то, что они относятся к одному и тому же референту [см. индекс "i" в примерах (4) – (6)]. **Во-вторых**, антецедент и рефлексив должны находиться в определенных структурных отношениях, а именно отношениях к-командования (c-command). Употребление рефлексивов подчиняется еще **третьему** условию: рефлексив должен находиться в пределах определенной "локальной области" (local domain) по отношению к антецеденту. Рассмотрим второе и третье условия более подробно.

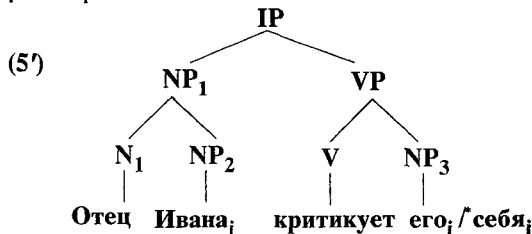
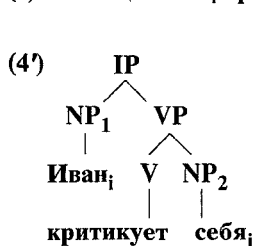
Определение к-командования дано в (3).

(3) **А к-командует В, если и только если каждый узел, который доминирует над А, также доминирует над В**

Например, в русском языке (как и в английском) антецедент, как правило, к-командует рефлексивом. Так, в (4) именная группа NP₁ **Иван** к-командует рефлексивом NP₃ **себя**, ср. схему (4); в (5) NP₂ **Иван** не к-командует позицией прямого дополнения, т.к. узел NP₁ доминирует над узлом NP₂, но не доминирует над узлом NP₃ (прямое дополнение) – ср. схему (5'). Поэтому в позиции NP₃ может выступать только невозвратное местоимение (проминал, pronominal) **его**, но не рефлексив **себя**.

(4) **Иван_i критикует себя_i**

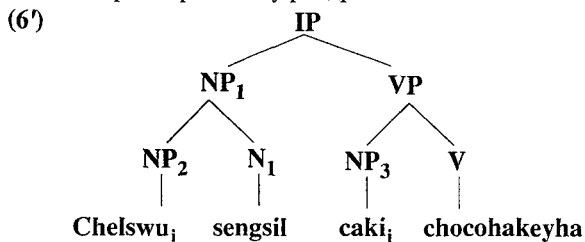
(5) **Отец Ивана_i критикует его_i/*себя_i**



В большинстве европейских языков, в том числе и в русском [как видно из примеров (4) – (5)], структурное отношение к-командования между антецедентом и местоимением необходимо для использования рефлексива. В китайском языке есть регулярные исключения, когда в структуре, подобной (5'), возможно употребление возвратного местоимения в позиции дополнения [Huang, Tang 1991]. В японском и корейском языках также возможны подобные исключения, как показывает пример (6) и схема (6').

(6) **Chelswu_i-u sengcil-un caki_i-lul chocohakeyha-0-nta**

Чольсу_i-ГЕН характер-ТОП себя_i-АКК раздражать-НАСТ-ИЗЪЯВ
"Характер Чольсу раздражает его"



Таким образом, требование отношения к-командования не является универсалией в таком виде, в котором оно сформулировано. Хуанг и Танг [Huang, Tang 1991] предлагают модификацию этого правила, при которой употребления типа (6) допустимы. Однако в типологическом аспекте проблема структурно-иерархического отношения между рефлексивом и его антецедентом недостаточно изучена и не решена.

Рассмотрим проблему области связывания (binding domain) рефлексивов, которая является центральной в большинстве современных исследований, посвященных возвратным местоимениям [Zribi-Herz 1985; Anderson 1986; Manzini, Wexler 1987; Sells 1987; Pica 1987; 1991; Thráinsson 1991; Huang, Tang 1991; Franks, Progovac 1991; Reinhart, Reuland 1991; Jayaseelan 1996].

В стандартной теории связывания [Chomsky 1981] распределение "анафоров" (anaphors) – рефлексивов и реципроков – фиксируется Условием (Condition) A в (7):

(7) **Условие А: Анафор должен быть связан в пределах своей области связывания.**

Областью связывания в условии (7) называется некоторая составляющая. В стандартной теории связывания [Chomsky 1981] универсальной областью связывания для рефлексивов является простое предложение или именная группа. Условие (7) состоит в том, что рефлексив (реципрок) должен находиться в пределах той же области связывания (простом предложении или именной группе), что и антецедент. Важно заметить, что данное отношение между рефлексивом (реципроком) и его антецедентом, согласно стандартной теории связывания, должно существовать на уровне **поверхностной структуры** предложения. Такие локальные отношения между антецедентом и реципроком эмпирически подтверждаются всеми языками, т.е. условие (7) действительно является универсалией для реципроков. Что касается рефлексивов, то только в ограниченном числе языков рефлексивы должны находиться в том же простом предложении или именной группе, что и их антецедент. К этим языкам относится прежде всего английский, а также некоторые славянские языки (например, с некоторыми модификациями, русский [Падучева 1985; Рудницкая 1998]). Примеры (8а–б) иллюстрируют локальную зависимость рефлексивов в русском.

(8) **а. Иван₁ всегда критикует себя₁**

б. Иван₁ знает, [что Петр₂ всегда критикует его₁/*себя₁/себя₂]

Примеры (8а–б) показывают, что, находясь в придаточном предложении, возвратное местоимение может относиться только к подлежащему вставленного предложения, но не главного (ср. *себя₁/себя₂ в (8б)).

В японском (яп.) и корейском (кор.) языках рефлексивы не находятся в такой локальной зависимости от антецедента, как в русском или английском. Рассмотрим следующие примеры с яп. *zibun* "себя" (9) и кор. *caki* "себя" (10):

(9) **John_i-wa [Bill_j-ga zibun_{i/j}-o nikunde iru]** (яп.) [Wexler, Manzini 1987]

Иван₁.ТОП [Билл₂.НОМ себя_{1/2}.АКК ненавидеть.ДЛИТ]

to omotte iru

что думать.ДЛИТ

(10) **John_i-un [Bill_j-ka caki_{i/j}-lul miweha-nta]** (кор.) [Jayaseelan 1996]

Иван₁.ТОП [Билл₂.НОМ себя_{1/2}.АКК ненавидеть.ИЗЪЯВ]

ko sayngkakha-0-nta

что думать.НАСТ.ИЗЪЯВ

"Иван думает, что Билл ненавидит себя/его"

В (9) – (10) *zibun/caki* могут относиться как к локальному подлежащему *Bill_j*, так и к подлежащему главного предложения *John_i*. При второй интерпретации эти рефлексивы получили название *нелокальных* (long-distance). Аналогичные нелокальные рефлексивы встречаются во многих языках: европейских – например, итальянском [Giorgi 1984: пример (11)] и исландском [Manzini, Wexler 1987: пример (12)], китайском (Huang, Tang 1991), кавказских [Тестелец, Толдова 1998].

(11) **Gianni_i ritiene [che Osvaldo_j sia convinto [che quella casa** (ит.) [Giorgi 1984]

Иван₁ считает [что Освальд₂ есть убежден [что этот дом

appartenga ancora alla propria_{i/j} famiglia]]

принадлежит к своей_{1/2} семье]]

"Иван считает, что Освальд убежден, что этот дом принадлежит семье Ивана/Освальда"

(12) **Jón₁ segir [að María₂ elskí sig_{1/2}]** (исл.) [Manzini, Wexler 1987]

Иван₁ говорит [что Мария₂ любит себя_{1/2}]

"Иван говорит, что Мария любит Ивана/саму себя"

Хотя **zibun** и **caki** традиционно считаются рефлексивами, их дистрибуция сильно отличается от дистрибуции рефлексивов, предусмотренной теорией связывания [см. Условие А в (7)]. А именно, непонятно, накладываются ли какие-либо грамматические ограничения по локальности на японские и корейские рефлексивы, или они могут находиться на любом расстоянии от антецедента [даже в другом предложении, будучи разделены точкой или даже целым текстом; ср. (20) – (21) ниже]. В первом случае принимается формальный подход к дистрибуции нелокальных рефлексивов. Этот подход предполагает попытку поиска формального описания отношений между антецедентом и любым рефлексивом. То есть, даже если рефлексив нелокальный, его дистрибуция регулируется формально-синтаксическими, а не прагматическими или семантическими правилами. Значит, возникает вопрос, каковы локальные ограничения на **zibun/caki** и какова их область связывания, т.е. как переформулировать Условие А (7) так, чтобы оно описывало распределение яп./кор. рефлексивов. Во втором случае принимается два разных подхода к локальным и нелокальным рефлексивам: формальный подход к дистрибуции локальных рефлексивов и семантический/прагматический подход к дистрибуции нелокальных рефлексивов. Этот подход предполагает, что ограничения на локальность, подобные условию А, приложимы только к локальным рефлексивам. Значит, Условие А неприложимо к **zibun/caki** даже в модифицированном виде, существует какое-то другое (семантическое или прагматическое) правило, регулирующее употребление этих рефлексивов. Тогда, возможно, к **zibun/caki**, по крайней мере, в их нелокальных употреблениях, нельзя применять термин "рефлексивы"; нелокальные **zibun/caki** выполняют какую-то другую функцию, чем локальные (настоящие) рефлексивы.

2.3. ПРОБЛЕМА ОРИЕНТАЦИИ НА ПОДЛЕЖАЩЕЕ

Одним важным свойством как локальных, так и нелокальных рефлексивов является то, что их антецедентом обычно является подлежащее/топик, но не дополнение (так называемая ориентация на подлежащее, subject-orientation):

(13) Иван₁ рассказал Марии₂ о себе_{1/2}

(14) **Chelswu₁-nun Swunmi₂-eykey caki_{1/2}-ey tayhaye malhay-ss-ta** [кор.]

Чольсу₁.ТОП Сунми₂.НАПР/К себя_{1/2}.НАПР О сказать.ПРОШ.ИЗЪЯВ

"Чольсу рассказал Сунми о себе"

(15) **Chelswu₁-nun Swunmi₂-eykey [Hakswu₃-ka caki_{1/2/3}-lul** [кор.]

Чольсу₁.ТОП Сунми₂.НАПР/К [Хаксу₃.НОМ себя_{1/2/3}.АКК

cohaha-0-nta-ko] seltukhay-ss-ta

любить.НАСТ.ИЗЪЯВ.ЧТО] убедить.ПРОШ.ИЗЪЯВ

"Чольсу убедил Сунми, что Хаксу любит его (Чольсу)/*ее (Сунми)/себя"

Одна из формальных теорий, рассмотренных в п. 3 (теория перемещения вершин) непосредственно основана на постулировании того, что антецедентом рефлексива всегда является подлежащее. Тем не менее такой постулат неправилен, потому что в некоторых случаях антецедентом и локальных, и нелокальных рефлексивов может быть дополнение. В примерах (16) – (17) показаны русские и корейские примеры, в которых локальный рефлексив имеет антецедентом дополнение, а в (18) – (19) показаны корейские конструкции с нелокальным рефлексивом [ср. (19) и (15)]. В примерах (16) – (18) также отсутствует отношение к-командования между рефлексивом и его антецедентом [ср. примеры (4) – (6) выше].

- (16) **Своя₁ жена надоела Ивану₁**
 (17) **Caki₁-uy sengkong-un Chelswu₁-lul hayngpokha-0-nta**
 себя₁.ГЕН успех.ТОП Чольсу₁.АКК делать-счастливым.НАСТ.ИЗЪЯВ
 "Свой успех делает Чольсу счастливым"
- (18) **[Swunmi₁-ka caki_{1/2}-lul miweha-0-nta-nun].kes-i**
 [Сунми₁.НОМ себя_{1/2}.АКК ненавидеть.НАСТ.ИЗЪЯВ.РЕЛ] вещь-НОМ
Hakswu₂-lul sulpukeyha-0-nta
 Хаксу₂.АКК огорчать.НАСТ.ИЗЪЯВ
 "То, что Сунми₁ ненавидит себя₁/его₂, огорчает Хаксу₂"
- (19) **Chelswu₁-nun Hakswu₂-eykeyse [Swunmi₃-ka**
 Чольсу₁.ТОП Хаксу₂.НАПР/ОТ [Сунми₃.НОМ
caki_{1/2/3}-lul miweha-0-nta-ko] tul-ess-ta
 себя_{1/2/3}.АКК ненавидеть.НАСТ.ИЗЪЯВ.ЧТО] услышать.ПРОШ.ИЗЪЯВ
 "Чольсу услышал от Хаксу, что Сунми ненавидит его (Чольсу)/его(Хаксу)/себя"

Еще одним важным контрпримером на то, что антецедент нелокальных рефлексивов можно определить как подлежащее является случай, когда антецедент такого рефлексива находится вне предложения, содержащего рефлексив [ср. (20) – (21)]. Примеры (20) – (21) ставят под сомнение тот тезис (который по необходимости лежит в основе синтаксических теорий нелокальных рефлексивов), что вообще существует какая-либо синтаксическая зависимость между нелокальным рефлексивом и его антецедентом.

- (20) **There were hours when Mrs. Wix₁ sighingly testified to the scruples she₁ surmounted (...) If the child couldn't be worse it was a comfort to herself₁ that she₁ was bad...** [Zribi-Hertz 1989: 707]
 "Бывали часы, когда Миссис Викс₁ со вздохом признавалась в сомнениях, которые она₁ преодолела (...) Если ребенок не мог быть хуже, для нее₁ (букв. **себя₁**) было утешением то, что она₁ была плохая..."
- (21) **Pierre₁-nun Marie₂-lul hyosangka-ess-ta. Kunye₂-nun**
 Пьер₁.ТОП Мария₂.АКК думать.ПРОШ.ИЗЪЯВ. Она₂.ТОП
[caki₁-ka akhi-ko salangha-ten] sionye-i-ess-ta [Sells 1987]
 [себя₁.НОМ боготворить.И любить.РЕЛ] девушка.БЫТЬ.ПРОШ.ИЗЪЯВ
 "Пьер₁ думал о Марии₂. Она₂ была девушкой, которую он₁ (букв. **себя₁**) боготворил и любил"

В примере (20) **she** во втором предложении не может быть синтаксическим антецедентом **herself** (связывать **herself**), т.к. **herself** находится выше в иерархической структуре предложения, чем **she**, и **she** не может к-командовать **herself**.

В п. 3 будет показано, что формальные теории нелокальной анафоры (особенно теория перемещения вершин) не могут объяснить те употребления возвратных местоимений, в которых антецедентом является дополнение, а не топик/подлежащее (примеры выше), а также примеры, в которых нелокальный рефлексив и его антецедент находятся в разных предложениях. В п. 4 будет изложено объяснение этих случаев, которое предлагается в теории нелокальных рефлексивов как **логофорических** местоимений, в основном сформулированной в работе [Sells 1987] (Селлз опирается на многочисленные работы по логофорическим местоимениям, ссылки на них см. в этой работе).

**3. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ НЕЛОКАЛЬНЫХ РЕФЛЕКСИВОВ:
ТЕОРИЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ОБЛАСТЕЙ СВЯЗЫВАНИЯ
И ТЕОРИЯ АБСТРАКТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕФЛЕКСИВОВ**

Как было указано в п. 2 выше, нелокальные рефлексивы не подчиняются Условию А (7) стандартной теории связывания. Синтаксические подходы к проблеме нелокальных рефлексивов постулируют, что нелокальный рефлексив, также как и локальный, находится в синтаксической зависимости от антецедента, а конкретно – что Условие А для локальных рефлексивов можно некоторым образом модифицировать, так чтобы оно выполнялось и для нелокальных рефлексивов.

Теоретически есть два способа модифицировать Условие А: 1) изменить условия, при которых оно действует (уровень поверхностной структуры), оставив простое предложение/именную группу универсальной областью связывания для всех рефлексивов во всех языках; 2) отменить универсальность простого предложения/именной группы как области связывания (т.е. постулировать возможность разных областей связывания для разных рефлексивов в одном языке и в разных языках), оставив постулат, что Условие А (с разными областями связывания) всегда действует на уровне поверхностной структуры. В п. 3.1 будет рассмотрено первое решение (теория перемещения вершин), а в п. 3.2 – второе решение (теория параметризации областей связывания).

3.1. ТЕОРИЯ АБСТРАКТНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЕРШИН [PICA 1987; 1991]

Теория абстрактного перемещения вершин постулирует, что стандартное Условие А (7) всегда выполняется, даже в случае нелокальных рефлексивов, когда рефлексив находится в другом простом предложении, чем его антецедент [см. примеры (9) – (12)]. Это возможно потому, что Условие А должно выполняться не на уровне поверхностной структуры предложения (как это было в стандартном варианте Условия А), а на абстрактном уровне логической формы (logical form). Это значит, что можно ввести абстрактные (такие, которых не видно в предложении) перемещения рефлексивов, результатом которых является абстрактное представление предложения (уровень логической формы), и в этом представлении рефлексив локально связан своим антецедентом.

Механизм абстрактного перемещения рефлексивов аналогичен более наглядному виду перемещения: нелокальным (successive-cyclic) перемещениям вопросительных слов. Эти перемещения (перемещения на большие расстояния, чем внутри простого предложения) происходят не одним "прыжком", а посредством нескольких локальных шагов. В схеме (22') показано, путем каких перемещений получено предложение (22).

(22) Кого ты хочешь, чтобы Иван велел, чтобы Петр пригласил?



(22') Кого₁ ты хочешь, [t₁'' чтобы Иван велел, [t₁' чтобы Петр пригласил t₁]]?

Перемещение вопросительных слов всегда направлено в позицию SpecCP (спецификатор группы комплементаризера), т.е. в позицию перед союзом (в придаточном предложении) или перед подлежащим (в главном предложении). Перемещение рефлексивов направлено в вершину Infl (Inflection), т.е. позицию вспомогательного глагола/глагольной морфемы (в корейском языке – после глагольной основы), как показано в схеме (15') примера (15).

(15) Chelswu₁-nun Swunmi₂-eykey [Hakswu₃-ka caki₁'_{2/3}-lul [kop.]

Чольсу₁.ТОП Сунми₂.НАПР/К [Хаксу₃.НОМ себя₁'_{2/3}.АКК

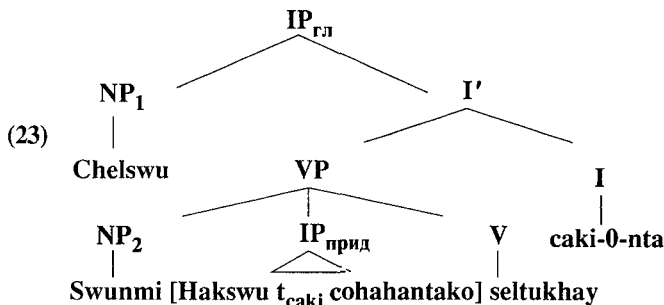
cohaha-0-nta-ko] seltukhay-ss-ta

любить.НАСТ.ИЗЪЯВ.ЧТО] убедить.ПРОШ.ИЗЪЯВ

(15') Chelswu₁-nun Swunmi₂-eykey [Hakswu₃ka-t_{1^{*}2/3}-lul

cohaha-t_{1^{*}2/3}'-0-nta-ko] seltukhay-caki_{1^{*}2/3}-ss-ta

В схеме (15') *caki* перемещается сначала в позицию Infl придаточного предложения (Hakswu₃-ka t_{1^{*}2/3}-lul cohaha-caki_{1^{*}2/3}-0-nta-ko), а затем в позицию Infl главного предложения (Chelswu₁-nun Swunmi₂-eykey ... seltukhay-caki_{1^{*}2/3}-ss-ta). Таким образом, *caki* после первого перемещения связано **Hakswu** (подлежащим придаточного предложения), а после второго перемещения – **Chelswu** (подлежащим главного предложения). Важно, что *caki* ни в одной из этих позиций не может быть связано дополнением **Swunmi**, т.к. после первого перемещения **Swunmi** и *caki* находятся в разных простых предложениях, а после второго перемещения **Swunmi** (NP₂) не к-командует *caki* [см. схему (23), в которой показано главное предложение из (15)]. Поэтому теория перемещения вершин учитывает тот факт, что антецедентом нелокального рефлексива обычно является подлежащее.



К достоинствам теории перемещения вершин относятся следующие:

- 1) Эта теория учитывает ориентацию нелокальных рефлексивов на подлежащее.
- 2) Эта теория предлагает ответ на вопрос, почему не все рефлексивы могут быть нелокальными. Например, английское **himself** систематически употребляется только как локальный рефлексив [не считая логофорического употребления в (20)]. В отличие от корейского *caki*, морфологически неделимого, **him-self** эксплицитно состоит из двух морфем. В генеративной грамматике считается, что только единичные морфемы (как *caki*), но не блоки, состоящие из нескольких морфем (как **him-self**), могут быть вершинами и, соответственно, подвергаться перемещению вершин. Поэтому **himself**, будучи в придаточном предложении, не может быть связано антецедентом-подлежащим главного предложения. **Himself**, неспособное к абстрактному перемещению, если оно исходно находится в придаточном предложении, не может переместиться из него в главное и удовлетворить Условие А даже на абстрактном уровне логической формы.

К недостаткам теории абстрактного перемещения относятся:

- 1) Абстрактное перемещение вершин, лежащее в основе данной теории, теоретически является чисто спекулятивным (не вытекает из постулатов теории связывания), а также эмпирически необосновано (нет никаких наблюдаемых свидетельств того, что абстрактное перемещение вершин имеет место).
- 2) Данная теория не объясняет случаев, когда антецедентом нелокального рефлексива является дополнение [примеры (18)–(19)] или антецедент относится к другому предложению [примеры (20)–(21)].

Таким образом, теория перемещения вершин является чисто дедуктивной. Она предлагает формальную модель, которая внешне никак не основана на фактах анафоры, но строится так, чтобы основные противопоставления и процессы в сфере рефлексивов нашли в этой модели отражение.

3.2. ТЕОРИЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ ОБЛАСТЕЙ СВЯЗЫВАНИЯ

[MANZINI, WEXLER 1987]

Теория параметризации областей связывания предлагает, что не существует какой-либо одной универсальной области связывания для всех рефлексивов (как в одном, так и в разных языках). Вместо этого, каждому конкретному рефлексиву данного языка ставится в соответствие определенная область связывания. Например, область связывания английского **himself** – простое предложение (ср. стандартное условие А). В русском языке разные рефлексивы имеют разные области связывания. Так, область связывания рефлексива **сам себя** – простое предложение, так же как и для **himself** – ср. примеры (24а–в).

(24) а. Иван₁ всегда критикует сам себя₁

б. Иван₁ знает, [что Петр₂ всегда критикует его₁/*сам себя₁/сам себя₂]

в. Иван₁ не разрешает Петру₂ [инф 0₂ ставить *самому над собой₁/самому над собой₂ эксперименты]

Рефлексив **себя** имеет более широкую область связывания, т.к. **себя**, находящееся в инфинитиве, может иметь антецедентом подлежащее главного предложения [Rapport 1986] – ср. примеры (8а–б) и пример (25), в котором **себя** может относиться как к нулевому подлежащему инфинитива, так и к подлежащему главного предложения¹. Из примера (24в) видно, что **сам себя** не может встречаться в конфигурации, аналогичной (25).

(8) а. Иван₁ всегда критикует себя₁

б. Иван₁ знает, [что Петр₂ всегда критикует его₁/*себя₁/себя₂]

(25) в. Иван₁ не разрешает Петру₂ [инф 0₂ ставить над собой₁/над собой₂ эксперименты]

Исходя из (8а–б) и (25), область связывания **себя** – не простое предложение, а наименьшая составляющая, являющаяся финитной; эта составляющая может, кроме финитного простого предложения, включать любое число нефинитных (инфинитивных) предложений. Поэтому в (25) область связывания **себя** – все предложение, и антецедентом **себя** может быть не только подлежащее инфинитива, но и подлежащее главного предложения; в (8б) область связывания **себя** – придаточное предложение (т.к. оно финитное), и подлежащее главного предложения не может быть антецедентом **себя**.

Исходя из теории параметризации, область связывания корейского **saki** – все предложение, сколько бы вложенных предложений оно ни содержало и каких: антецедентом **saki** может быть подлежащее главного предложения, даже если **saki** находится в финитном придаточном предложении [ср. примеры (10), (15)].

Таким образом, теория параметризации сохраняет Условие А стандартной теории связывания, но модифицирует его следующим образом:

¹ Я использую анализ инфинитивного оборота, принятый в генеративной грамматике, согласно которому такой оборот – это не глагольная группа, а самостоятельное предложение с нулевым подлежащим. Основанием для такого анализа в русском языке являются факты падежного согласования предикатов **один, сам** в инфинитивном обороте.

(26) Параметризованное условие А: Анафор должен быть связан в пределах своей области связывания; при этом каждому анафору/рефлексиву ставится в соответствие некоторая область связывания

Основное достоинство теории параметризации следующее: сохраняя синтаксический подход к дистрибуции рефлексивов (используя Условие А), данная теория дескриптивно адекватна. т.е. адекватно и эксплицитно (путем задания индивидуальных областей связывания) отражает дистрибуцию различных рефлексивов в разных языках.

К недостаткам теории параметризации относятся следующие:

1) Эта теория не пытается ответить на вопрос, почему антецедентом нелокальных местоимений обычно является подлежащее. При задании области связывания определенного рефлексива необходимо указывать, должен ли его антецедент быть подлежащим или нет. Например, антецедент **himself**, который в нормальном случае должен быть локальным, может быть и подлежащим, и дополнением [ср. (27)]; антецедентом корейского **saki**, которое может быть нелокальным, в стандартном случае является подлежащее [ср. примеры (14)–(15)].

(27) Ann₁ told Mary₂ about herself_{1/2}

«Анна₁ рассказала Марии₂ о себе_{1/ней2} (букв. "о себе_{1/2}")»

2) Данная теория, в отличие от теории перемещения вершин, не пытается связать морфологическую структуру рефлексива (одно/биморфемность) с тем, может ли этот рефлексив быть нелокальным (см. п. 3.1).

3) Теория параметризации, как и теория перемещения вершин, не объясняет случаев, когда антецедентом нелокального рефлексива является дополнение [примеры (18)–(19)], или антецедент относится к другому предложению [примеры (20)–(21)].

Таким образом, теория параметризации областей связывания дает четкую картину дистрибуции разных рефлексивов в различных языках. Однако при задании области связывания каждого конкретного рефлексива требуется дополнительная информация об антецеденте этого рефлексива (например, обязательно ли антецедент – это подлежащее). Также, не делается попыток систематически связать какие-либо синтаксические/морфологические свойства рефлексивов с их локальностью/нелокальностью и с тем, какие области связывания у них могут быть.

Обе рассмотренные теории принадлежат к традиции генеративной грамматики и предлагают описывать дистрибуцию антецедентов и рефлексивов в синтаксических терминах. В российских исследованиях второй из рассмотренных подходов отразился, в частности, в работе [Тестелец, Толдова 1998], авторы которой предлагают классификацию рефлексивов в кавказских языках в терминах областей связывания².

**4. ТЕОРИЯ ЛОГОФОРИЧЕСКИХ МЕСТОИМЕНЕЙ [SELLS 1987]
В ПРИЛОЖЕНИИ К НЕЛОКАЛЬНЫМ РЕФЛЕКСИВАМ**

В традиции функциональной грамматики описание анафорических связей рефлексивов прежде всего связано с понятием **фокуса эмпатии** ([Kuno 1972a; 1972b]; в российской традиции работы А.А. Кибрика, А.Е. Кибрика, С.Ю. Толдовой, Е.А. Лютиковой). Согласно этим работам, фокус эмпатии – актант глагола, имеющий определенный набор приоритетных характеристик (агентивная семантическая роль, одушевленность, тематичность), которые делают данный актант наиболее дискурсивно значимым актантом. Связь рефлексивов с их антецедентом устанавливается не синтаксическими, а дискурсивными методами, а именно рефлексив относится к фокусу эмпатии данного предложения.

² В работе [Тестелец, Толдова] систематически учитываются морфологические и другие свойства рефлексивов, влияющие на их области связывания; авторы кроме теории параметризации, используют альтернативную теорию [Reinhart, Reuland 1993], которая не рассматривается в настоящей статье.

Куно и другие исследователи отмечают, что в нормальном случае фокусом эмпатии предложения является подлежащее/топик; более того, в некоторых языках (например, русском) подлежащее является грамматикализованным фокусом эмпатии. Исходя из данных предпосылок, можно объяснить ориентацию на подлежащее/топик как локальных, так и нелокальных рефлексивов. Если предположить, что в сложном предложении может быть несколько фокусов эмпатии (подлежащие/топики главного и вставленных предложений), то получают объяснение случаи, когда рефлексив может относиться как к вставленному подлежащему, так и к подлежащему главного предложения [корейское **caki** в (9), (15); ит. **proprio** и исл. **sig** в (11)–(12)].

Таким образом, теория фокуса эмпатии как антецедента рефлексивов является альтернативой к рассмотренным в п. 3 формальным теориям. Тем не менее ни одна из этих трех теорий не объясняет ни случаев, когда рефлексив относится к дополнению, ни случаев, когда у рефлексива вообще нет антецедента в том же предложении. Данные примеры повторены ниже:

- (17) **Caki₁-uy sengkong-un Chelswu₁-lul hayngpokha-0-nta**
себя₁.ГЕН успех. ТОП Чольсу₁.АКК делать-счастливым.НАСТ.ИЗЪЯВ
"Свой успех делает Чольсу счастливым"
- (18) [**Swunmi₁-ka caki_{1/2}-lul miweha-0-nta-nun**] **kes-i**
[Сунми₁.НОМ себя_{1/2}.АКК ненавидеть.НАСТ.ИЗЪЯВ.РЕЛ] вещь-НОМ
Hakswu₂-lul sulpukeyha-0-nta
Хаксу₂.АКК огорчать.НАСТ.ИЗЪЯВ
"То, что Сунми₁ ненавидит себя_{1/2}/его₂, огорчает Хаксу₂"
- (19) **Chelswu₁-nun Hakswu₂-eykeyse [Swunmi₃-ka**
Чольсу₁. ТОП Хаксу₂.НАПР/ОТ [Сунми₃.НОМ
caki_{1/2/3}-lul miweha-0-nta-ko] **tul-ess-ta**
себя_{1/2/3}.АКК ненавидеть.НАСТ.ИЗЪЯВ.ЧТО] услышать.ПРОШ.ИЗЪЯВ
"Чольсу услышал от Хаксу, что Сунми ненавидит его(Чольсу)/его(Хаксу)/себя"
- (20) **There were hours when Mrs. Wix₁ sighingly testified to the scruples she₁ surmounted (...)** **If the child couldn't be worse it was a comfort to herself₁ that she₁ was bad...** [Zribi–Hertz 1989: 707]
"Бывали часы, когда Миссис Викс₁ со вздохом признавалась в сомнениях, которые она₁ преодолела (...) Если ребенок не мог быть хуже, для нее₁ (букв. **себя₁**) было утешением то, что она₁ была плохая..."
- (21) **Pierre₁-nun Marie₂-lul hyosangka-ess-ta. Kunye₂-nun**
Пьер₁. ТОП Мария₂.АКК думать.ПРОШ.ИЗЪЯВ. Она₂. ТОП
[caki₁-ka akhi-ko salangha-ten] sionye-i-ess-ta [Sells 1987]
[себя₁.НОМ боготворить.И любить.РЕЛ] девушка.БЫТЬ.ПРОШ.ИЗЪЯВ
"Пьер₁ думал о Марии₂. Она₂ была девушкой, которую он₁ (букв. **себя₁**) боготворил и любил"

В примерах (17)–(19) дополнение, которое является антецедентом **caki**, не может быть фокусом эмпатии, т.к. фокусом эмпатии во всех трех случаях является подлежащее/топик: **sengkong** "успех", [**Swunmi₁-ka caki_{1/2}-lul miweha-0-nta-nun**] **kesi-i** "то, что Сунми себя ненавидит", **Chelswu**. Значит, антецедентом рефлексива при определенных обстоятельствах может быть не только фокус эмпатии.

[Sells 1987]³ обращает внимание на сходство нелокальных рефлексивов с **логофорическими** местоимениями, которые употребляются в косвенной речи вместо ней-

³ Ср. также статью [Reinhart, Reuland 1991], в которой высказываются сходные идеи.

тральных местоимений, если их антецедент – автор этой косвенной речи. Две парадигмы местоимений (нейтральные и логофорические) имеются, например, в языках Африки. Употребление логофорических местоимений схематически представлено в предложениях (28а–б) [Иван и он в (28а–б) кореферентны]:

- (28) а. Иван ушел потому, что он_{нейтр} устал
б. Иван сказал, что он_{логоф} устал

Иван в (28б), но не в (28а), является автором речи, переданной придаточным предложением; этим и обусловлено употребление двух разных классов местоимений при референции к **Ивану**.

Таким образом, прототипическое логофорическое местоимение относится к субъекту речи. Селлз полагает, что нелокальные рефлексивы могут относиться не только к фокусу эмпатии, но и к субъекту речи, и при этом они скорее являются логофорическими местоимениями, а не рефлексивами⁴.

Данный тезис, во-первых, позволяет объяснить случаи, когда антецедент нелокального местоимения – дополнение со значением "субъект речи" – пример (19). Во-вторых, тезис Селлза позволяет объяснить случаи типа (20)–(21), в которых рефлексив вообще не имеет антецедента в том же предложении. В данных примерах во втором предложении, в котором содержится рефлексив (**himself, caki**), передается внутренняя речь субъекта, который упоминается в первом предложении (**Mrs. Wix, Pierre**), и который является антецедентом рефлексива.

В-третьих, в прототипических случаях употребления нелокальных рефлексивов (10), (15) (повторенных ниже) подлежащее/топик главного предложения является субъектом (внутренней) речи, выраженной придаточным предложением, в котором находится рефлексив. Это позволяет сделать предположение, что в (10), (15) нелокальные местоимения относятся к подлежащему/топику главного предложения как логофорические местоимения к субъекту речи (а не как к фокусу эмпатии).

- (10) **John₁-un [Bill₁-ka caki_{1/1}-lul miweha-nta]** (кор.) [Jayaseelan 1996]

Иван₁.ТОП [Билл₁.НОМ себя_{1/1}.АКК ненавидеть.ИЗЪЯВ]

ko sayngkakha-0-nta

что думать.НАСТ.ИЗЪЯВ

"Иван думает, что Билл ненавидит себя/его"

- (15) **Chelswu₁-nun Swunmi₂-eykey [Hakswu₃-ka caki_{1/*2/3}-lul [кор.]**

Чольсу₁.ТОП Сунми₂.НАПР/К [Хаксу₃.НОМ себя_{1/*2/3}.АКК

cohaha-0-nta-ko] seltukhay-ss-ta

любить.НАСТ.ИЗЪЯВ.ЧТО] убедить.ПРОШ.ИЗЪЯВ

"Чольсу убедил Сунми, что Хаксу любит его(Чольсу)/#ее(Сунми)/себя"

Селлз также предлагает, что антецедентом нелокального рефлексива может быть, помимо фокуса эмпатии и субъекта речи, субъект психологического состояния. Это объясняет то, что антецедентом **caki** в примерах (17)–(18) является дополнение: это дополнение обозначает субъекта психологического состояния. Также получает объяснение пример (б), повторенный ниже, в котором Чольсу (в притяжательной форме) – это субъект психологического состояния раздражения.

- (б) **Chelswu₁-uy sengcil-un caki₁-lul chocohakeyha-0-nta**

Чольсу₁.ГЕН характер-ТОП себя₁-АКК раздражать-НАСТ-ИЗЪЯВ

"Характер Чольсу раздражает его"

⁴ Попытка исследования логофорических местоимений в кавказских языках предпринята в работе [Толдова 1999].

Важно отметить роль к-командования в отношениях между нелокальным рефлексивом и его антецедентом. Если антецедент нелокального рефлексива – фокус эмпатии, то антецедент в нормальном случае к-командует рефлексивом. Это обусловлено тем, что в синтаксической структуре предложения подлежащее/топик (которое и является фокусом эмпатии) находится в иерархически более высокой позиции (SpecIP), чем дополнения, которые располагаются внутри VP [см. схемы (4'), (5'), (6') и особенно (23)]. Однако если антецедент рефлексива – субъект (внутренней) речи или психологического состояния, то требование, чтобы антецедент к-командовал рефлексивом, отсутствует. Такой антецедент может быть не только подлежащим/топиком, но и дополнением, и в последнем случае антецедент не может командовать ни одним узлом за пределами VP, в которой он содержится (т.е. не может к-командовать рефлексивом). Так, в примерах (17)–(19) и (6) антецедент не к-командует *saki* [ср. схему (6')].

Если же антецедент находится не в том же самом предложении, что рефлексив [примеры (20)–(21)], то о к-командовании не может быть речи, так как это отношение определено только между узлами одного синтаксического дерева (а такое дерево соответствует единичному предложению, а не тексту).

Таким образом, в соответствии с теорией Селлза [Sells 1987], нелокальные рефлексивы могут относиться к фокусу эмпатии, субъекту психологического состояния (в любой грамматической функции) или к субъекту речи (в любой грамматической функции). Последний тип антецедента выявляет сходство нелокальных рефлексивов с логофорическими местоимениями.

Важно сделать следующее замечание: Селлз считает фокус эмпатии, субъект психологического состояния и субъект речи дискурсивными ролями (в контексте своего дискурсивного подхода к анафоре); он не рассматривает возможность интерпретации субъекта психологического состояния и субъекта речи в качестве выделенных семантических ролей [как предлагает З.М. Шалапина (устное замечание)]. С нашей точки зрения, трактовка данных ролей как дискурсивных более оправдана, чем семантический подход к этим ролям. Во-первых, функции семантической роли обычно не распространяются за пределы предложения, а нелокальная анафора, как было показано выше, может распространяться за пределы предложения (то есть связь логофорических местоимений с их антецедентами действует в пределах целого контекста). Во-вторых, субъект психологического состояния и субъект речи – прототипические антецеденты логофорического местоимения наряду с фокусом эмпатии. Фокус эмпатии не является семантической ролью, но относится к категориям дискурса. Для единообразного описания всех трех прототипических антецедентов логофорического местоимения целесообразно трактовать все три типа антецедента как дискурсивные категории.

Остается следующий вопрос: можно ли распространить вывод, сделанный выше относительно антецедента нелокальных местоимений, на антецедент локальных рефлексивов? То есть, можно ли утверждать, что антецедентом локальных рефлексивов может быть не только фокус эмпатии, но также и субъект речи/психологического состояния, не являющийся фокусом эмпатии?

Хотя примеры (6) и (17) из корейского и (16) из русского (в которых антецедент *себя/saki* – это не подлежащее/топик, не к-командующий *себя/saki* и являющийся субъектом психологического состояния) могли бы быть основанием для положительного ответа на этот вопрос, однако наш ответ является отрицательным по следующей причине.

Если антецедентом рефлексива может быть субъект речи/психологического состояния (и, кроме этого семантического отношения, не требуется никаких других, т.е. синтаксических отношений между рефлексивом и антецедентом), то на рефлексив не может накладываться ограничение локальности. Это связано с тем, что отношение локальности между рефлексивом и антецедентом (их нахождение в одном и том же простом предложении) является синтаксическим. Например, если рефлексив не будет

иметь антецедента в том же самом предложении [как в примерах (20)–(21)], такой рефлексив уже не может считаться локальным. Поэтому утверждение, что антецедент локального рефлексива может быть субъектом речи/психического состояния без каких-либо дополнительных синтаксических условий, приводит к логическому противоречию.

Таким образом, сформулированные выше условия, применимые к антецеденту не-локального рефлексива, не могут быть распространены на антецедент локального рефлексива без дополнительных ограничений и изменений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Падучева Е.В.* 1985 – Возвратные местоимения // Высказывание и его соотносительность с действительностью. М., 1985.
- Рудницкая Е.Л.* 1998 – Возвратное местоимение *себя* в инфинитивных конструкциях в русском языке // Труды Международного семинара. Диалог'98 по компьютерной лингвистике и ее приложениям / Под ред. А.С. Нариньяни. Т. 1. Казань, 1998.
- Тестелец Я.Г., Толдова С.Ю.* 1998 – Рефлексивные местоимения в дагестанских языках и типология рефлексива // ВЯ. 1998. № 4.
- Толдова С.Ю.* 1999 – Особенности местоименной референции при передаче чужой речи (между дейксисом и анафорой). М., 1999.
- Anderson S.R.* 1986 – The typology of anaphoric dependencies: Icelandic (and other) reflexives // L. Hellan, K. Koch (Eds.). Topics in Scandinavian syntax. Dordrecht, 1986.
- Chomsky N.* 1981 – Lectures on government and binding. Dordrecht, 1981.
- Franks S., Progovac L.* 1992 – Relativized SUBJECT for reflexives // Proceedings of the North-Eastern linguistics society meeting 22. 1992.
- Giorgi A.* 1984 – Toward a theory of long distance anaphors: a GB Approach // The linguistic review. 1983–1984. № 3.
- Huang C.-T.J., Tang C.-C.J.* 1991 – The local nature of the long-distance reflexives in Chinese // J. Koster and E. Reuland (Eds.) Long-distance anaphora. Cambridge (Mass.), 1991.
- Jayaseelan K.A.* 1996 – Anaphors as pronouns // Studia Linguistica. 1996.
- Kuno S.* 1972a – Pronominalization, reflexivization and direct discourse // Linguistic Inquiry, 1972.
- Kuno S.* 1972b – Functional sentence perspective. A case study from Japanese and English // Linguistic Inquiry. 1972. № 3.
- Manzini M.R., Wexler K.* 1987 – Parameters, binding theory, and learnability // Linguistic Inquiry. 1987.
- Pica P.* 1987 – On the nature of the reflexivization cycle // J. McDonough, B. Plunkett (Eds.). Proceedings of NELS, 1987. 17.
- Pica P.* 1991 – On the interaction between antecedent-government and binding: The Case of long-distance reflexivization // J. Koster and E. Reuland (Eds.) Long-distance anaphor. Cambridge (Mass.), 1991.
- Rappoport G.C.* 1986 – On anaphor binding in Russian // Natural language and linguistic theory. 1986. № 4.
- Reinhart T., Reuland E.* 1991 – Anaphors and logophors: An argument structure perspective // J. Koster and E. Reuland (Eds.), Long-distance Anaphora. Cambridge (Mass.), 1991.
- Reinhart T., Reuland E.* 1993 – Reflexivity // Linguistic inquiry. 1993. 24.
- Sells P.* 1987 – Aspects of logophoricity // Linguistic Inquiry. 1987. 18.
- Thráinsson H.* 1991 – Long-distance reflexives and the typology of NP-s // J. Koster and E. Reuland (Eds.) Long-distance anaphora. Cambridge (Mass.), 1991.
- Zribi-Hertz A.* 1989 – Anaphor binding and narrative point of view: English Reflexive Pronouns in sentence and discourse // Language. 1989. 65.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2001 г. О.А. РАДЧЕНКО

ЛИНГВОФИЛОСОФСКИЕ ОПЫТЫ В. ФОН ГУМБОЛЬДТА
И ПОСТГУМБОЛЬДТИАНСТВО

Интерпретация идей барона Фридриха Вильгельма Кристиана Карла Фердинанда фон Гумбольдта (1767–1835) уже не раз выступала в языковедении в качестве *credo* как отдельных исследователей, так и целых направлений, имеющих ныне давние исследовательские традиции. Каждый из интерпретаторов Гумбольдта, как свидетельствует лингвистическая историография, исходил при этом из собственной непогрешимости и правоты в части понимания того, что Гумбольдт заложил в своей лингвофилософской криптограмме и что с очень большим допущением можно назвать целостной языковой концепцией, а тем более ставить во главу "гумбольдтианства". Тщетность усилий по доказательству того, что некто открыл "настоящего" Гумбольдта, лишь доказывает явную несостоятельность лингвофилософской герменевтики в данном конкретном случае, которая подкрепляется еще и тем, что концепция Гумбольдта никогда не выступала в своей целостности в виде "доминирующей теории" (в терминологии В.З. Демьянкова) [Демьянков 1995], а скорее являлась "мерцающей теорией". Поэтому в качестве отправной гипотезы при изложении идей Гумбольдта следовало бы избрать такую, которая позволила бы избежать излишней оценочности в дальнейшем анализе интерпретаций этих идей. Правда, сама тема конкретного сопоставительного исследования, как правило, предопределяет пристрастность изложения; так, исследователь неогумбольдтианства поневоле рисует себе "неогумбольдтианского" Гумбольдта, не всегда отдавая себе вполне отчет в том, что и этот "Гумбольдт" – лишь гипотетический конструкт, и выдвигая необоснованные претензии на его окончательную дешифровку. Но возможно ли вообще окончательное разрешение философских проблем? Вступив на почву философии языка в роли своего рода "кабинетного революционера", Гумбольдт сам избрал судьбу для своей концепции: возможно, она никогда не будет детально реконструирована с претензией на истинность. Отгалкиваясь от такого *герменевтического пессимизма*, следует, очевидно, признать концепцию Гумбольдта в силу всех субъективных аспектов ее формирования одной из тайн языковедения, своего рода произведением лингвофилософского авангардизма, скрывающим в себе понятную лишь его автору (и потому непостижимую) сверхидею, и исходить из принципиального многообразия ее возможных интерпретаций, принимая одну из интерпретаций для достижения поставленных исследовательских целей за "квази-истинную".

Не вызывает, однако, сомнения то, что лингвофилософские опыты В. фон Гумбольдта представляют собой важный шаг за рамки умозрительного обоснования необходимости "сравнительной физиогномики" народов, предложенного Й.Г. Гердером (1744–1803). Главной целью своих усилий Гумбольдт признает содействие достижению всеобщей задачи человечества, "дабы человечество достигло ясности относительно самого себя и своего отношения ко всему зримому и незримому вокруг себя и над собой" [Humboldt 1907g: 6].

Один из наиболее известных последователей Гумбольдта Й.Л. Вайсгербер (1899–1985) так оценивает эти лингвофилософские опыты: "Как раз-таки для Гумбольдта, который с удивительной неутомимостью вработывался во все новые языки, было ошеломляющим познание того, что каждый язык в его содержаниях обладает собственной картиной мира, присущим ему космосом понятий и мыслительных форм. То, что завораживает Гумбольдта в языке, – это именно эта его внутренняя форма. И не существует более надежного средства осознать внутреннюю форму своего собственного языка, кроме как перенестись полностью в мир другого языка" [Weisgerber 1931: 447]. Действительно, открытие феномена картины мира в различном его терминологическом оформлении стало основным теоретическим достижением Гумбольдта, позволяющим отнести его к отцам современной философии языка.

Обратимся вначале к замечанию Гумбольдта, вполне ясно характеризующему его видение проблемы взаимоотношений между языком и мышлением и свидетельствующему о его негативном отношении к господствовавшему в его время логическому универсализму в духе Г. Гроция (1583–1645): "Мышление не просто зависит от языка вообще, а вплоть до определенной степени от каждого конкретного языка. Правда, ранее уже пытались заменить слова различных языков имеющими универсальный характер знаками, наподобие тех линий, чисел и счета букв, которыми располагает математика. Однако же тем самым можно исчерпать лишь небольшое количество мыслительных содержаний, ибо эти знаки по своей природе подходят лишь к тем понятиям, кои могут быть созданы путем простой конструкции либо любым иным рациональным путем. Но где надо перештамповать материал внутреннего восприятия и ощущения в понятия, там важна индивидуальная способность человека к представлениям, от коей неотделим его язык. Все попытки поместить в центр всех различных языков универсальные знаки для глаза и уха суть лишь укороченные методы перевода, и было бы глупым наваждением воображать, что тем самым можно было бы выйти за пределы – я не говорю, языка вообще, но лишь – определенного и ограниченного круга своего собственного языка" [Humboldt 1963a: 16]. Тем самым Гумбольдт принципиально отстаивает то, что позднее получило наименование *идиоэтничности* конкретного языка, т.е. уникальности понятийного строя, обусловленной уникальностью гносеологического опыта каждого языкового коллектива.

Любопытно, что Гумбольдт иногда ограничивает свой идиоэтизм тем, что постулирует существование некоего "средоточия всех языков", ибо и в грамматике, и в лексике всех языков "существует некое количество предметов, которые могут быть определены а priori и отделены ото всех условий одного особенного языка" [Humboldt 1963a: 16]. Критическому взгляду может даже показаться, что Гумбольдт не во всех работах признавал за языком исключительную идиоэтничность, ссылаясь в своих размышлениях на единство человеческой природы. Из нее "с неизбежностью должно было бы происходить единообразие языков": "В этом смысле существует лишь Один язык, точно так же, как есть лишь Один род человеческий, и всякое различие меж расами не устраняет ни понятие человечества, ни возможность регулярного размножения. Это покажется еще более ясным, если подумать о том, что и воздействующие на человека и тем самым на его язык условия окружающей природы по большому счету те же самые, и средства, которыми пользуются все языки как звуками, заключены не в слишком широкие границы... Во всех языках поэтому встречается единообразие, и была бы тщетной надежда отыскать в каком-либо из языков что-либо совершенно новое" [Humboldt 1906c: 393–394]. Поэтому Гумбольдт считает главным в исследовании языков "познание характерного в единообразии" [Humboldt 1906c: 394].

Но там же он отмечает: "Хотя индивидуальный звук языка является наиболее реальным явлением, однако же не следует искать индивидуальность языка просто в его звуке, а единообразие – в идеальном. Индивидуальность проявляется, напротив, во всем, и она одна и та же везде – от алфавита до представления о мире" [Humboldt 1906c: 395]. Гумбольдт даже помещает истинную индивидуальность в конкретного

говорящего [Humboldt 1906с: 396], а разницу между языками наций считает количественной ("Es ist überall nur ein Mehr oder Weniger" [Humboldt 1906с: 396]). Он заявляет: "Язык происходит, несомненно, с внутренней неизбежностью из человека, в языке нет ничего случайного, ничего произвольного, конкретный народ говорит так, как думает, и думает так, поскольку он так говорит, и то, что он так думает и говорит, в существенной степени коренится в целом его духовных и физических задатках, и вновь перешло в них. Но не извлеченное, всеобщее понятие человеческого духа и человеческого мышления является причиной языков, а целая, полная и живая народная индивидуальность, и ее можно изучать не как таковую, а именно на ее продукте – языке. Язык обладает, помимо этого, внешним, независимым от конкретного говорящего бытием, и это распространяется на его грамматический строй" [Humboldt 1906с: 449–450].

Позднее Гумбольдт более определенно высказывался в поддержку идиоэтничности языков: "То предствление, что различные языки обозначают другими словами одну и ту же массу независимо от них существующих предметов и понятий и присоединяют их друг к другу по другим законам, которые, правда, не имеют особой важности, помимо их влияния на понимание, кажется человеку, прежде чем он углубится в размышления о языке, слишком естественным, чтобы он легко смог избавиться от него. Он с пренебрежением относится к тому, что проявляется в конкретном столь незначительно, представляется обычным грамматическим ухищрением, забывая о том, что накапливающаяся масса этих единичных явлений все же несознательно для него самого ограничивает его и управляет им... Различия между языками суть для него различия в звуках, которые он применительно к предметам рассматривает просто как средства для того, чтобы добраться до них. Эта точка зрения пагубна для изучения языков, препятствует распространению знаний о языке, а уже имеющиеся делает мертвыми и бесплодными" [Humboldt 1906а: 119].

Наиболее веским аргументом против признания лишь внешних различий между языками Гумбольдт считает "то убеждение, что индивидуальная способность к языку (различия между языками земли, взятые с точки зрения их созидания) – это проявляющая себя как язык, определяющая индивидуальный характер наций сила как таковая" [Humboldt 1906а: 128]. Ведь все же "существует, напротив, гораздо большее количество понятий и также грамматических особенностей, которые столь неразрывно вплетены в индивидуальность своего языка, что они не могут быть сохранены висящими на одной лишь нити внутреннего ощущения между всеми языками и не могут быть переведены на другой язык без их преобразования. Весьма значительная часть содержания всякого языка находится поэтому в столь несомненной зависимости от этого языка, что языковое выражение не может оставаться для этого содержания безразличным" [Humboldt 1963а: 16–17]. В другой работе он рассматривает разные языки как "органы своеобразных способов мышления и восприятия наций", полагая, что "большое количество предметов создаются лишь обозначающими их словами и существуют только в них" [Humboldt 1907d: 640]. В этом заключается смысл того, что человеческий разум (*Gemüth*) есть колыбель, родина и жилище языка [Humboldt 1907d: 643], так что, "поскольку характер языка пристаёт к каждому выражению, каждой комбинации выражений, то и вся масса представлений приобретает цвет, присущий этому характеру" [Humboldt 1963а: 18].

Язык, не будучи, по мысли Гумбольдта, свободным продуктом конкретного человека, а принадлежа всей нации, выступает в качестве переходного пункта от субъективности к объективности, от всегда ограниченной индивидуальности к охватывающему одновременно все в себе бытию, поскольку именно в языке "смешиваются, очищаются и преобразуются способ представления всех возрастов, полов, сословий, различий в характерах и интеллекте одного и того же этноса, а затем, вследствие перехода слов из других языков, – различных наций, и, наконец, в ходе все более тесных контактов, – всего рода человеческого" [Humboldt 1963а: 18].

Эти рассуждения позволяют Гумбольдту сформулировать свое знаменитое *гносео-*

логическое кредо: "Вследствие взаимозависимости мышления и слова становится ясно, что языки, собственно, суть средства не изображения уже познанной истины, а намно-го более того. – открытия еще дотоле непознанного. Различие между ними заклю-чается не в звуках и знаках, а в мировидении (Weltansicht) как таковом... Сумма позна-ваемого простирается как подлежащая обработке человеческим духом нива между всеми языками и независимо от них, посредине; человек способен приблизиться к этой объективной сфере не иначе, как сообразно своему способу познания и восприятия, то есть субъективным путем". так что "объективная истина порождается всей силой субъективной индивидуальности. Это возможно лишь с помощью и посредством языка" [Humboldt 1963a: 20].

В результате Гумбольдт приходит к необходимости рассматривать языки "все менее как произвольные знаки", но исследовать их "более глубоко проникающим в духовную жизнь способом, в своеобразии их строя, искать вспомогательные средства исследования и познания истины, формирования умонастроения (Gesinnung) и харак-тера" [Humboldt 1963a: 24]. Он определенно заявляет, что познание и язык так воз-действуют поочередно друг на друга, что если речь идет о влиянии на одно, то нельзя из него исключать и другое [Humboldt 1960d: 33]. В связи с таким пониманием роли языка становится понятно и неприятие Гумбольдтом принижения языка до обычного средства общения: "Язык же не является просто средством общения, он выражение духа и мировидения говорящего, общение – незаменимое вспомогательное средство развития языка, однако далеко не единственная цель, на которую он работает и которая, напротив, обретает свою конечную точку все же в конкретном человеке, в той степени, в какой его можно отделить от человечества" [Humboldt 1907g: 23]. Гумбольдт еще более явно возносит язык над говорением, из которого "созидается язык, сокровищница слов и система правил, и вырастает, струясь по чреде тысяче-летий, в силу, в известном смысле независимую от сиюминутного говорящего, данного поколения, нации, а в конечном счете – и человечества" [Humboldt 1906c: 388]. Роль языка гораздо более существенна: "Совершенство строя языков предписывает им тот неизменный закон, что Все, что переносится в них, слагая с себя свою изначальную форму, должно принимать форму этих языков. Лишь так удастся преобразование мира в язык и осуществится символизация языка посредством его грамматического строя" [Humboldt 1907g: 28].

Язык выступает у Гумбольдта в качестве важнейшего антропологического фак-тора: "Человек думает, чувствует и живет только в языке и должен быть вначале сформирован им, чтобы понимать даже не воздействующее через язык искусство. Но он чувствует и знает, что язык для него – лишь средство, что вне языка существует некая незримая область, в которой он лишь с помощью языка стремится освоиться" [Humboldt 1963b: 77]. Классическая дефиниция Гумбольдта определяет это еще более ясно: "Язык не есть обозначение сформированной независимо от него мысли, но он сам есть орган, формирующий мысль. Интеллектуальная деятельность, вполне духовная, вполне внутренняя и в известной мере проходящая, не оставляя следов, становится посредством звука в речи внешней и чувственно воспринимаемой, а при помощи письма приобретает непреходящее тело... Интеллектуальная деятельность и язык суть поэтому одно и то же и неразрывно связаны друг с другом; так что даже нельзя называть первую созидающей, а второй – созданным" [Humboldt 1906c: 374–375]. Гумбольдт идет даже еще дальше, постулируя и зависимость конкретного носителя языка от его "владения": "Человек воспринимает главным образом предметы так, как их ему преподносит язык, и поскольку ощущения и поступки в нем зависят от его представлений, он воспринимает предметы даже исключительно только так. Путем того же акта, в силу которого человек выплетает язык из себя, он влетает себя в этот язык, и всякий язык описывает вокруг нации, к которой он относится, круг, вый-ти за пределы коего он может лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Изучение чужого языка, правильно применяемое, является поэтому приобретением новой точки зрения в имевшемся до того мировидении, ибо всякий язык

содержит всю ткань понятий и способов представления одной части человечества" [Humboldt 1906с: 387–388].

Язык формирует себе такое "своеобразное бытие", которое "может, правда, обрести значимость (Geltung) только в повторяющихся конкретных актах мышления, но в своей целостности не зависит от них. Оба изложенных здесь противоречащих друг другу воззрения, что язык чужд душе и принадлежит ей, не зависит от нее и зависим от нее, действительно соединяются в языке и составляют своеобразие его сущности" [Humboldt 1906с: 388]. Этим рассуждением так недостает опоры на гораздо более поздние прекрасные характеристики немецкого философа Н. Гартмана (1882–1950), которые он дал бытию объективного духа и которые позволили Й.Л. Вайсгерберу говорить об особой "функциональной реальности" языка, его бытию поверх языкового сообщества, с одной стороны, конечно, связанному с конкретной языковой личностью, но с другой, обнаруживающему более длительные экзистенциальные циклы, чем краткая жизнь человека.

Сама ценность языков определяется, по Гумбольдту, их способностью сохранять свой исконный словарный запас как главное духовное наследие предков, сберегать исконную взаимосвязь между звуком и содержанием: "Там же, где оно (соответствие звуков содержаниям. – *О.Р.*) в оставшемся неизменным родном языке на протяжении столетий воздествует на ту же нацию, там повышает и усиливает оно влияние языка, в котором все направлено на то, чтобы посредством теснейшей связи звука и понятия сделать из слова собственную, парящую между человеком и миром, одновременно зависимую и независимую от них обоих сущность" [Humboldt 1906с: 417]. Примером такого языка он считал немецкий, и эта мысль впоследствии стала одной из аксиом философской концепции И.Г. Фихте (1762–1814).

Не забудем еще одну дефиницию Гумбольдта, касающуюся семиологических характеристик языка: "Языковые знаки суть непременно звуки, и по тайной аналогии, существующей между всеми способностями человека, оный должен был бы, как только он отчетливо осознал некий предмет как отдельный от него самого, немедленно издать звук, который должен был бы обозначить этот предмет" [Humboldt 1907а: 581]. По мнению Гумбольдта, произвольные знаки были изобретены не для того, чтобы удовлетворить внешнюю потребность в общении; но исходя из внутренней потребности быть человеком, то есть наблюдающим и мыслящим существом, было создано в слове не существовавшее до того в мыслях понятие, а из этого слова как результата законов человеческого мышления и восприятия развивались с необходимостью по аналогии с теми законами все новые и новые слова [Humboldt 1907b: 596]. В этой связи слово "является, правда, в той степени знаком, в какой оно используется для предмета или понятия, но по способу его формирования и его воздействия – это собственная и самостоятельная сущность, индивидуум, сумма всех слов, язык, – это мир, который расположен посередине между являющимся нам внешним миром и миром, действующим в нас" [Humboldt 1906d: 620].

Этот тезис Гумбольдта позднее превратился в важнейший неогумбольдтианский постулат о языке как промежуточном мире (Zwischenwelt) между познающим субъектом и объективно существующим вне его миром. Будучи таким промежуточным миром, язык предоставляет в распоряжение своего носителя уникальную коллекцию результатов конкретных познавательных актов, предпринимавшихся в течение столетий задолго до рождения этого носителя и манифестирующихся в понятийно детерминированных системах языковых знаков. Совокупность таких систем представляет "картину мира" данного языка и его носителей, особый "ментальный мир" данного языкового сообщества [Степанов 1994].

Слово являет собой "истинный индивидуум в языке", поскольку "оно содержит полностью все действие разума в языке, оно даже само есть форма, в которой дух вновь вычленяет из себя превращенный в свою субъективную объект как таковой" [Humboldt 1906с: 410]. В словарном запасе языка заключен "совокупный мыслительный материал нации", а само слово "разделяет всю вышеизложенную натуру языка,

обладает той же объективностью и субъективностью, той же властью над человеком и столь же подчинено его свободе, оно объединяет предметы в собственный идеальный мир, который замещает вообще в языке мир реального" [Humboldt 1906с: 411]. Слово "обозначает, строго говоря, всегда классы действительности, даже будучи именем собственным... Оно делает себя самого и тем самым содержащееся в нем понятие индивидуумом языка. Оно может взять понятие по этой причине лишь с одной определенной точки зрения, но не должно терять ничего из его содержания, и это достигается тем, что слово души дает импульс в соответствии с тремя главными отношениями (логической конструкцией, чувственной значимостью и его воздействием на эмоции. — *О.Р.*). посредством коих происходит полное, но строго с одной определенной стороны, формирование понятия. Тем самым возникают в равнозначных словах различных языков разные представления об одном и том же предмете, и это свойство слова вносит главный вклад в то, что каждый язык предлагает собственное мировидение" [Humboldt 1906с: 419–420]. Гумбольдт неоднократно подчеркивает, что слово "даже в случае с явлениями природы... обозначает их не вообще, а заложенное в языке видение таковых" [Humboldt 1906с: 436].

С этой точки зрения, представляется вполне логичным, что Гумбольдт признает символический характер, прежде всего, за понятием [Humboldt 1906с: 430]. С понятийной точки зрения он определяет и сущность языка: "Любой язык содержит в себе во всякий момент своего существования выражение всех понятий, которые только могут развиваться в нации. Далее, каждый язык в любой момент своей жизни точно соответствует взятому в тот момент мыслительному объему нации. Наконец, всякий язык в любом из своих состояний образует целое некоего мировидения, содержа в себе выражение для всех представлений, которые нация составляет себе о мире, и для всех ощущений, которые мир вызывает в ней" [Humboldt 1906с: 433]. Язык выступает как необходимый спутник (или, как говорит Гумбольдт, "комплемент") мышления, стремление возвысить внешние впечатления и еще темные внутренние ощущения до ясных понятий и соединить их для создания новых понятий [Humboldt 1961: 61]. В силу своего промежуточного характера язык должен принять одновременно "натуру" внешнего мира и человека и снять объективность первого и субъективность второго своей особой натурой.

Еще более ясна Гумбольдту взаимосвязь между языком и представлением: "Участие языка в представлениях не просто метафизическое, обуславливающее бытие понятия; он воздействует и на способ построения понятия и налагает на него свою печать. При всем объективном различии в понятии, язык воздействует на него свойственным ему характером и придает всей массе представлений связанный с языком единообразный облик (*Gestaltung*). Язык также играет главную роль в связывании мыслей во внутренней и внешней речи и определяет тем самым также способ сочетания идей, который опять-таки оказывает обратное воздействие на человека во всех направлениях. Способ действий различных языков при этом, со всей очевидностью, не тот же самый, и он не может быть решительно любым, ибо он таковым и не является, и меньше всего — в области интеллектуальной, где даже малейшее соприкосновение ощущается в вибрации всех частей" [Humboldt 1906а: 120]. Гумбольдт объясняет этот факт тем, что человек приходит в мир не с чистым духом, который лишь облекает готовые мысли в звуки, а как звучащее земное творение, из звуков которого, однако, развивается по их чудесной природе посредством пребывающей в своём кажущемся случайным сплетении системы все великое, чистое и духовное [Humboldt 1906а: 120]. Однако языки разделяют нации лишь для того, "чтобы вновь более тесно связать их еще более глубоким и прекрасным путем; они похожи в этом на моря, которые человек сначала с опаской объезжал вдоль берегов, а после превратил в пути, наиболее тесно связующие страны" [Humboldt 1906а: 124]. Многообразные возможности конкретного языка Гумбольдт видит в том, что язык "обозначает предметы, придает выражение ощущениям, обладает своей особенной системой звуков, своими аналогиями словообразования, своими грамматическими законами. При

помощи этой формы язык ведет нацию, одновременно обволакивая и ограничивая ее; с помощью этой формы язык открывает нации мир, примешивая, однако, к цвету предметов и свой собственный цвет. Язык служит самым низким целям и потребностям человека, но поднимает незаметно, как бы само собой, все до всеобщего и высшего, и духовность может обеспечить себе значимость лишь посредством языка. Он выступает посредником между различиями индивидуальностей, закрепляет путем передачи из поколения в поколение и письмом то, что, отзвучав однажды, было бы безвозвратно потеряно, и хранит для нации, даже не осознающей этого со всей конкретностью, в каждое мгновение весь ее способ мышления и восприятия, всю массу добытого ею духовного, как ту почву, ступив на которую, ноги обретают крылья и становятся способными к новым порывам, как колею, коя, не сужая принудительно, именно ограничением восхитительно приумножает силу" [Humboldt 1906a: 125]. Именно в связи с такой ролью языка Гумбольдт использует термин *артикуляция*, который он, в русле аристотелевой традиции, трактует как особое понятийное членение высказываний и явлений, как господствующий надо всем языком принцип.

От признания теснейшей взаимосвязи мышления конкретной "нации" (т.е. языкового сообщества) и ее родного языка остается сделать только один шаг до постулирования *относительности познания*. В самой первой работе в русле философии языка – фрагменте "О законах развития человеческих сил" (1791) – Гумбольдт противопоставляет череде сменяющихся поколений "то единственно вечное и непреходящее, что переживает преходящий материал своего создателя, запас идей, который предшествующий мир передает последующему миру по наследству" [Humboldt 1929: 2]. При этом "наше знание действительного мира в силу собственного и чужого опыта обладает тем, приотстающим из природы наших душевных сил, недостатком, что мы превращаем индивидуальности действительности во всеобщность идей, и из-за сей двойной ошибки мы, правда, не достигаем большой правильности, но добиваемся большего согласия" [Humboldt 1929: 10]. За этим первым выводом об относительности познания следуют поиски медиума этой относительности; в оставшейся в рукописи работе "О мышлении и языке" (1795) он рассматривает мышление и язык в теснейшей взаимосвязи: «Сущность мышления состоит, таким образом, в том, чтобы производить членение в своем собственном процессе: посредством этого образовывать целое из известных порций своей деятельности; и противопоставлять эти образования в отдельности друг другу, а всех их вместе, в качестве объекта, – мыслящему субъекту... Никакое мышление, даже самое чистое, не может не происходить при помощи общих форм нашей чувственности; только в них мы способны осмысливать их и одновременно закреплять. Что же касается чувственного обозначения тех единиц, в которых концентрируются известные порции мышления, дабы быть противопоставленными как части иным частям большего целого, как объекты субъекту, то оно называется в широчайшем смысле слова "язык" (die Sprache)» [Humboldt 1907a: 581]. Слово понимается Гумбольдтом в этом кратком эскизе происхождения языка как "одновременно первое побуждение, которое адресуется человеком самому себе, чтобы внезапно остановиться, осмотреться и сориентироваться" [Humboldt 1907a: 582].

Дальнейший путь от гносеологической характеристики языка к идее сравнения языков Гумбольдт продельывает опосредованно – через *идею сравнительной антропологии*, своего рода варианта гердеровой "сравнительной физиогномики народов". Целью подобной сравнительной антропологии Гумбольдт считает сопоставление своеобразий (*Eigentümlichkeiten*) морального характера различных человеческих коллективов и их сравнительную оценку [Humboldt 1903a: 377]. Подобная антропология рассматривает "видовой характер" человека в целом как нечто известное, и "лишь ищет его индивидуальные различия, отделяет просто случайные и преходящие от существенных и длительных, исследует их характер, выявляет их первопричины, определяет их ценность, выясняет, как с ними следует обходиться, и предсказывает дальнейший ход их развития" [Humboldt 1903a: 377]. Прагматические цели подобной антропологии (в частности, в качестве наставления для идеального законодателя,

который "должен прежде изучить свою нацию, ее дух и ее умонастроение, ежели он желает оказывать на нее длительное влияние" [Humboldt 1903a: 378]), позволяют Гумбольдту прийти к заключению, что знание характера одной нации невозможно без исследования характера другой, с которой та находится в ближайших отношениях.

Однако не один лишь антропологический прагматизм подталкивает Гумбольдта к идее сравнения характера наций (своего рода *этнологической относительности*), тем более что он прекрасно отдаёт себе отчет в том, что подобные изыскания позволяют политике манипулировать явными слабостями и упущениями наций [Humboldt 1903a: 381]: индивидуальные характеры наций "должны быть так сформированы, чтобы они оставались своеобразными, не становясь односторонними, чтобы они не мешали исполнению всеобщих требований ко всеобщему классическому совершенству, не были своеобразными лишь вследствие ошибок и преувеличенных односторонностей, но напротив, не преступали своих сущностных границ и оставались сами по себе последовательными" [Humboldt 1903a: 379]. Именно эта внутренняя последовательность и внешняя конгруэнтность идеалу должны, по мысли Гумбольдта, в принципе помочь нациям действовать как сообщество (*gemeinschaftlich*). Для Гумбольдта это положение обладает необыкновенной ценностью, поскольку "лишь в сообществе человечество сможет достичь своей высочайшей вершины, и оно нуждается в объединении многих, дабы не просто создавать путем простого приумножения сил более крупные и длительно существующие произведения, но и преимущественно дабы посредством большего разнообразия задатков его природы обнаружить свое истинное богатство и подлинные размеры свои" [Humboldt 1903a: 379]. Подобное утверждение обнаруживает все качества социологического взгляда на человеческое бытие, особенно когда Гумбольдт заявляет: "Человек, взятый сам по себе, слаб и способен лишь на малое из-за своей кратковременной силы. Ему нужна высота, на которую он мог бы подняться; ряд, к которому он мог бы присоединиться. Это преимущество он получает непременно, чем больше он насаждает в себе дух своей нации, своего рода, своего времени" [Humboldt 1903a: 385].

Анализируя это высказывание Гумбольдта, немецкий философ Ф. Маутнер весьма тривиально порицает тот факт, что Гумбольдт прибегает к понятию *духа* (*Geist*), ибо это лишь "фетиш, внутри коего прячется некое божество"; "глубина духа" для Маутнера то же самое, что и "прибежище невежества" [Mauthner 1923, II: 58]. Соответственно Маутнер не увязывает "дух нации" с другими культурными феноменами, прежде всего, языком, что вполне соответствует общему, нацеленному прежде всего на ниспровержение, характеру его критики.

Мы, в свою очередь, без труда узнаем контуры позднейших рассуждений неогумбольдтианцев о разнообразии внутренних форм языков в таких пояснениях Гумбольдта: "Человек создан вечно лишь для одной формы, для одного характера, то же и класс людей. Идеал человечества же представляет собой столько разнообразных форм, какие только способны сосуществовать друг с другом. Посему этот идеал не может проявиться иначе, как в целостности (*Totalitaet*) индивидуумов" [Humboldt 1903a: 379]. Изучение разнообразия наций обусловлено тем, что "уже физически невозможно отвратить людей внезапно и совершенно от их привычной стези, уничтожить их индивидуальность и превратить их в других людей" [Humboldt 1903a: 380].

Своеобразие наций имеет, по мысли Гумбольдта, перманентный характер: "Большие массы, племена нации, сохраняют на протяжении столетий общий характер, и даже там, где этот характер претерпевает большие изменения, следы его истоков все еще видимы" [Humboldt 1903a: 390]. Вместе с тем, характеры наций, как полагает Гумбольдт, зачастую случайны; так стоит ли сохранять эти случайности, "должен ли, наконец, философ, историк, поэт, человек носить на себе явные признаки своего имени, своей нации, своего времени?" [Humboldt 1903a: 384]. По мнению Гумбольдта, должен, но в правильном понимании этого: "Человек должен дать всем условиям, в которых он находится, возможность воздействовать на себя, не должен отвергать влияния ни одного из них, но должен обрабатывать это влияние всех условий изнутри

себя и по объективным принципам... Чем больше субъективной оригинальности он, однако, может показать, не причиняя вреда объективной ценности творения, тем лучше" [Humboldt 1903a: 385]. Это индивидуальное созидание своей оригинальности должно привести к тому, что "национальный характер будет отражаться в каждом в отдельности, но именно потому, что он в каждом человеке будет смягчаться под влиянием всех прочих условий, и прежде всего – под влиянием пытливого и направляющего разума, этот национальный характер будет не таким нарочитым и осязаемым, но зато более чистым, своеобразным, тонким и многосторонним" [Humboldt 1903a: 385].

Ценность этнического характера учитывалась Гумбольдтом не только умозрительно, в его размышлениях о сущности языка, но и вполне практически, к примеру, в проекте немецкой конституции (1813), где он призывал, распространяя на права сословий всех земель общегерманские принципы, сохранить все же различия в конституциях немецких земель, дабы "в каждой земле конституция плотно примыкала к своеобразию национального характера" [Humboldt 1903b: 108].

Исключительно показателен метод, благодаря коему Гумбольдт выделяет разные глубинные ступени этнического своеобразия. Говоря о современной ему Европе, он ставит на высшую ступень, где "своеобразие распространяется на все силы и начинает формировать вполне индивидуальный характер", французов и англичан; на вторую ступень, где различимы уже "отдельные более или менее обещающие черты", – поляков, испанцев и португальцев; на последней же ступени, где своеобразии затронуло лишь внешние черты, носит случайный, незначительный характер, – русских и турок [Humboldt 1903a: 393]. Исследованием же французского национального характера Гумбольдт увлекается еще с 1799 г. [Humboldt 1907c].

Еще одна причина, побуждающая к занятиям сравнительной антропологией, обусловлена тем современным Гумбольдту обстоятельством, когда "несколько наций не только объединены под одним скипетром, как это часто и раньше бывало, но и в точнейшем смысле должны действовать как единая масса. Если это должно случиться с идеальной точностью и быстротой, то, бесспорно, было бы лучше устранить различия отдельных частей, сделать язык, обычаи, взгляды и т.п. одинаковыми. Но возможно ли это без утраты своеобразия, и, следовательно, одновременно утраты самостоятельности и энергии, и какое из этих обоих преимуществ он (политик) должен принести в жертву другому?" [Humboldt 1903a: 381–382]. Ответ Гумбольдта похож на утопию: ни то, ни другое! Он ставит перед своей сравнительной антропологией задачу объединить оба преимущества, для чего необходимо точнейшее исследование действительной индивидуальности рассматриваемых субъектов. Заметим, что при перечислении атрибутов этой индивидуальности на первом месте он называет язык. Но и в целом: "Большинство сопровождающих нацию обстоятельство, место обитания, климат, религию, государственную конституцию, обычаи и традиции можно в известной степени отделить от нее, и даже то, что они дали и приобрели с точки зрения формирования, можно при всем оживленном взаимодействии в известной степени отделить. Но одно обладает совершенно отличной природой, является дыханием, душой нации как таковой, на каждом шагу сопровождает ее и водит исследователя беспрестанно по кругу за собой, предстая пред ним в качестве действующего либо производного, – язык. Без него как вспомогательного средства невозможен был бы любой опыт о национальном своеобразии, ибо лишь в языке выражается весь характер и одновременно в нем как самом всеобщем двигателе взаимопонимания народа растворяются индивидуальности, дабы дать проявиться всеобщему" [Humboldt 1961: 58–59].

Исследование это не представляется Гумбольдту простой задачей, ведь национальный характер не поддается прямолинейным определениям, поскольку он модифицируется многими обстоятельствами. Важно то, как сказывается характер нации на языке: "Дух нации, который все же налагает на язык свою печать и на который язык налагает свою, выражается определеннее в его строе, его системе, взаимосвязи его составных частей, чем в них самих, этих более зависящих от случайных обстоятельств" [Humboldt 1907f: 623].

Гумбольдт обозначает целый ряд прочих трудностей своего исследования, первой из коих является то, что "действенность и характер языков, правда, в целом четко различимы, и все же: как только начинаешь исследовать, в чем этот характер конкретно заключается, предмет исследования просто ускользает из рук" [Humboldt 1906d: 632]. Вторая трудность – то, что "язык постоянно удерживает человека в своем кругу как в плену и не позволяет ему обрести свободной точки зрения, помимо этого круга" [Humboldt 1906d: 623]. Третья же связана с тем, что "внутреннюю взаимосвязь между языком и национальным характером потому сложно расшифровать, что и вся материя характера и его разновидностей в зависимости от нации и индивидуума требует совершенно нового, более проникающего исследования, а частично попадает в область, которая до конца никогда не сможет быть исследована" [Humboldt 1906d: 623].

В манускрипте "Введения в общее изучение языка", относимом к началу XIX в., Гумбольдт перечисляет уже задачи языковедения, непосредственно вытекающие из сравнительно-антропологической проблематики; среди прочего выделяются исследование отношения языка к человеку и к миру, характер конкретного языка и его отношение к своей нации, различие языков с точки зрения их воздействия, их влияния на говорящего. Объем различий языков и качества языка рода человеческого, исследование отдельных частей языка с целью выяснения того, на чем основано общее влияние (total Einfluss) языка, а затем и суммарное изложение того, какое влияние на род человеческий действительно оказали известные нам языки и какое они еще окажут: составление всеобщей сравнительной грамматики, в том числе с точки зрения ее влияния на изложение мыслей; составление всеобщей сравнительной лексикографии, в том числе в ее отношении к потребностям говорящего; в качестве вершины исследования рассматривается "философская история языков и определение их влияния на различные нации и в различные времена" [Humboldt 1906d: 619–620]. Гумбольдт вообще кладет в основу новой науки в ряду уже существующих "ту идею, что следует собрать как можно полнее всю массу словарного запаса, сравнить его по всем возможным законам аналогии и из этого как следствия сделать выводы, во-первых, относительно тех методов, которыми пользовался человек в ходе создания и развития языка, а затем как уже из причины – относительно собственного формирования человека, причем и то, и другое – постоянно с философским учетом его всеобщей природы и с историческим учетом различных судеб народов" [Humboldt 1907b: 599].

Излишне и говорить о том, какое значение придавал Гумбольдт в анализе языков поискам присущей каждому из них собственной "сообщественной аналогии" [Humboldt 1907b: 600]. Эти аналогии он предлагал осветить в "систематической энциклопедии языков" как "всемирной истории мыслей и ощущений человечества" [Humboldt 1907b: 603]. Квинтэссенция выдвигаемой им в этом контексте идеи сравнения языков выглядит следующим образом: "Так же, как отдельный язык несет на себе печать своеобразия нации, так и в высшей степени вероятно, что в воплощении всех языков выражаются языковая способность и, в зависимости от степени взаимосвязи с ним, дух рода человеческого. Ведь язык есть самостоятельная, выступающая по отношению к человеку как ведущая и как созданная им сущность; давно уже исчезло то ошибочное мнение, что язык есть воплощение знаков для предметов, существующих вне его, сами по себе, или только лишь понятий. Ничто не дает нам права предполагать, что многообразие языков лишь сопровождает отчуждение наций как естественно-неизбежное следствие и что в основе этого многообразия не лежит намного более важное намерение мироустройства (Weltanordnung) или гораздо более глубокая деятельность человеческого духа" [Humboldt 1906d: 621].

Всякая взятая в отдельности действенность (Wirksamkeit) человеческого духа, то есть всякий конкретный язык, представляет собой, по мысли Гумбольдта, известную односторонность, которая, однако, дополняется другими, подходящими к ней, односторонностями, так что "несколько точно изученных языков дополняют друг друга своими преимуществами и недостатками". Тем самым Гумбольдт приходит к важной гипотезе, при помощи которой он пытается объяснить феномен многоязычия в мире

как гносеологического *conditio sine qua non*: "Предположительно то же самое происходит со всеми языками, хотя многие из них гибнут, не достигнув полного расцвета; и предположительно собственно причина многообразия языков состоит во внутренней потребности человеческого духа производить многообразие интеллектуальных форм, которое обнаруживает свои границы неизвестным нам образом как многообразии живых природных образований" [Humboldt 1906d: 621]. Вторая сторона гипотезы формулируется следующим образом: "Всякий язык устанавливает духу тех, кто говорит на нем, известные границы, исключает прочих, задавая известное направление" [Humboldt 1906d: 621], поэтому основной для исследования языков является задача "измерить языковую способность рода человеческого" [Humboldt 1906d: 622]. Крайними точками этого измерения являются полное отсутствие всякого своеобразия и совокупность всех известных своеобразий, но между ними, как и между отдельным человеком и родом человеческим, Гумбольдт помещает "область живого многообразия действительных (*wirklichen*) языков, наций и индивидуумов" [Humboldt 1906d: 622]. Многообразие языков выступает у Гумбольдта как "интеллектуально-телеологическое явление", ибо изучение каждого отдельного языка должно привести к "познанию его пригодности к достижению всех человеческих целей" [Haum 1856: 550], то есть к измерению его гносеологической ценности.

Таким образом, задачи своих исследований Гумбольдт формулирует в теснейшей связи с конкретным языком, выступающим в качестве родного для данного народа: "Совершенно другая ясность понятий, определенность выражения и осмысленность сознания стали бы господствовать, если бы правильное проникновение во взаимосвязи родного языка стало более всеобщим; любовь к родному языку и к отечеству, а с ними – и глубина всякого чувства, стали бы возрастать; человек стал бы носить с собой постоянно стимулирующий его, постоянно, независимо от его внешней пригодности, воздействующий на него предмет, если бы он перестал рассматривать язык как почти условленный равнодушный знак, взирая на него как на возросший на его стволе росток, достойный его внимания по меньшей мере не менее, чем горы и реки, окружающие его родные места. Именно посредством этого он смог бы вернее оценивать чужие языки и даже при менее глубоком владении ими, чем ныне принято, безошибочнее оценивать их связь с его собственным языком. К числу самостоятельных сил, кои находятся с ним во взаимодействии, добавилась бы еще одна; и поскольку человек и его язык постоянно оказывают влияние друг на друга, то это влияние смогло бы стать более существенным, плодотворным и упорядоченным" [Humboldt 1906d: 626].

Отсюда он приходит к *энергетическому определению языка*: "Язык, и не просто язык вообще, а каждый в отдельности, даже самый бедный и грубый, является сам по себе предметом, достойным самого интенсивного мышления. Он не просто является, как обычно утверждают, отпечатком идей конкретного народа, для многих его знаков невозможно вычленишь идеи, обособленные от этого языка; он есть совокупная духовная энергия народа, каким-то чудным колдовством заключенная в звуки, и в этом виде понятная другим благодаря внутренней взаимосвязи ее звуков и опять же пробуждающая подобную энергию в них, их особым способом... Несколько языков не равноценны такому же количеству обозначений одного и того же предмета; это различные точки зрения (*Ansichten*) на него и, если не считать язык предметом внешних чувств, – это столько же сформированных каждым языком по-своему предметов, в которых каждый обнаруживает лишь столько своего, сколько нужно для того, чтобы вычленишь из данного чужое и перенести его в себя" [Humboldt 1907d: 602]. Формирование языка является внутренней потребностью человечества, а не стремлением поддерживать общение внутри сообщества, но потребностью, "заложеной в самой природе человечества как таковой, незаменимой для развития его духовных сил и обретения мировоззрения, к которому человек может прийти только тогда, когда он доведет свое мышление на основе общественного мышления с другими до ясности и определенности" [Humboldt 1907e: 20]. Здесь-то и обретает свое место гносеологическая ценность многообразия языков: "Благодаря многообразию языков для нас вы-

растают богатство мира и многообразие того, что мы в нем познаем; тем самым для нас расширяется одновременно объем человеческого бытия и новые способы мышления и ощущения предстают пред нами в виде определенных и действительных характеров" [Humboldt 1907d: 602]. Вообще, "различие между языками выступает в двойном обличье, во-первых, как неизбежное следствие различия и обособленности племен народов, как помеха непосредственного единения рода человеческого; затем, как интеллектуально-телеологическое явление, как средство, связующее нации, как двигатель более богатого многообразия и большего своеобразия продуктов интеллекта, как творец основанной на общем ощущении своей особости и ставшей тем самым более тесной связи образованной части рода человеческого" [Humboldt 1963a: 6]. Эти высказывания Гумбольдта не оставляют никаких сомнений в том, что он был исключительно далек от упрощенчества в оценке роли языка, которое ему впоследствии приписывал Г. Штейнталь (1823–1899).

Сравнение языков рассматривается Гумбольдтом как важнейший метод исследования организма языка: "Он проистекает из всеобщей способности и потребности человека говорить и порождается всею нацией; культура конкретной нации зависит от особых задатков и судеб и основана большей частью на постепенно формирующихся в нации индивидуумах. Организм этот относится к физиологии интеллектуального человека, а формирование – к ряду феноменов исторического развития. Расчленение различий организма приводит к измерению и изучению области языка и языковой способности человека; исследование в состоянии более высокой степени сформированности – к познанию достижения всех человеческих целей посредством языка... В такой обработке изучения опыта сравнения языков может показать, какими различными способами человек создавал язык и какую часть мыслительного мира ему удалось перевести в этот язык, а также – как индивидуальность нации воздействовала на язык, а язык – на нее. Ведь язык, достижимые с его помощью цели человечества вообще, род человеческого в его поступательном развитии и конкретные нации суть те четыре предмета, кои следует рассматривать в их взаимосвязи сравнительному изучению языков" [Humboldt 1963a: 6–7]. В другой работе он говорит о языке как "происходящем из глубин духа, законов мышления и целостности человеческой организации, но выступающем в действительности в конкретных индивидуальностях и воздействующем на себя, будучи распределенным на отдельные явления" [Humboldt 1907g: 6].

Разбирая лингвофилософские этюды Гумбольдта, нельзя игнорировать их тесную взаимосвязь с некоторыми идеями И. Канта (1724–1804), тем более что на эту взаимосвязь обращали и обращают внимание многочисленные исследователи творчества Гумбольдта. Последнее, очевидно, и на самом деле представляло собой вариант кантианской философской доктрины, даже несмотря на известный всем парадокс полного игнорирования Кантом языка как предмета философской критики, хотя ныне и вошло в моду говорить *о скрытой лингвофилософской программе* И. Канта. Р. Швингер считает, что взгляды Гумбольдта еще более связаны с неоплатонизмом, являясь дальнейшим осмыслением учения Плотина о душе и представления о внутренней форме как таковой, которая в свою очередь видится Швингеру как синтез общего и особенного и присутствует во взглядах А.Э.К. Шефтсбери, И.К. Лафатера, Й. Гердера, В. фон Гете, В. Шлегеля, Ф.В. Шеллинга и др. [Schwinger 1934: 80]. Впрочем, и Г.В.Ф. Гегель ограничился только фрагментарными замечаниями о языке, которые лишь условно можно считать "отправным пунктом критической философии языка" [Kreiß 1927: 285]. Х. Фрайер вообще говорит об "убогости" гегелевой философии языка, тем более что Гегель никогда не ставил язык в один ряд с такими сферами **народной жизни**, как искусство, философия, право, прилежание в ремеслах, и в то же время подчеркивал его доисторический, внеисторический характер [Freyer 1928: 67–68].

Совершенно определенное влияние кантианства на В. фон Гумбольдта отмечает известный биограф и исследователь творчества Гумбольдта Р. Хайм, признавая одновременно, что "кантианское своеобразно модифицировалось и индивидуализировалось

в его духе" [Наум 1856: 446]. В связи с этим Хайм также высказывает предположение, что даже в последние годы Гумбольдт вряд ли осознавал, что "он оперирует инструментом некоей определенной системы" [Наум 1856: 447]. Он обнаруживает у Гумбольдта явные следы увлечения категориальной таблицей Канта, а также многочисленные рассуждения о языке, которые вполне можно считать применением к языку метода гносеологического анализа Канта; но все же Гумбольдт "стал бы кантианцем, даже если бы он не прочел ни единой строки Канта, даже если бы Кант никогда не писал и не существовал вовсе" [Наум 1856: 450–451]. Ведь учение Канта только укрепило Гумбольдта в его стремлении проявить самые заветные стороны человеческой природы, а "кантианский элемент" в учении Гумбольдта был подкреплён еще и взглядами Й.Г. Фихте, Ф.В. Шеллинга и Ф. Шиллера, о чем свидетельствуют соответствующие упоминания этих философов во введении в работу о языке кави. В особенности же взгляды Гумбольдта представляются Хайму как "очищение, исполнение и оправдание того, что относится к неоспоримым заслугам Гердера, того, что он вначале охватил своей поэтической интуицией" [Наум 1856: 494].

Вместе с тем, Хайм полагает, что метод, которым пользуется Гумбольдт в своих рассуждениях о сущности языка, в существенной степени представляет собой эстетическую схему, которая позволяет ему обрести "живую, столь же энергичную, сколь и нежную связующую нить" для своего мышления и наблюдения, явно противопоставляя такое понимание ядра гумбольдтовых воззрений интерпретации Штейнталь [Наум 1856: 467, 471]. Хайм пытается объяснить туманность гумбольдтовых формулировок не их недостаточной продуманностью (как полагал Г. Штейнталь), а общей тягой Гумбольдта к "темному и таинственному; лишь здесь он ощущал присутствие той атмосферы, которая будоражила и задействовала все силы его существа" [Наум 1856: 477]. Однако эта тяга не имела, по мнению Хайма, ничего общего с мистицизмом.

Г. Штейнталь также отмечает влияние кантианских идей на Гумбольдта ("кантианизированное спинозианство"), но вместе с тем констатирует: "Философия языка начинается с него, возникла в нем. Тем самым не отрицается, что так называемые философские грамматики содержат многочисленные превосходные разъяснения и результаты непреходящей ценности; но не в этой сфере созидались Гумбольдтом его труды, и не в этом заключаются его заслуги... Его взгляды на сущность языка и формы языков возникли собственно в нем самом... Он не подхватывал уже существующее, и его идеи нельзя вывести из предыдущего. Его можно объяснить только, исходя из него самого" [Steinthal 1884: 13].

* * *

Как-то известный немецкий философ языка начала 30-х гг. О. Лерх заметил, что история языкознания XIX века есть *история отдаления от Гумбольдта* [Lerch 1934: 379]. Развитие языкознания XX века стоило бы в таком случае назвать *историей возвращения к Гумбольдту*, хотя и в этот ушедший уже век Гумбольдта более почитали, чем читали.

Размышляя о том, почему же совершенно ясные идеи Гумбольдта о содержательном сравнении языков не были реализованы в языкознании конца XIX – начала XX века, а все влияние его концепции на современную ему философию языка было ограниченным, Й.Л. Вайсгербер называет среди важнейших факторов временной разрыв между созданием концепции и ее популяризацией, недостаточное включение ее в рамки научной организации, объем поставленных задач, трудности их методического разрешения и одновременное распространение других теорий [Weisgerber 1952: 8–9]. Последнее связано, между прочим, и с открытием в 1821 г. стараниями самого Гумбольдта кафедры восточной литературы и общего языковедения в Берлинском университете специально для молодого Ф. Боппа (1791–1867), чья деятельность, вне всякого сомнения, стала серьезной преградой на пути реализации гумбольдтовой идеи

сравнения языков, уводя исследование в область фонетических законов. Существенным является и то обстоятельство, что формирование идеи сравнения языков совпало у Гумбольдта с поступлением на отечественную государственную службу, а когда через двадцать лет он, будучи уже на пенсии, вернулся к своим лингвистическим штудиям. "время слишком уже переменилось, чтобы эта идея смогла найти непосредственных продолжателей" и "осуществление ее пало на плечи одинокого старика" [Weisgerber 1952: 11]. Таким образом, Вайсгербер совершенно справедливо отрицает существование непосредственной традиции исследований в русле идей Гумбольдта, т.е. существование гумбольдтианства как школы [Weisgerber 1952: 12]; линию Штейнталь-Финк-Леви он квалифицирует как группу ученых, "чаще всего излагающих самих себя" [Weisgerber 1952: 14], и ее он также считает лишенной последователей, не в последнюю очередь в силу авторитарного характера "отцов школы". В рамках возрождения сравнительного изучения языков в духе Гумбольдта требовалось нечто совершенно иное: расширение классической индоевропеистики до масштабов полного индогерманского языкознания с равномерным исследованием внешней и внутренней формы языка по описательному, сравнительному и историческому методам [Weisgerber 1952: 17]. В этом смысле именно *неогумбольдтианскую философию языка* вполне целесообразно считать продолжением гумбольдтовой философии языка (см. [Радченко 1997]).

Из современников Гердера и Гумбольдта сходным с ними идеям отдавали дань в особенности Й.Й. Вагнер, утверждавший, что "язык есть возрождение мира посредством человеческих органов чувств" (см. [Weisgerber 1950: 232]), и особенно Й.Г. Фихте, полагавший, что "люди много более формируются языком, нежели язык людьми" (см. [Weisgerber 1950: 232]).

Труд Фихте "О языковой способности и происхождения языка" (1795) в известной степени продолжает рисовать этюд на тему знакового характера языка (см. также [Ziegler 1931]): "Язык в широчайшем смысле слова есть выражение наших мыслей посредством произвольных знаков. Посредством знаков, говорю я, а значит, не через действия... Правда, наши мысли обнаруживают себя также и в тех последствиях, какие они влекут за собой в чувственном мире: я мыслю и действую сообразно результатам этого мышления. Разумное существо может, таким образом, из этих моих действий сделать вывод о том, что я подумал. Но это не есть язык. Подо всем, что называется языком, подразумевается нечто иное, как обозначение мысли; и у языка, помимо этого обозначения, нет вообще никакой иной цели" [Fichte 1846a: 302]. В другом месте он определяет язык как "способность произвольно обозначать свои мысли", которая, следовательно, предполагает некий произвол. В связи с этим Фихте отвергает как произвольное изобретение языка, так и произвольное использование его как содержащие внутреннее противоречие [Fichte 1846a: 303]. В контакте с другими людьми в нас пробуждается, по мысли Фихте, некая идея – обрисовать наши мысли друг другу при помощи произвольных знаков; Фихте считает это сущностью идеи языка [Fichte 1846a: 309].

Помимо этого, полагает Фихте, опыт уже подтвердил то, что языки меняются, принимая все новые модификации. в особенности сильно у тех народов, которые еще не имеют письма: "Ибо изначальный звук знака, однажды потерявшись, более нигде не сможет быть найден. Где же есть письмо, там звук сохраняется, и каждый раз можно определить, как следует произносить слово"; но и в целом "живой язык меняется всегда противоположно его культуре: чем большую обработку он получает, тем менее он продвигается вперед, чем менее культивирован он, тем более он модифицируется" [Fichte 1846a: 313]. Фихте особо акцентирует ценность традиции и непрерывного развития исконного языка, поэтому, по его мнению, носители "новолатинских языков", строго говоря, не имеют родного языка [Fichte 1846b: 324], на чем и основано различие "живых" и "мертвых" языков.

С точки зрения внутренней стороны языка, эта разница исчерпывается следующими признаками: 1) "У народа-носителя живого языка формирование духа (*Geistesbildung*) вторгается в жизнь; у противоположного народа духовное формирование и жизнь идет своими

отдельными путями". 2) "По этой причине для народа первого типа всякое духовное формирование – воистину серьезное дело, и он желает, чтобы оно вторгалось в жизнь; напротив, для народа второго типа это больше игра гения, кроме которой ему ничего не надобно. Последний обладает духом (Geist); первый же, помимо духа, имеет умонастроение (Gemüth)". 3) Исходя из этого, "первый народ проявляет подлинное усердие и серьезность во всех делах и старателен; второй же позволяет своей счастливой натуре увлечь себя". 4) Из всего этого следует, что "в нации первого типа великий народ образован, и просветители нации апробируют свои открытия на народе и желают на него влиять; напротив, в нации второго типа образованные сословия отмежевываются от народа и учитывают его не более, чем слепой инструмент их планов" [Fichte 1846b: 327].

Учение Фихте о ценности исконного языка поддерживал еще один современный Гумбольдту ученый и общественный деятель – Э.М. Арндт (1769–1860), который дал в 1813 г. в своей работе "О ксенофобии и использовании чужого языка" следующее определение: "Поскольку ведь язык содержит в себе глубочайшее умонастроение, скрытую историю, древнейшее развитие народа, короче говоря, весь способ его ощущения, мышления, изображения и жизни, то, что изменяет язык, меняет с неизбежностью и народ; что смущает и смещает язык, смешивает с чужеродным и неравным и каким-то образом мутит чистую реку его, то имеет также влияние и на смущение, смешение, торможение и возмущение всего народа. Ведь народ не располагает более духовным и внутренним жизненным элементом, чем язык. Если, таким образом, народ не желает потерять то, благодаря чему он является народом, если он желает сберечь свой образ со всеми своими особенностями, то он не должен ни на что обращать такого внимания, как на то, чтобы его язык не был испорчен и разрушен" [Arndt 1934: 102]. Вполне романтически звучит определение языка как "самого прекрасного и высокого, что дано человеку, великого дара, благодаря которому он в родстве с небожителями" [Arndt 1805: 17], и этот дар "теснейшим образом связан с глубочайшим умонастроением людей" [Arndt 1805: 19].

Всякий язык, по мысли Арндта, есть, во-первых, таинственный прообраз прежде всего давнего прошлого, о котором мы себе можем составить в лучшем случае лишь неясное представление, во-вторых, язык есть прообраз заключенного в большом товариществе (Genossenschaft) своеобразного бытия и жизни, он есть глубоко завуалированная картина целого народа, которая все же в звуках и красках и сиянии должна ежедневно давать ясные знаки значения этого народа [Arndt 1934: 101]. Арндт еще более категоричен в оценке родного языка, чем Фихте: "Как тело является прозрачной оболочкой души, так и язык есть тело всех затронутых внутри человека душевных сил, в той степени, в которой они хотят приобрести внешнее выражение: язык есть прорыв (Durchbruch) духовных сил... Язык есть зеркало народа, который говорит на нем; из языка народа мне становится совершенно ясно, что желает народ, куда он стремится, куда он склоняется, что он более всего любит и совершает, куда ведут его соответствующие ему жизнь и устремления. Это проявляется в общем в любом языке" [Arndt 1934: 102]. Сравнение языка с духовным зеркалом одновременно является утверждением неразрывной связи языка и народа: "Тот, кто не уважает и не любит свой язык, не может уважать и любить и свой народ; кто не понимает свой язык, не понимает и свой народ и никогда не сможет почувствовать, что такое настоящая немецкая добродетель и настоящая немецкое великолепие; ведь в глубинах языка лежат всякое внутреннее понимание и всякое глубиннейшее своеобразие народа" [Arndt 1934: 103]. В работе 1812 года она дает трактовку своего тезиса от обратного: "Кто отчуждается от языка своего народа, отчуждает себя и от самого народа. Какие бы благие помыслы он не имел, он не сможет вести народ и руководить им, никогда не сможет он воодушевить и поднять его" [Arndt 1934: 103].

Ядро любого языка, глубочайшая сущность его "никогда не изучаются по книгам, но всегда посредством жизни, и настоящее учение всегда совершенно еще до того, как молодой человек научится разбирать буквы. Тогда, в первые пять–шесть лет своей жизни он, вероятнее всего, впитал в своей неосознанной невинности самые глубинные, мощные духовные силы своего народа, которые кроются в языке, так же как он впитал воздух и свет" [Arndt 1934: 103–104]. Эта жизненность языка отличает его от прочих феноменов человеческой жизни, ибо "прочие искусства приходят и уходят, и часто они никогда не

возвращаются, во всяком случае, не все, но слово обладает силой вечного омоложения и неистребимой жизнью и всякий раз пробуждается к жизни вместе с добродетелью" [Arndt 1934: 104].

Идею идиоэтничности языков гораздо яснее политизированного Э.М. Арндта выразил К. Абель: "В грамматике и лексиконе мы как бы путешествуем по чужим странам и видим пред нами все известные вещи, от стиля архитектуры до покрова одежды, от торжественной серьезности до веселой шутки, но в национально-измененном виде, смоделированными и замаскированными... Ничто более не приспособлено к тому, чтобы предоставить нам достойное место среди прочих народов, как исследование своеобразного мыслительного мира их языков. Национальные характеры иных народов или, более того, некоторые бросающиеся в глаза черты в них, нам претят; с иными история привела нас во враждебное соприкосновение; в обоих случаях мы склонны к тому, чтобы предаться огульным предрассудкам. Кто рассмотрит их языки подробнее, тот станет в оценке других наций мягче и осторожнее. Он узрит в значениях и сочетаниях слов более глубинные стороны народов, почувствует, как пульсирует их дух и как бушует в нем многое теплое, разумное и человеческое, что он должен был бы противопоставить невыгодным качествам и погупкам. Он увидит даже в менее развитых племенах проблески благородных задатков, задатков, кои ждут пробуждающего их гласа и кои, скорее всего, пробудит тот, кто лучше всех постигнет умонастроение народа, его язык... Продвигаясь вперед, он в каждом языке услышит журчание источника божественного разума, в иных – только тонкий ручеек, в других – набирающий широту и глубину поток" [Abel 1869: 29–30]. Даже Гумбольдту не удалось столь прекрасно сформулировать главную идею духовного своеобразия и этнической уникальности языков!

Романтическое преклонение перед языком как носителем образа мыслей и опыта народа было характерной чертой второй половины прошлого столетия. Так, не менее прекрасные определения идиоэтничности находим и у Х.Г. фон дер Габеленца (1840–1893): "Говорят, что каждый язык, который мы усваиваем, открывает нам новый мир. На самом деле это все тот же старый мир, который мы видим; но мы взираем на него другими глазами, видим его в другом освещении. Поэтому нам бросаются в глаза предметы, которые мы до того не видели, и ускользают от нашего взора другие, кои мы привыкли видеть, а предметы кажутся нам связанными по иным законам, иными узами, чем прежде. Поэтому и мир кажется нам иным... Кому дано погружаться в души иных, тот сможет насладиться столь же увлекательными зрелищами, как и путешествующий вокруг света; ведь всякая душа выстраивает себе свой собственный мир, мир обширный или малый, упорядоченный или беспорядочный, пестрый и оживленный или блеклый и застывший" [Gabelentz 1891: 40]. Созерцающий этот мир другого языка задает себе, вместе с Габеленцем, вопрос: "Интересно уже то, как поступает дух, созидающий язык, называя предметы. Всякое новое представление ставит перед ним новую задачу: как он с нею справится?" [Gabelentz 1891: 50]. Для иллюстрации своей мысли Габеленц приводит примеры имен родства и званий. Идея номинации связывается, таким образом, в первую очередь с выдающейся ролью языка в жизни народа. Именно эта идея выйдет на первый план позднее, когда идеи Гумбольдта будут восприниматься уже не как программа, а скорее как нуждающийся в переработке и интерпретации аморфный материал.

Но и в тот, более ранний, период проблема номинации оставалась важнейшей для первых "гумбольдтианцев". Один из них, Ф.Н. Финк (1867–1910), изложил в своих восьми лекциях видение немецкого языкового строя как выражение немецкого мировоззрения (Weltanschauung). С его точки зрения, человек решает задачи номинации всякий раз в зависимости от массы обстоятельств, и "тот способ, как он формирует свои представления, как он разлагает общие представления на составляющие части, включает их в категории и связывает воедино в одну мысль, – это, очевидно, тот способ, как он представляет себе мир, как он его – по собственному мнению – созерцает,

т.е. это, в собственном значении слова, его мировоззрение" [Finck 1899: 8–9]. Финк далек, правда, от особого внимания к гноссологической миссии языка, он рисует картину языкового сообщества как непрестанное общение отдельных личностей, а мировоззрение видится ему в психологической перспективе: "Мировоззрение духовного сообщества есть, следовательно, тот способ, коим формируются достигающие языкового выражения представления, коим разлагаются на составные части подлежащие языковому выражению общие представления и коим таковые упорядочиваются и связываются воедино" [Finck 1899: 9].

Интерпретируя Гумбольдта, Финк увязывает мировоззрение в таком понимании с внутренней формой языка: "Это выражающееся в этимологической и синонимической группировке и в языковом строе мировоззрение духовного сообщества есть то, что называют внутренней формой языка" [Finck 1899: 10]. Однако Финк вовсе не связывает своеобразие конкретного сообщества только с внутренней формой его родного языка: "Духовное своеобразие народа состоит, конечно, во всем психическом, что отличает в своей совокупности один народ от другого. Духовное своеобразие проистекает из суммы общих представлений, чувств и волевых эмоций, а также из того способа, как формируются представления, вычлняются из комплексов, упорядочиваются и соединяются. Таким образом, духовное своеобразие народа охватывает его мировоззрение как одну из своих составных частей" [Finck 1899: 10].

Из этого он делает вывод о тесной взаимозависимости между духовным своеобразием и внутренней формой (т.е. языковым строем), понимая эту взаимозависимость как непосредственно извлекаемое из языковых фактов объяснение *психологических особенностей* народа-носителя данного языка, поиск соответствия между имеющимися психологическими чертами народа и грамматическим строем его языка и постановку во главу всей концепции особенно интерпретируемой (народной) психологии языка: "Англичане обнаруживают без сомнения сильную склонность обращаться со всем внечеловеческим как с вещественным. То, что они не строго реализуют этот принцип, уже известно. Но это все-таки уже красноречивое свидетельство осознания ими собственной силы, что они различают четко людей и не-людей. или высокое и низкое, или разумное и неразумное, и в соответствии с нынешними обстоятельствами презрительно рассматривают одушевленное неразумное как не имеющее силы" [Finck 1899: 61]. Еще более показательны рассуждения Финка о причинах большей потери чувства субъективности (соответственно, снижении роли активного залога и пр.) в германских языках, по сравнению с немецким. Причинами этого Финк считает *факты народной психологии*: голландец – прежде всего коммерсант, поэтому его воля подчинена объектам торговли; средний англичанин не является индивидуумом, соблюдая в целом только строгие традиции страны; на норвежцев и шведов повлияли климатические условия их стран, обрекавшие их в определенные периоды зимы на бездействие [Finck 1899: 91–92]. Немецкий же язык заставляет своего носителя ежедневно упражняться в рамочных конструкциях и тому подобном, что свидетельствует о его "необыкновенной силе воли" и "необыкновенной силе духа" [Finck 1899: 93]. Ярко выраженная субъективность немецкого языка усиливает чувство причинности, сказавшись на развитии философии.

Таким образом, Финк можно с полным правом считать первым последователем Гумбольдта, заложившим основы психологической интерпретации его идей. В духе концепции Финка выдержаны и позднейшие размышления М. Дойчбайна о взаимосвязи английского народа и английского языка. В частности, он отмечает сильную номинализацию и типизацию как в языке, так и в стиле одежды, поведении, обычаях и привычках; подавление субъективных чувств и оценок как свойство английского этнического характера отражается, в частности, в использовании прогрессивных времен, все более редком использовании модальных частиц в современной прозе, использовании некоторых моделей интонации, скупости выражений сильного одобрения или неодобрения [Deutschbein 1928: 41, 50–52]. Отрицательное отношение англичан ко всему систематическому, методическому сконструированному выражается в синтаксисе, где предпочитается паратаксис [Deutschbein 1928: 61]. Практически к тем же выводам относительно английского этнического характера приходят К. Вильдхаген [Wildhagen 1929], Ф. Аронштайн [Aronstein 1931]. Еще один последователь Финка – А. Шреер –

увязывает многообразие выражений для понятия "деньги" в английском языке с присущим англичанам интересом к таковым [Schröer 1930]. Сходное исследование французского и испанского национального характера в связи с особенностями соответствующих языков провел О. Лерх [Lerch 1932]. На материале немецкого языка подобные идеи отстаивал в середине 30-х гг. Х. Гюнтерт, связывавший пристрастие немцев к номинальному способу выражения и постановке ударения в стихосложении на тот слог в основе слова, который выполняет главную смысловую нагрузку, с важностью понятийного и мыслительного и неважностью формального и эстетического для немецкого духа.

Очень близок подобный образ мыслей к методике раскрытия народного характера через язык, использованной еще одним из ранних гумбольдтианцев Х. Ведевером. Выводы о характере нации Ведевер делает из анализа лексического освоения той или иной сферы бытия: "Француз более определен, аподиктичен, отсюда двойное отрицание во французском языке... Немец же более утвердительно: ja, jawohl. Немцы – более глубокие мыслители и философы: Wahrnehmung, Vorstellung, Begriff, Idee, Verstand, Vernunft с определенным разграничением, в то время как французы для этого обладают esprit, raison, entendement, idée, perception, notion без более точного отграничения... Немец же далеко превосходит француза по глубине и истинности чувства. Слова Gemüth, Sehnsucht, Wonne, Wehmuth, Tiefsinn, heim, Heimat, innig, Innigkeit либо невозможно, либо лишь приблизительно можно перевести на французский... Зато французский язык превосходит не только немецкий, но и все прочие языки Европы по количеству слов для внешних отношений практической жизни, для тонких оттенков характера, в особенности того многообразия манер и настроений, которые вместе раскрываются в процессе дружеского общения" [Wedewer 1859: 20–21].

Познание духа и характера народа подкрепляется, по мысли Ведевера, изучением выявляемых посредством этимологии, лежащих в основе слов первоначальных представлений, а также понятий, в которые они превращаются с течением времени, и этому есть объяснение: "Слова... обозначают прежде всего не сами предметы, а представления о них по признакам, которые народный дух считает характерными. Поскольку же для обозначения представления избираются то тонко классифицирующий ум, то смело синтезирующий дух, то тот, то иной признак сообразно индивидуальности и своеобразию народного духа, в зависимости от того, руководствуются ли фантазия и ощущение чувственным созерцанием, то само собою понятно, что в этом заключается существенное внутреннее различие языков и что мы путем внимательного изучения этой стороны способны проникнуть во внутреннюю форму и характерные черты народного духа" [Wedewer 1859: 24]. Для иллюстрации этого метода Ведевер приводит имена богов, слова "человек", "дух", "душа" в санскрите, греческом, латыни, литовском. Мы вправе считать такое преклонение перед этимологией явлением, также типичным для лингвофилософии конца прошлого века: только она представлялась надежным способом выявить особенности первичной номинации, которые определили духовное своеобразие данного народа.

Г. фон дер Габеленцу принадлежит превосходная характеристика, вполне применимая не только к современному ему, но и в целом к современному нам языкознанию: "Почитать, восхвалять Гумбольдта станет всякий, читавший его труды; иные восхваляют его и без того; – идти по его стопам будут всегда лишь немногие, но школа по типу Боппа или Гримма, пожалуй, никогда вокруг него не сплотится. В его отношении, как и в отношении Потта, справедливо, что универсальность и гениальность невозможно взрастить под указку ментора" [Gabelentz 1891: 29].

Между тем, в истории языковедения термин "гумбольдтианство" стал вполне расхожим. Так прав ли Габеленц? Отвечая на этот вопрос, нам приходится проводить анализ различных точек зрения на родной язык среди концепций и течений, связанных с интерпретацией идей Гумбольдта (этого "нового Евангелия языковедения", как провозглашает Г. Штейнталь [Steinthal 1850b: 100]), и в этот анализ нельзя не включить концепции самого Штейнтала (1823–1899), признанного в лингвистической литературе непосредственным учеником и первым интерпретатором Гумбольдта.

Право первенства Штейнталя весьма и весьма сомнительно, достаточно вспомнить, что к моменту кончины Гумбольдта ему исполнилось всего лишь двенадцать лет, так что непосредственно учиться у Гумбольдта ему не пришлось бы даже по этой причине. Речь идет, следовательно, не о преемственности, а о вполне оригинальной попытке интерпретации концепции Гумбольдта. Если оставить в стороне школу Ф. Боппа, которую трудно считать продолжением идей Гумбольдта (уж слишком разнятся задачи сравнения языков у Учителя и его протеже!), то становится понятно, почему именно с Штейнталем обычно связывается основание "гумбольдтианства" как направления в немецком языкознании.

Между тем, при знакомстве с "первым апостолом" нового учения не может не возникнуть известное сомнение в том, действительно ли стремился Штейнталь вникнуть в смысл лингвофилософии Гумбольдта. В его собственных работах утверждается, к примеру, следующее: "Дело в том, что он (Гумбольдт) не всегда учитывал тот логический закон, по которому силу и проявление, сущность и явление нельзя разрывать и фиксировать каждое в отдельности; когда он верно находил одно в другом, то он еще раз вопрошал о характеристиках силы, не имеющей никаких иных характеристик, кроме существования в проявлении. Он знал, что дух есть только деятельность; и все же он, пожалуй, весьма стремился увидеть и деятельное начало, некую духовно существующую субстанцию в ее блеске. Вследствие такой констатации существования силы вне проявления он сам создал себе неясности, которых нет, и закреплял эти созданные им самим неясности в предполагаемой силе, которая, вне проявления есть самое неясное ничто. Можно считать это явление у Гумбольдта остатком влияния Канта, которое он испытывал в юности и поверх которого всегда выносил его в настоящих исследованиях его философский гений" [Steinthal 1848: 27–28]. Нетрудно заметить, что он отрицает важность действующего феномена, обращаясь лишь к внешним проявлениям этого феномена. Поэтому не удивляет, что Штейнталь ставит перед собой задачу "дополнить воззрения Гумбольдта" [Steinthal 1848: 28], отмечая справедливости ради, что гумбольдтовы "неясности" можно отнести за счет новизны и утонченности его идей, "к коим не сразу способна прильнуть языковая форма" [Steinthal 1848: 30]. Штейнталь не зря высказывал в этой связи опасения относительно возможности неправильно истолковать идеи Гумбольдта, хотя он и относит эти опасения, по всей вероятности, не к себе самому, так как его рассуждения о мыслях почитаемого Учителя пестрят эпитетами типа "правильный" и "ложный", а претензия на аутентичное прочтение Гумбольдта высказывается Штейнталем достаточно часто и недвусмысленно (см., например [Steinthal 1848: 146, 163]).

Штейнталь фактически признает отсутствие непосредственно примыкающего к самому Гумбольдту учения, гумбольдтианства *suī generis*: "Однако же перед нами, критиками, стоит задача объяснить тот примечательный факт, что труды Гумбольдта, из коих последний и самый значительный по объему и глубине приобрел известность пятнадцать лет назад, стали источником многообразного и сильного воздействия посредством отдельных положений, кои все же вовсе не всегда понимались в духе Гумбольдта; но эти труды вовсе не представляли собой цельную концепцию и не оказали на языковедение непосредственно созидающего влияния. Причину тому следует искать преимущественно не в языковедах..., а в самом Гумбольдте, его абсолютной непонятности. Эта непонятность есть, прежде всего, продукт темного изложения... Но еще более важное второе обстоятельство – это то, что Гумбольдт часто не приходил к ясным мыслям. Поэтому его периоды почти всегда прекрасны, но вовсе не всегда логически правильно построены. Поэтому из своих послылок он часто не делает верных выводов; последние частенько даже противоречат первым. Поэтому правильно сказать, что Гумбольдта можно понять не иначе, как критикуя его одновременно; но тогда вы уже выходите за пределы его идей... Если после всего сказанного не может быть ничего более плодотворного, чем изучение Гумбольдта, то одновременно весьма сложно при изложении его мыслей не вложить в его положения слишком мало смысла" [Steinthal 1850b: 214–215].

Что до непонятности гумбольдтовых текстов, то здесь скорее прав Г. фон дер Габеленц: "Они чаще всего менее ясны, чем глубоки, оценивают более, чем поучают, и предполагают такие знания, кои уже по внешним причинам доступны лишь очень и очень немногим... Но очень часто выясняется, что то, что с полной ясностью предстало пред его пророческими очами, открывалось вновь лишь спустя много лет с большим трудом. Мало кто из писателей требует столь напряженного, упорного изучения своих трудов, как этот; но мало кто и вознаграждает за это в той же мере" [Gabelentz 1891: 28–29]. Удалось ли Штейнталю повторить этот пророческий путь?

Трактовка идей Гумбольдта прошла у Штейнталья несколько этапов. Так, в 1884 г., уже будучи автором целого ряда трудов, посвященных "истинной интерпретации" Гумбольдта, он признается: "Я постоянно испытывал сильнее или слабее, в зависимости от настроения, такое чувство, что я не могу сказать: я понимаю Гумбольдта полностью и действительно. Этого я не забывал и в тот период, когда критика превалировала в моих литературных высказываниях о Гумбольдте, коя не отсутствовала даже в дни моей полной преданности ему. Я могу, более того, признать истины ради, что во все времена мое уважение перед этим мыслителем было сильнее, чем моя критика, а еще сильнее, чем уважение, была моя любовь к нему... Теперь я знаю, что я его тогда не полностью понимал" [Steinthal 1884: 1–2]. После знакомства с вновь найденными манускриптами Гумбольдта Штейнталь, по его признанию, приходит к совершенно иному пониманию его мыслей, и "это понимание стало возможно лишь потому, что я стремился забыть самого себя" [Steinthal 1884: 3]. В итоге в 1884 г. Штейнталь рассматривает "все прежде сказанное о Гумбольдте как более не существующее, как погруженное в царство забвения", в том числе и сказанное им самим [Steinthal 1884: 4]! Но и в этом случае он заявляет, что способен понять те идеи в туманных текстах Гумбольдта, которые в свое время не могли понять Кант и Кернер [Steinthal 1884: 30].

Для общей оценки той позиции, с которой Штейнталь исследовал Гумбольдта, существенно также его отрицательное отношение к необходимости философии языка в собственном смысле [Steinthal 1850b: 106]. Настоящей наукой он считал лишь "такую, коя не просто примиряет, объединяет философскую и эмпирическую науки, но сплавляет их, так что она не является ни первой, ни второй, ни также суммой этих наук, а есть нечто новое, третье, более высокое, полностью содержащее в себе по своей сути те две" [Steinthal 1850b: 212].

"Штейнталев" Гумбольдт говорит следующее: относительно взаимозависимости разницы между языками и созидания духовной силы человека следует создать основы истории человеческого духа с точки зрения языка [Steinthal 1848: 35]. В процессе развития истории человечества Гумбольдт усматривает действие "разумной свободной необходимости"; в гении же он видит проявление "определенной, необходимой свободы" [Steinthal 1848: 37]. Принципом всякой истории, по Гумбольдту, является духовная сила (Geisteskraft), которая созидает себя в историческом процессе, причем то спокойно и постепенно, то подвигая гениального одиночку к неожиданному и невиданному доселе полету мысли [Steinthal 1848: 39].

Штейнталь приписывает Гумбольдту особенное акцентирование языка как всеобщей человеческой способности к языку; он выдвигает в ходе анализа идей Гумбольдта на первый план "языковую идею", подразумевая под ней "всеобщий дух", так что "точно так же, как соотносятся между собой особенные духи народов и всеобщий человеческий дух, так соотносятся и особенные народные языки и языковая идея: они суть различным образом происходящее воспламенение и раскрытие последней; эта последняя лишь в них обретает свое существование" [Steinthal 1848: 40]. Положение о необходимости разнообразия языков как "бесконечного многообразия, в котором может выразиться человеческое своеобразие без ошибочных односторонностей", Штейнталь анализирует вполне в духе идиоэтничности: "Поэтому для достижения общей человеческой цели, то есть формирования духа, разделение рода человеческого на народы столь же необходимо, сколь и особенные языки для осуществления языковой идеи; и их нельзя рассматривать как некие неудачные, неуклюжие попытки, из коих

всякая потому была бы новым путем осуществления единого идеала языка, что другая не смогла привести к этому результату; нет, в каждом из языков этот идеал с одной стороны совершенно осуществлен" [Steinthal 1848: 44].

Расхождения с Гумбольдтом выявляются, когда Штейнталь берется рассуждать о сущности понятия "индивидуальность" у Гумбольдта. Исходя из его определения нации как человеческой индивидуальности, которая следует своей внутренней духовной колее [Steinthal 1848: 53], Штейнталь извлекает это понятие из дихотомии целостность/индивидуальность, тесно связанной с вышеизложенной реализацией языкового духа в конкретных языках, и сводит сущность индивидуальности всякого языка к деятельности индивидуумов внутри языкового сообщества: «Речь (Sprechen) отдельного человека предполагает язык народа, и все же только отдельный человек может создать язык. Во взаимодействии отдельного человека и народа, то есть в том, что каждый приводит свое умонастроение в то же состояние, так что не только всякий человек тем же способом воспринимает то же внешнее воздействие, но и всякий человек, "следуя одному определенному интеллектуальному направлению из бесконечного разнообразия возможных", стремится воздействовать на других тем же способом, – в этом заложено разрешение данного противоречия» [Steinthal 1848: 56]. Идея относительности переносится здесь на индивидуальную речь, поэтому и другое гумбольдтово понятие, "создание" языка (Erzeugung), получает у Штейнталья прежде всего смысл воссоздания языка в речи [Steinthal 1848: 73]. Для Штейнталья "язык в действительности есть лишь говорение, воспроизведение языка (Sprach-Erzeugen)" [Steinthal 1848: 74], а energiea и есть речь [Steinthal 1888: 59]. Соответственно, и "вечно повторяющаяся работа духа по превращению артикулированного звука в выражение мысли" есть, по Штейнталю, "строго говоря, определение каждогомоментного говорения; но в истинном и сущностном смысле можно рассматривать лишь целостность этого говорения в качестве языка" [Steinthal 1888: 60]. Призыв Гумбольдта свести для оптимального сравнения языков элементы каждого из них в органическое целое, т.е. "образованное из одного средоточия и по одному принципу", "созданное одной силой", Штейнталь воспринимает по этой причине как призыв изучать речь: "Как раз-таки наивысшее и тончайшее не позволяет осознать себя, исходя из тех разрозненных элементов и может быть воспринято или уловлено лишь в связной речи. Лишь ее следует вообще всегда рассматривать во всех исследованиях, кои должны выникнуть в живую сущность языка, как единственно истинное и первейшее" [Steinthal 1848: 74–75].

Отсюда и своеобразное истолкование известного тезиса о языке как энергее: Штейнталь приравнивает ее к реализации возможностей, действительности, противопоставляя ее как нечто, стоящее на более высокой ступени, возможности и способности [Steinthal 1848: 91]. Находя у Гумбольдта противопоставление формы и характера, он отождествляет форму языка со способом создания его звуковой формы, а проявление характера связывает с языком как применением звуковой формы [Steinthal 1848: 93]. Форму языка он определяет как "способ созидания языка", а характер – как "способ применения языка и формирования языка" [Steinthal 1848: 94].

Штейнталь полагает, что почерпнул у Гумбольдта существующую в языке триаду "активный дух" (языковая деятельность, существующая в виде конкретного языка) – "звук" (звуковая форма) – "пассивный дух" (мысль) [Steinthal 1848: 98]. Причем последний элемент – "материал языка", содержание мышления – не содержится в языке, присутствует только в речи (!): в нем "бытует общее ядро всякого человеческого говорения, в нем открываются везде те же самые логические категории"; "он не относится к языку, его рассмотрение относится не к науке о языке, а к истории науки, а его исконные взаимосвязи (категории) – к логике", и "если вообще существует хоть какое-либо различие между языками, то оно должно заключаться в первых двух принципах – в звуковой форме и использовании. Но звуковая форма – не просто звук, а такой звук, в котором заключена внутренняя форма языка. Оба они неразрывны, и каждый как таковой и в своей взаимосвязи они вызывают различие между языками" [Steinthal 1848: 105]. Иными словами, Штейнталь готов признать идиоэтичность толь-

ко за речевой реализацией, а мышление относит к универсальным категориальным системам (см. также [Steinthal 1848: 107]).

В "Грамматике, логике и психологии" Штейнталь более четко излагает свое видение "разделимости языков и мышления", привлекая, к примеру, тот факт, что человек, якобы, в некоторых случаях думает без языка: "Глухонемой мыслит часто понятнее, чем иной говорящий: он даже чаще оказывается умницей и даже без особого обучения обладает религиозными представлениями" [Steinthal 1968: 153–154]. Другие случаи "мышления без языка", согласно Штейнталю, – сновидения, мышление в рамках логики и математических наук, химии (при использовании формул), восприятие музыки и живописи, изучение конструкции станка [Steinthal 1968: 154–155]. Из подобных случаев Штейнталь делает вывод, что низшая ступень мышления, созерцание внешних и внутренних картин, не нуждается в слове, что "обычное мышление простой человеческой жизни, по крайней мере, действительно и как правило нуждается в языке", но "дух пытается избавиться от этого груза звука на более высокой ступени своего формирования", нуждаясь при этом в "чувственных знаках" как своей опоре (например, в алгебраических формулах); слово, таким образом, главенствует в "срединном царстве мысли" [Steinthal 1968: 155].

Однако не следует относить Штейнталья уже на одном только этом основании к предтечам концепции невербального мышления, ведь изложенную выше точку зрения он разъясняет следующим образом: "Утверждения о неразрывности мышления и языка есть преувеличение, человек мыслит не в звуках и посредством звуков, а вместе с ними и в их сопровождении. Ведь ни действительность мышления не зависит и не становится возможной благодаря соединению его со звуком, ни слово и понятие, язык и мысль не становятся идентичными в силу их присоединения друг к другу" [Steinthal 1968: 156]. Язык, таким образом, трактуется как набор звуковых средств реализации мышления с содержательной стороны. Эта содержательная сторона носит универсальный характер и приобретает своеобразие лишь в силу различия между оболочками: "Надо как следует поразмыслить, чтобы прийти к тому, что, несмотря на то, что человеческое мышление всегда и везде остается тем же самым, все же в обсуждаемом здесь случае, в первом вспомогательном средстве мышления, в языке, проявляется отличие от регулярных отношений, которое не может быть безразлично для образа мышления как такового, то есть для психологической деятельности" [Steinthal 1968: 157]. Именно такая трактовка языка и мышления позволяет Штейнталю утверждать, что "способность понимать чужой язык и научиться говорить на нем уже как минимум доказывает возможность отделять мои мысли от моего языка" [Steinthal 1968: 158].

В речи проявляется, таким образом, по мысли Штейнталья, собственно сущность языка – соединение универсальных мыслительных элементов со звуковой формой, "представление первых во второй по определенным, присущим только этому языку формам и законам", и именно эту деятельность Штейнталь и называет "внутренней формой языка", его "идеальным обозначением" [Steinthal 1850a: 61]. Характерно в этой связи данное Штейнталем определение внутренней формы языка: "Внутренняя форма языка (грамматика) – это в собственном смысле вавилонская башня: ибо при ее образовании действуют все силы умонастроения, чувство, фантазия и разум; все эти силы действуют, однако, своеобразным, соответствующим природе народного духа способом; разум может даже подвести человека ошибочными или даже ложными дифференциациями и комбинациями к формам более произвольным, нежели обусловленным воистину логическими законами мышления" [Steinthal 1848: 111], из чего неизбежно следует разделение логических и грамматических категорий. Считаю, что каждый язык способен отобразить логические категории, Штейнталь сомневается в необходимости этого, ибо "одна общая форма может заменить в языке многие особенные" [Steinthal 1848: 118].

Мышление же, по мысли Штейнталья, "обладает собственными формами, которые не имеют ничего общего с их языковым сиянием, своими логическими и метафизическими формами; язык же располагает своим материалом. Этот материал есть средство; и нам уже известно это двойное средство языка: звук и инстинктивное самосознание. Звук – это в известном смысле холст, а инстинктивное самосознание составляет краски и контуры для отображения мысли говорящим" [Steinthal 1968: 358].

Оба составляют динамическую сторону языка (*Dynamis der Sprache*), а "реальное говорение есть энергия; языковая форма, как звуковая, так и внутренняя, есть энтелехия, то есть движение, которое преобразует динамическую сторону в действительность, формирует материал" [Steinthal 1968: 360]. Характерно также то мнение Штейнталя, что "не у каждого народа инстинктивное самосознание имело достаточно мощи для того, чтобы довести до уровня представления как материал созерцаний, так и форму их элементов", имея в виду корневые языки [Steinthal 1968: 365].

Концепция Штейнталя обнаруживает сведение языковой идиоэтничности к речевой реализации, а точнее – только к грамматике как особой логике данного народа, из факта наличия которой "проясняется одновременно возможность чрезвычайного различия языков несмотря на одинаковые определения мыслительных содержаний у всех народов" [Steinthal 1850a: 62]. Внутреннюю форму языка как своеобразную систему грамматических категорий одного языка Штейнталь противопоставляет создающему эту форму внутреннему смыслу языка (*innerer Sprachsin*), понимаемому как "лингвосозидающий дух или народное сознание" [Steinthal 1850a: 71]. Формирование этой "внутренней формы" возможно по единому принципу не только в одном языке, но и в целой семье языков [Steinthal 1848: 112], что наводит на мысль о том, что [Штейнталь разумел под внутренней формой типологические характеристики языков! Подтверждение этого предположения мы находим в размышлениях Штейнталя о китайском языке: "У этого языка нет внутренней формы, которая становится для него чисто внешним явлением. Внутренние связи и отношения понятий выражаются внешним соположением слов" [Steinthal 1848: 134]. Сходное толкование внутренней формы обнаруживается и в его рассуждениях об америндских языках [Steinthal 1888: 120–121]. Гумбольдту же он приписывает отождествление внутренней формы языка и всеобщих форм мышления [Steinthal 1850a: 45] – факт весьма и весьма своеобразной интерпретации его идей. Взаимосвязь между языком вообще и языками он видел в том, что всякий язык является "индивидуальным осуществлением понятия язык"; исследование разнообразия этих осуществлений предполагалось Штейнталем как изучение родства и типологических характеристик языков [Steinthal 1968: 387]. Весьма важно отметить, что одной из доминант исследования языка в духе Гумбольдта Штейнталь также считал поиск ответа на вопрос о происхождении языка [Steinthal 1888: 66].

Несколько иначе излагает он свое понимание внутренней формы в "Грамматике": "Звук становится знаком созерцания; звуковая реализация этого созерцания – это созерцание созерцания; подвергнутое же такому созерцанию созерцание есть представление; а представление и есть значение звукового знака. Созерцание созерцания есть перевод созерцания в звук, соединение обоих, внутренняя форма языка; в то время как звук есть внешняя форма языка, а представление относится к материалу сознания" [Steinthal 1968: 304]. Содержание же созерцания конкретного предмета, как считает Штейнталь, "не всегда охватывает полное содержание этого предмета, а лишь столько, сколько мы на самом деле в этом предмете разглядели", так что если наше осознание объектов субъективно, то внутренняя форма, созерцание созерцания, субъективна вдвойне; ведь ее осознание субъективного уже само по себе созерцания получается опять же с субъективных позиций [Steinthal 1968: 304–305]. У внутренней формы языка как способа соединения созерцания и звука Штейнталь обнаруживает несколько ступеней развития: патогномическую ступень (язык эмоций, существовавший у животных, в котором отсутствовала внутренняя форма, т.е. определенное созерцание эмоций, а к тому же звук и значение были идентичны; образованные на основе элементов этого первого языка ономастопозитические средства, в отличие от них, обладают значением, звучанием и внутренней формой, то есть "связью между звучанием и значением, признаком созерцания" [Steinthal 1968: 310]), характеризующую ступень (на которой содержанием внутренней формы становится служащий основой для номинации признак, смысл которого может вскрыть только этимология) и ступень исторического времени (на которой звук и объективное созерцание/значение связаны без посредников, что объясняется исчезновением внутренней формы языка из сознания, уступившей место закону ассоциации, так что "внутренняя форма ныне есть лишь только точка соприкосновения звука и значения, точка без протяженности и содержания. Мы больше не обладаем инстинктивным самосознанием, оно вытеснено действительным самосознанием" [Steinthal 1968: 314]).

Из подобных рассуждений выявляется еще одно толкование внутренней формы у Штейнтала – как степени мотивированности номинации, как характера связи значения и звучания, выявляемой этимологическим анализом единиц номинации; исследование внутренней формы языка понимается как изучение истории формирования понятий. Всякое слово понимается как обозначение того способа, которым авторы первичной номинации вычленили некий признак предмета и положили его в основу номинации [Steinthal 1968: 321]. Слово приобретает в концепции Штейнтала характер "вещи в себе", ведь "оно обозначает ту единицу, с которой связана сумма восприятий, неизменное ядро, остающееся прочным, даже если отдельные признаки меняются" [Steinthal 1968: 320]. Важно заметить, что Штейнталь формирует свое понимание внутренней формы в рамках моделирования глоттогенеза – момент, совершенно irrelevantный, к примеру, для неогумбольдтианства, которое принципиально ориентировано на исследование живого языка и поэтому только и считает его эмпирически постижимым. Эта же особенность проясняет и психологическую канву размышлений Штейнтала – от реконструкции ментальности создателей первых слов к созиданию психологии народов. Познание в период создания языка рисуется Штейнталу субъективным феноменом, ибо оно основывается на чувственном восприятии, т.е. "на том возбуждении, которое душа воспринимает от реального" [Steinthal 1865: 237]. Но он автоматически переносит это качество первичной номинации на позднейший этап развития языка, когда это познание уже не столько связано с непосредственным чувственным восприятием и сотворением "субъективного мира понятий", сколько с перенятием уже созданного мира объективированных в данном языковом коллективе понятийных единиц. Исследование этих единиц, тех "объектов, которые создал себе народ", Штейнталь относит к сфере исторической [Steinthal 1865: 240] и стилистической [Steinthal 1865: 243].

Цитируя знаменитые слова Гумбольдта о посреднической роли языка между человеком и природой [Steinthal 1888: 72–73], он поразительно настойчиво игнорирует это принципиальное положение, сводя его лишь к констатации того, что "всякий язык следует рассматривать как творение идеального мира" [Steinthal 1848: 128]. Более того, он полагает, что, наделяя язык подобной ролью, Гумбольдт "полностью закрыл себе дорогу к пониманию сущности языка, всестороннему определению его отношения к духу", так что «язык превращается у него в *causa sui*, в субстанцию, в нечто непосредственное, то есть "непостижимое"» [Steinthal 1850a: 27]. Так одно из фундаментальнейших положений концепции Гумбольдта, которое легло в основу неогумбольдтианской характеристики роли языка в жизни человека, отвергается Штейнталем!

Более того, Штейнталь вообще считает: "Что наиболее определенно характеризует образ мысли В. фон Гумбольдта, так это направленность на своеобразии индивидуальности. Поэтому он строго следит за тем, чтобы закон государства не вторгался без права на то в свободу конкретного человека и не претягивал формирование его своеобразия" [Steinthal 1850a: 13], а "общее и конкретное сущностно различны, противоположны, т.е. у Гумбольдта первое – сущность, второе – просто явление, первое – причина, второе – воздействие: между обоими Гумбольдт помещает для нас незаполнимую пропасть" [Steinthal 1850a: 16–17]. Остается добавить к этому, что и пропасть, и оба ее края являются таковыми только в фантазии Штейнтала, приравнивавшего общее к языковому идеалу, а конкретное – к речи конкретного человека и потому увидевшего между ними не язык как медиум языкового сообщества, а деятельность гениев, "личностей с бесконечным языковым сознанием" [Steinthal 1850a: 19].

Прочтение гумбольдтовой "целостности" как чего-то потустороннего [Steinthal 1850a: 38] позволило ему обвинить Гумбольдта в "аморфном мистицизме" [Steinthal 1850a: 17] и неточности в изложении своих мыслей, а также в очередной раз заявить: "Гумбольдт в своих теоретических рефлексиях не имеет стиля в строгом и глубоком смысле этого слова. Введение в работу о языке кави совершенно бесформенно" [Steinthal 1850a: 22]. Гениальность он проявляет, по мысли Штейнтала, лишь в конкретных языковых штудиях: "Гумбольдт удовлетворялся тем, что заставил свою теорию настолько сохранять молчание, чтобы она не искажала рассмотрение отдельных фактов" [Steinthal 1888: 107]!

Свою в конечном итоге неспособность проникнуть в смысл идей Гумбольдта Штейнталь объясняет "путаницей понятий в мышлении Гумбольдта" [Steinthal 1850a: 26]. Чего стоят заявления Штейнтала, что "Гумбольдт не может понять взаимосвязи между духом и языком" [Steinthal 1850a: 28], или его многочисленные вопросительные знаки в гумбольдтовом определении внутренней формы языка [Steinthal 1850a: 29], в ходе разбора которого он приходит к выводу, что "Гумбольдтом неясно определено отношение грамматических форм к логическим, а тем самым недостаточно определено и вообще отношение языка и мышления" [Steinthal 1850a: 31]. Подобные суждения о Гумбольдте вряд ли можно вслед за В. Лиопольдом умилительно назвать "прости-гельным бурчанием по поводу недостаточной точности в утверждениях Гумбольдта" [Leopold 1929: 255].

Поиски противоречий, неясностей и "ошибок" у Гумбольдта – излюбленный метод его "интерпретации" Штейнталем, проблематичность которой заключается в том, что установив в самом начале этой "интерпретации" свой собственный канон прочтения гумбольдтовых терминов, Штейнталь естественным образом не находил подтверждения их истинности в текстах Гумбольдта в ходе последующего их анализа. Кульминацией расхождения с Гумбольдтом является данное Штейнталем определение языка: "Язык есть деятельность духа по представлению себе себя самого – своих воззрений и понятий – в самосозданном всеобщем воззрении (*Anschauung*), каковое закрепляется мимикой и знаками всякого рода, особенно же в звучащей речи при помощи артикулируемого звука. Язык является таким образом самоосознанием – не понятия, но – воззрения; он есть инстинктоподобное самоосознание (*Selbstbewusstsein*), а его мы называем... представлением... Язык – это царство представления. Представление есть само себя рассматривающее или себе самому представленное воззрение и следовательно, всегда самопредставление... Слова содержат лишь представления, а история языка есть история человеческого представления" [Steinthal 1850a: 59].

Суммируя проблемы, с которыми столкнулось "критическое гумбольдтианство" в ходе "доставивания" концепции Гумбольдта, Штейнталь признает: «Гумбольдт описал чудо языка и именно поэтому не постиг язык как таковой. Он, во-первых, никогда, в том числе и в своем последнем великом труде, не понимал, как язык вообще взаимосвязан с духом; во-вторых, он, правда, глубоко охватил необходимость языка для мышления, но не понял отношения языка и мышления и, следовательно, отношения грамматических категорий к логическим; в-третьих, именно поэтому он не осознал отчетливо отношение особых грамматических категорий одного языка к требованиям языка вообще и именно поэтому и – сущность и отношение различия между языками; и по этим причинам, в-четвертых, он пришел к тому заявлению, что классификация языков, "если при более глубоком проникающем исследовании эта классификация должна войти также в их (т.е. языков) сущностные характеристики и их внутреннюю взаимосвязь с духовной индивидуальностью наций", как она на самом деле и должна сделать, "она вовлечет нас в неразрешимые сложности"» [Steinthal 1850c: 216–217].

"Критическое гумбольдтианство", следует понимать, эти противоречия "воистину трагического героя" Гумбольдта (Штейнталь) разрешило. Между тем, развитие критического гумбольдтианства продолжалось в русле психологии народов, в частности, в трудах другого видного эпигона Гумбольдта, В. Вундта (1832–1920).

Разницу между духом (*Geist*) и душой (*Seele*), столь существенную для определения характера связи личности и языка, Вундт определяет следующим образом: "О духе и духовных процессах мы говорим всегда в тех случаях, когда не думаем о каких-либо связях с физической природой или же когда старательно игнорируем их. Душа же и душевные процессы, напротив, всегда связаны у нас с физической жизнью" [Wundt 1900: 7]. Поэтому и психология народов, которую "в духе Гумбольдта" состязательно воздвигали Штейнталь и Вундт, должна быть "наукою о народной душе", в то время как "о 'народном духе' мы сможем говорить лишь тогда,... когда речь будет идти о характеристике духовного своеобразия определенного народа или различных народов", и таковое попадает уже в сферу характерологии народов или психологическую часть

этнологии [Wundt 1900: 8]. Примером исследования особенностей духа народов можно считать экстравагантную попытку Вундта извлечь эти особенности из истории философии, созданной представителями этих народов [Wundt 1916]. Кстати, в этой работе Вундт называет три "национальных антидобродетели" немецкого народа: слепое подражание чужому, отрицательное отношение к собственному и гораздо более быструю потерю своей национальности в чужих странах, нежели это происходит с представителями других народов [Wundt 1916: 145]. Вместе с тем, Вундт опровергает на основе своего философского анализа наличие в этническом характере немцев милитаризма и деспотизма, приписываемых им другими народами.

Душа есть для Вундта взаимосвязь непосредственных фактов нашего сознания, "психических процессов"; "душа народа" же, не являясь простым сочетанием индивидуальных единиц сознания, охватывает такие "своеобразные психические и психофизические процессы", которые проистекают из такого сочетания и которые не могли бы возникнуть в сознании конкретного человека [Wundt 1900: 10]. Вся народная психология основана, по Вундту, на существовании некой более высокой, чем сознание отдельного человека, духовной единицы – сообщества (*Gemeinschaft*), которое "создает самостоятельные духовные ценности, коренящиеся в душевных качествах конкретных людей, но носящие сами по себе специфический характер и привносящие в индивидуальную душевную жизнь вновь ее важнейшие содержания" [Wundt 1990: 19]. Вундт выделяет три основные области психологии народов: изучение проблем языка, мифа (к которому примыкают религия и искусство) и обычая (к коему примыкают право и культура), причем языку принадлежит главная роль как "необходимому вспомогательному средству общего мышления" [Wundt 1900: 37]. Именно в языке "отражается прежде всего мир представлений человека. В процессе изменения значений слов выражаются законы изменения представлений" [Wundt 1990: 37].

Несомненной ценностью обладают рассуждения Вундта о взаимосвязи языка и других сфер культуры данного сообщества, однако выведение им характерологических черт данного сообщества непосредственно из языковых данностей, введение в рассуждения пары контрагентов дух/душа скорее представляются продолжением линии Абеля-Финка, чем непосредственной оригинальной интерпретацией Гумбольдта. Для позднейшего неогумбольдтианства же лингвопсихология, при всей важности ее экспериментальных данных для обоснования тезисов философии языка, оставалась второстепенной областью, по сравнению с лингвосоциологией.

Позднее привлечение понятий "дух группы" и "душа группы" как двух базовых категорий социологии знания было свойственно М. Шелеру (1874–1928). В "Проблемах социологии знания" он определяет, несколько отходя от Вундта, душу группы как «коллективный субъект лишь той душевной деятельности, которая не осуществляется "спонтанно", а "осуществляет сама себя" в виде высказываний или иных автоматических или полуавтоматических видов психологической деятельности» [Scheler 1924: 42]. Под "духом группы" он подразумевал "субъект, который конституируется в процессе совместного осуществления спонтанных актов, обладающих предметным интенциональным соотношением" [Scheler 1924: 42]. Феномен групповой души обосновывает, по его мнению, миф, сказания, естественный народный язык, обычаи, традиции, народные костюмы. На духе группы основаны государство, право, наука, "общественное мнение" конкретной группы. Тем самым душа группы воздействует "снизу вверх", а дух – "сверху вниз". Для группы Шелер постулирует и существование "относительно естественного мировоззрения" (*relativ natürliche Weltanschauung*), противопоставляемого им "абсолютному естественному мировоззрению", способу рассмотрения мира, образующему минимум констант, встречающихся повсеместно и всегда там, где живут люди. Отвергая подобные универсальные константы, Шелер признает существование у группы (связанной прежде всего общим происхождением) относительно естественного мировоззрения, т.е. «всего того, что вообще считается в этой группе бесспорно "данным заведомо", и всякого предмета и содержания мнения о структурных формах "данного" безо всяких особенных спонтанных актов, причем эти данности считаются и

воспринимаются не нуждающимися в доказательствах и не пригодными для этого» [Scheler 1924: 48]. Такое мировоззрение различается в разных группах, а также внутри одной и той же группы – на различных этапах ее развития. Поэтому Шелер приходит к убеждению, что константного естественного мировоззрения "человека вообще" не существует и что различия в категориальных структурах данности простираются и на эту область [Scheler 1924: 48].

Концепт относительно естественного мировоззрения позволяет Шелеру, таким образом, присоединиться к тезису о связанной с группами людей относительности познания, который ставит перед социологией задачу выявить ступени трансформации относительно естественных мировоззрений друг из друга [Scheler 1924: 48].

Таким образом, Шелер приближает психологические концепты Вундта к социологической основе всяческих рассуждений о познании.

Сравнение концепций, сложившихся во второй половине XIX – первой половине XX в. и опирающихся на Гумбольдта, позволяет обнаружить, что сам факт привлечения идей Гумбольдта к собственному концептогенезу вовсе не означает автоматического признания идиоэтничности языков. Важные примеры – концепции Ф. Маутнера (критическая гносеология, избобличение "химер языка" [Mauthner 1906], см. также [Фурманова 2000]), взгляды К. Фосслера (1872–1949). Эти концепции оказали, наряду с "гумбольдтианством" Штейнталя, большое внимание на рецепцию некоторых идей Гумбольдта в европейском, в том числе и – российском, языкознании, хотя эти идеи и были препарированы в русле той или иной концепции, в частности, в работах А.А. Потебни, П.И. Житецкого, С.П. Шевырева, А. Будиловича и др.

Перспекции идей В. фон Гумбольдта обнаруживаются в начале XX века в философии и языковедении не только Европы (в частности, в философии символических форм Э. Кассирера (1874–1945), философии истории Р. Хенигсвальда, штудиях А. Марти (1874–1914)), но и в США (разработка "принципа языковой относительности" Э. Сепиром (1884–1939) и Б.Л. Уорфом (1897–1941) (см. также [Кернер 1992; Pätz et al. 2000])). Однако наибольшее влияние эти идеи оказали на формирование школы неогумбольдтианства в Германии (Й.Л. Вайсгербер, В. Порциг, Й. Трир и их ученики Х. Гиппер, Х. Шварц и др.) (см. [Gipper 1992–1993; Вайсгербер 1993]). Правда, ревизия принятых точек зрения на идеи Гумбольдта была приостановлена в период национал-социализма (см. [Булгакова, Демьяненко 2000; Радченко 2000]), но она была немедленно возобновлена неогумбольдтианцами после войны и успешно продолжается до сих пор [Schmitter 1991; Mueller-Vollmer 1991; Navarro-Perez 1993; Coseriu 1996; Schneider 1995; Gardt 1999].

Последняя четверть XX века вернула исследователям притягательность работ Гумбольдта, вызвала к жизни целый ряд аналитических трудов, посвященных различным этапам творчества Гумбольдта, используемой им понятийной системе, отдельным трудам (см. особенно [Постовалова 1982; Гумбольдт 1984; 1985]). Этот интерес, несомненно, останется одним из лейтмотивов языкознания новой эпохи, поскольку он возвращает нас не к истокам современного взгляда на феномен языка, а скорее – к источнику многократных заблуждений и ложных самооценок, ценных тем, что в ходе их преодоления постепенно становится все более отчетливым силуэт будущей вавилонской башни новой науки о языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Булгакова М.А., Демьяненко А.П. 2000 – К вопросу об истории культуры языка в Германии 20–30-х гг. // Вайсгерберовские чтения. Сборник научных трудов Московского городского педагогического университета. М., 2000.
- Вайсгербер Й.Л. 1993 – Родной язык и формирование духа / Пер. с нем. вступ. статья, комментарии О.А. Радченко. М., 1993.
- Гумбольдт В. фон 1984 – Избранные труды по языкознанию. Перевод с немецкого языка под ред. и с предисл. Г.В. Рамишвили. М., 1984.

- Гумбольдт В фон* 1985 – Язык и философия культуры / Под ред. А В. Гулыги и Г.В. Рамишвили. М., 1985.
- Демьянков В З* 1995 – Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца 20 века М, 1995
- Кернер Э Ф К* 1992 – Вильгельм фон Гумбольдт и этнолингвистика в Северной Америке. От Боаса до Хаймса // ВЯ 1992 № 1
- Постовалова В И* 1982 – Язык как деятельность Опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. М., 1982.
- Радченко О А* 1997 – Язык как мирозидание. Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. Т 1–2. М., 1997.
- Радченко О А* 2000 – Проблема языкового сообщества в немецкой философии языка первой половины XX века // ВЯ. 2000. № 4.
- Степанов Ю С* 1994 – Пространства и миры – "новый", "воображаемый", "ментальный" и прочие // Философия языка в границах и вне границ. Т. 2. Харьков, 1994.
- Фурманова С.Л.* 2000 – Ф Маутнер и его лингвокритическая концепция // Вайсгерберовские чтения. Сборник научных трудов Московского городского педагогического университета. М., 2000
- Abel C* 1885 – *Über Sprache als Ausdruck nationaler Denkweise* Berlin. 1869 // Abel, Carl. Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Leipzig, 1885
- Arndt E M* 1805 – *Ideen über die hochste historische Ansicht der Sprache* Rostock, Leipzig, 1805.
- Arndt E M* 1934 – *Deutsche Volkwerdung. Sein politisches Vermächtnis an die deutsche Gegenwart. Kernstellen aus seinen Schriften und Briefen* / Hrsg. von C Petersen und P H Ruth Breslau, 1934.
- Aronstein P* 1931 – *Englandertum und englische Sprache*. Leipzig. 1931
- Coseriu E* 1996 – *Sprachwissenschaftsgeschichte und Sprachforschung. Sprachform und Sprachformen*. Tübingen, 1996
- Deutschheim M.* 1928 – *Englisches Volkstum und englische Sprache* // *Handbuch der Englandkunde* 1. Frankfurt-am-Main, 1928
- Fichte J G* 1846a – *Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprünge der Sprache (1795)* // Fichte, J.G. *Samtliche Werke*. Bd. VIII, Abth. 3: *Popularwissenschaftliche Schriften* Berlin, 1846.
- Fichte J G* 1846b – *Reden an die deutsche Nation (1808)* // Fichte J.G. *Samtliche Werke*. Bd. VII. Berlin, 1846.
- Finck F N* 1899 – *Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung. Acht Vorträge*. Marburg, 1899.
- Freyer H* 1928 – *Sprache und Kultur* // *Die Erziehung* 1928. 3
- Gabelentz G von dei* 1891 – *Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse*. Leipzig 1891
- Gardt A* 1999 – *Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert*. Berlin, New York, 1999
- Gippei H* 1992–1993 – *Theorie und Praxis inhaltbezogener Sprachforschung* Aufsätze und Vorträge 1953–1990. Bd. 1–5 Munster, 1992–1993.
- Haym R* 1856 – *Wilhelm von Humboldt. Lebensbild und Charakteristik*. Osnabruck, 1856
- Humboldt W von* 1903a – *Plan einer vergleichenden Anthropologie (1795)* // *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann Bd 1 Berlin, 1903
- Humboldt W von* 1903b – *Über die deutsche Verfassung (1813)* // *Politische Denkschriften* / Hrsg. von Bruno Gebhardt. Bd 2. Berlin, 1903
- Humboldt W von* 1906a – *Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues (1827–1829)* // *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd VI. Berlin, 1906.
- Humboldt W von* 1906b – *Grundzüge des allgemeinen Sprachtypus (1824)* // *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann Bd V. 1906.
- Humboldt W von* 1906c – *Über den Zusammenhang der Schrift mit der Sprache (1838)* // *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann Bd V. Berlin, 1906
- Humboldt W von* 1906d – *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VI. Berlin, 1906.
- Humboldt W von* 1907a – *Über Denken und Sprechen (1795–1796)* // *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VII Berlin, 1907.
- Humboldt W von* 1907b – *Fragmente der Monographie über die Basken (1801–1802)* // *Werke* / Hrsg. von A. Leitzmann. Abt. 1. Bd. VII. 1907.

- Humboldt W. von* 1907 c – Über den französischen Nationalcharakter (1799) // Werke / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VII. Berlin, 1907.
- Humboldt W. von* 1907d – Über den Einfluss des verschiedenen Charakters der Sprachen auf Literatur und Geistesbildung // Werke / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VII. Berlin, 1907.
- Humboldt W. von* 1907e – Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes (1830–1835) // Werke / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VII. 1907. 1.
- Humboldt W. von* 1907f – Über Sprachverwandtschaft (1812–1814) // Humboldt W. von Werke / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VII. Berlin, 1907.
- Humboldt W. von* 1907g – Über den Dualis (1827) // Werke / Hrsg. von A. Leitzmann. Bd. VI. 1907.
- Humboldt W. von* 1929 – Über die Gesetze der Entwicklung der menschlichen Kräfte. Bruchstück (1791) // Humboldt W. von. Philosophische Anthropologie und Theorie der Menschenkenntnis. Halle, 1929.
- Humboldt W. von* 1961 – **Latium und Hellas oder Betrachtungen** über das classische Altertum (1806) // Werke in 5 Bdd. Bd. II – Schriften zur Altertumskunde und Aesthetik. Die Vasken. Darmstadt, 1961.
- Humboldt W. von* 1963a – Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung (1820) // Werke in 5 Bdd. Bd. III. Darmstadt, 1963.
- Humboldt W. von* 1963b – Über den Nationalcharakter der Sprachen (Entwurf) (1822) // Werke in 5 Bdd. Bd. III. Darmstadt, 1963.
- Kreis F.* 1927 – Zur Philosophie der Sprache // Kantstudien 32. Hf. 2–3. 1927.
- Leopold W.* 1929 – Inner Form // Language. 1929. V.
- Lerch E.* 1932 – Spanische Sprache und Wesensart // Handbuch der Spanienkunde. 1932.
- Lerch E.* 1934 – Die neue Sprachwissenschaft // Die neueren Sprachen. 1934. 42.
- Mauthner F.* 1906 – Die Sprache. Frankfurt-am-Main, 1906.
- Mauthner F.* 1923 – Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Leipzig, 1901. 3-te Aufl. 1923.
- Mueller-Vollmer K.* 1991 – Mutter Sanskrit und die Nacktheit der Südseesprachen: Das Begräbnis von Humboldts Sprachwissenschaft // Athenäum. 1991. 1.
- Navarro-Perez J.* 1993 – Sprache und Individuum. Ein Versuch über den Gedanken der nicht mehr zu findenden Einheit in der Sprachphilosophie Wilhelm von Humboldts. Wuppertal, 1993.
- Pätz M., Verspoor M.N.* 2000 – Explorations in linguistic relativity. Amsterdam, 2000.
- Scheler M.* 1924 – Probleme der Soziologie des Wissens // Versuche zu einer Soziologie des Wissens. München; Leipzig, 1924.
- Schmitter P.* 1991 – Multum – non multa? Studien zur "Einheit der Reflexion" im Werk W. von Humboldts. Münster, 1991.
- Schneider F.* 1995 – Der Typus der Sprache. Eine Rekonstruktion des Sprachbegriffs Wilhelm von Humboldts auf der Grundlage der Sprachursprungsfrage. Münster, 1995.
- Schröder A.* 1930 – Wortbedeutung und Nationalcharakter // Neuphilologische Monatschrift. 1930. 1.
- Schwinger R.* 1934 – Innere Form. Ein Beitrag zur Definition des Begriffes auf Grund seiner Geschichte von Shaftsbury bis W. von Humboldt. München, 1934.
- Steinthal H.* 1848 – Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldt's und die Hegel'sche Philosophie. Berlin, 1848.
- Steinthal H.* 1850a – Die Classification der Sprachen. Dargestellt als die Entwicklung der Sprachidee. Berlin, 1850.
- Steinthal H.* 1850b – Der heutige Stand der Sprachwissenschaft // Allgemeine Monatschrift für Literatur. 1850. 1.
- Steinthal H.* 1850c – Wilhelm von Humboldt // Allgemeine Monatschrift für Literatur. 1850. 1.
- Steinthal H.* 1860 – Über den Idealismus in der Sprachwissenschaft // Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. 1860. 1.
- Steinthal H.* 1865 – Anti-Kaulen oder mytische Vorstellungen vom Ursprunge der Völker und Sprachen // Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft III. 1865.
- Steinthal H.* 1968 – Grammatik, Logik und Psychologie. Hildesheim, 1968.
- Steinthal H.* 1884 – Vorwort des Herausgebers // Steinthal H. (Hrsg.) Die sprachphilosophischen Werke Wilhelm von Humboldts. Berlin, 1884.
- Steinthal H.* 1888 – Ursprung der Sprache. Im Zusammenhang mit den letzten Fragen alles Wissens. Eine Darstellung, Kritik und Fortentwicklung der vorzüglichen Ansicht. 4. Aufl. Berlin, 1888.

- Wedewer H.* 1859 – Über die Wichtigkeit und Bedeutung der Sprache für das tiefere Verständnis des Volkscharakters mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Sprache. Frankfurt-am-Main, 1859.
- Weisgerber J.L.* 1931 – Vom Sinn des Unterrichts in fremden Sprachen // Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung. Leipzig, 1931. 7.
- Weisgerber J.L.* 1950 – Die geschichtliche Kraft der deutschen Sprache. Düsseldorf, 1950.
- Weisgerber J.L.* 1952 – Die Wiedergeburt des vergleichenden Sprachstudiums // Lexis. 1952. 2.
- Wildhagen K.* 1929 – Die englische Sprache, ein Spiegelbild englischen Wesen // Britannica. Festschrift Max Foerster. Leipzig, 1929.
- Wundt W.* 1916 – Die Nationen und ihre Philosophie. Ein Kapitel zum Weltkrieg. Leipzig, 1916.
- Wundt W.* 1900–1919 – Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Leipzig, Engelmann. Bd. 1–8. 1900–1919.
- Ziegler H.* 1931 – Die moderne Nation. Tübingen. 1931.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Русский орфографический словарь / Сост. Б.З. Букчина, О.Е. Иванова, С.М. Кузьмина, В.В. Лопатин, Л.К. Чельцова. Отв. ред. В.В. Лопатин, М., "Азбуковник", 1999. XVIII + 1262 с.

Начиная с 1956 года, когда одновременно со сводом "Правила русской орфографии и пунктуации" Институтом русского языка Академии наук СССР был выпущен большой "Орфографический словарь русского языка", этот словарь постоянно переиздавался и выдержал 33 издания, из которых издания 1963, 1974 и 1991 гг. содержали небольшие изменения, а прочие были стереотипными. И вот в 1999 г. коллективом сектора орфографии и орфоэпии ИРЯ РАН подготовлен и опубликован труд под заглавием "Русский орфографический словарь". И это не простая смена названия, а отражение того факта, что читатели получили не переиздание, хотя бы и с изменениями, а именно новый словарь.

В чем же состоит эта новизна? Она не в орфографических новациях (новые написания есть, но их очень немного) — обновлены прежде всего состав включенной в словарь лексики и структура словаря.

Очень существенно пополнен словник: он возрос более чем в полтора раза (до 160 тысяч единиц). Это пополнение произведено преимущественно за счет новой или значительно актуализировавшейся, перешедшей из специального в общее употребление лексики, связанной с социально-экономическими переменами 90-х годов.

При этом охвачены не только новообразования или новые заимствования литературного языка, но и значительный слой разговорной, просторечной и даже жаргонной лексики, характерной для средств массовой информации последнего времени с их ярко выраженным стремлением преодолеть официозную манеру речи. В связи с этим необходимо заметить, что включение подобной лексики в нормативный словарь, конечно, не бесспорно, однако в сегодняшней ситуации, по-видимому, имеет серьезный

резон. Другое дело, что ненормативные слова зачастую даются в словаре, к сожалению, без каких-либо помет. Для словаря нормативного типа это несомненный промах: широкий читатель, на которого прежде всего и рассчитано любое справочное издание по орфографии, не слишком задумывается над различием языка и правописания и, находя нелитературное слово в авторитетном словаре, может считать, что получил справку не только о его нормативном написании, но о нормативности его употребления.

Второй источник пополнения словника — включение довольно большого круга слов и выражений, пишущихся с прописной буквы. В их числе — и собственные имена, и наименования различного рода организаций, титулов и т.п. Само по себе это, несомненно, положительный факт, повышающий практическую ценность словаря, освобождая пользователя от необходимости обращаться к специальным справочникам — по крайней мере в наиболее употребительных случаях написания прописной буквы. К сожалению, определенные недостатки есть и в подаче этой части материала. Образования вида *верхнеуральский, поволжский, сибирский* и др. оттопонимические прилагательные, которые могут писаться как со строчной, так и с прописной буквы, даны в написании со строчной без каких-либо отсылок к правилу. Видимо, следовало снабдить подобные слова каким-то условным значком, отсылающим к правилу, и привести в словаре это правило, как это сделано по отношению к словам, пишущимся как слитно, так и раздельно с отрицанием *не*.

И еще одно замечание относительно прописной. Среди групп лексики, которая актуализировалась в последние годы, в предисловии справедливо названа лексика церковно-религиозная, и расширение ее

охвата словарем само по себе опять-таки можно только приветствовать. Но, увы, составителей словаря, как видно, не обошла та мировоззренческая аберрация и та религиозная окрошка, какой характеризуется сознание большинства наших более или менее грамотных современников, не исключая и интеллигенцию. Вот как, например, подано одно из слов религиозной сферы: "**Богородица, -ы, тв. -ей**", но "**богородица, -ы, тв. -ей (у хлыстов)**". Но согласны ли сами хлысты писать со строчной наименование своих "богородиц"? А как обстоит дело у атеистов? У верующих нехристианских конфессий? Или возьмем слово **бог**. В старых изданиях "Орфографического словаря русского языка" оно давалось однозначно как пишущееся со строчной буквы. Теперь оно снабжено таким дополнением: "и (в христианской и нек-рых др. религиях: единое верховное существо) **Бог, -а**". А ведь фактически в правописании подобных слов давно и прочно установилась и в последнее время ни в какой мере не претерпела изменений следующая норма: с прописной буквы пишутся наименования верховных существ той религии, которой придерживается пишущий (а атеист, соответственно, пишет все такие слова со строчной буквы). Другое дело, что в последние годы прибавилось людей, заявляющих себя христианами, а потому участилось и написание имени христианского бога с прописной буквы. Но это — изменение социально-этической нормы, а не орфографической. Орфографическая же норма ни в старом, ни в новом словаре адекватного отражения не получила.

Заслуживает полного одобрения и, по-видимому, не может вызвать каких-либо возражений и наличие в структуре словаря такого раздела, как "Список личных имен", в котором при мужских именах даются также и отчества. Этот список отсутствовал в первых изданиях "Орфографического словаря русского языка", но его включение в позднейшие издания и сохранение в новом словаре, безусловно, в интересах читателя. Это же надо сказать и об очень значительном расширении в словаре состава включенных в него наименований жителей по населенным пунктам: *Омск — омич — омичи, Смоленск — смолянин — смоляне, Одесса — одессит — одесситы* и т.д. Способы образования подобных слов, зачастую своеобразные, — это как будто вопрос, выходящий за пределы собственно орфографии, но напомним еще раз о чисто практическом назначении словаря. Думаается, перед нами тот случай, когда словообразовательные ин-

тересы ответственного редактора рецензируемого издания В.В. Лопатина сыграли положительную роль.

Несомненно удобным для пользователя является и включение в структуру словаря такого раздела, как "Основные общепринятые графические сокращения". Корректоры и редакторы-практики знают, как часто возникают споры с авторами по этому, казалось бы, сугубо частному и не такому уж сложному вопросу и как нужен в таких случаях авторитетный справочник.

Но, может быть, самым важным в новом словаре по части его структуры является выделение в особый список слов с измененным написанием. В этот список, включающий около 200 единиц, вошли слова, написание которых было изменено в 29-м издании "Орфографического словаря русского языка" (1991 г.) и изменяется в новом словаре. При этом изменения, внесенные уже в издание 1991 года, помечены особым значком.

Вынесение этих слов в отдельный список (он приводится в начале словаря), надо думать, до известной степени сгладит то раздражение, которое неизбежно вызывают у учителей, корректоров и у всех, кто уже овладел прежней орфографической нормой, любые новации в данной области.

Что собой представляют измененные написание? В подавляющем большинстве изменения коснулись слитных и дефисных написаний сложных слов, хотя есть и некоторые иные случаи — например, *ъ* в слове *гиперъядро*, *о* в слове *плащовка*, изменение написания *н-ни* в отдельных словах и др. Наибольшие нарекания вызовут, видимо, как раз нововведения в области слитных и дефисных написаний. Действительно, обнаружение Б.З. Букчиной в практике пишущих тенденции к дефисному написанию сложных прилагательных в тех случаях, когда в первой части слова есть суффиксальный элемент, хотя и делает честь наблюдательному автору, однако базой для изменения правила пока что не стало. Опережающая смену правила попытка урегулировать данный круг написаний в словарном порядке требовала, как кажется, большей осмотрительности и осторожности.

К сказанному следует добавить, что, видимо, следовало внести в список все изменения, имевшие место после 1956 года, не исключая и тех единичных, которые были сделаны в изданиях "Орфографического словаря русского языка" 1963 и 1974 гг.

При всех указанных недостатках хотелось бы особо подчеркнуть заботу авторов

словаря об удобстве издания для пользователей самого широкого круга.

Завершая этот краткий анализ нового орфографического словаря, хотелось бы сказать еще вот о чем. Составление справочного издания по орфографии – вовсе не такая простая задача, как это представляется неспециалистам, а иной раз, как ни печально, даже и специалистам. Такое облегченное представление привело, между прочим, к выходу в последние годы целого ряда недоброкачественных орфографических справочников, что уже отмечалось в прессе. Это, во-первых, двухтомный "Орфографический словарь русского языка", выпущенный фирмой "Гекта – Трейд" под именем С.И. Ожегова и на самом деле представляющий собой перепечатку издания академического словаря 1957 года (где С.И. Ожегов – не автор, а один из редакторов и где, разумеется, отсутствуют изменения, внесенные в написание ряда слов позднейшими изданиями). Это, во-вторых, "Современный орфографический словарь русского языка" Н.П. Колесникова и Л.А. Введенской (Ростов-на-Дону, 1995) и "Новый орфографический словарь русского языка" тех же авторов (М., изд-во "Дубль-В", 1995), содержащий множество ошибок. Это вышедший в 1997 г. в издательстве "Альянс" "Большой орфографический словарь", целиком являющийся воспроизведением 13-го (почему именно этого?) издания "Орфографического словаря русского языка", составленного в ИРЯ АН СССР. Это книга под названием "Правила русской орфографии и пунктуации. Орфографический словарь", подготовленная В.Н. Поповым, которая представляет собой вовсе не орфографический словарь, а просто-напросто словник широко известного толкового словаря С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, но которая вышла, как ни странно, под грифом академического Института русского языка (подробнее см. [Осипов, Иванова 1996; Букчина 1997]). (К сожалению, это не единственное странное событие, коснувшееся уважаемого института в середине 90-х годов.) Известия о выходе пиратских, устарелых или содержащих много-

численные ошибки орфографических (и не только орфографических) словарей, к сожалению, продолжают поступать и сегодня как из столичных городов, так и из провинции, и все подобные поделки трудно даже учесть.

На этом фоне выход в свет серьезного академического труда (действительно академического) представляется особенно отрадным. Вряд ли стоит сомневаться, что словарь выдержит не одно издание (особенно учитывая крохотный тираж теперешнего). Думается, что в этих переизданиях авторы будут иметь возможность учесть высказанные в данной рецензии замечания, как и другие претензии, которые, вероятно, могут возникнуть у коллег и у рядовых читателей.

Орфографическая комиссия Института русского языка ведет, как известно, подготовку новой редакции "Правил русской орфографии и пунктуации". Дело это необходимое: сама жизнь поставила вопрос о судьбе правил, касающихся прописной буквы в наименованиях организаций и должностей, безо всякого ущерба можно устранить неоправданные сложности в правилах переноса слов. Но работа эта еще не завершена, а ежедневная практика школы и издательств требует нормативного справочника, который бы уже сегодня отразил современное состояние языка. Выход "Русского орфографического словаря", таким образом, отвечает настоятельной потребности общества и способен, по крайней мере во всем существенном, удовлетворить эту потребность на достаточно высоком профессиональном уровне.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Осипов Б.И., Иванова Е.Ф. 1996 – О недоброкачественных изданиях орфографических словарей // Вестник Омского ун-та. 1996. № 1.
Букчина Б.З. 1997 – Орфографический словарь – всегда ли закон? // РР. 1997. № 1.

Б.И. Осипов

Пятые Поливановские чтения: Сборник научных статей по материалам докладов и сообщений. Ч. 1. Общее и сопоставительное языкознание. Социолингвистика. 213 с.; Ч. 2: История славянских языков и диалектология. 216 с.; Ч. 3. Вопросы грамматики, лексикографии и методики. 260 с.; Ч. 4. Слово в тексте. 194 с. (Смоленск. 16–18 мая 2000 г.). Смоленск: СГПУ, 2000.

В Смоленском государственном педагогическом университете сложилась хорошая традиция организации общероссийских и международных конференций по актуальным проблемам русского исторического, теоретического и славянского языкознания. Одним из таких событий стали **П о л и в а н о в с к и е ч т е н и я**, которые проводятся уже пятый раз. Начиная с 1991 г., когда отмечалось столетие со дня рождения Е.Д. Поливанова, чтения стали регулярными и привлекают к сотрудничеству все большее количество специалистов из разных регионов страны. Подобные конференции, как мы полагаем, в последние годы приобрели еще и иной смысл. Смоленский край – исконно русская территория, которая в течение многих столетий была и остается оплотом русской нации и языка на западных окраинах. Оттого, наверное, именно Смоленск стал тем культурно-историческим (а сейчас можно сказать – и научным) центром, который связывает целые поколения славянства.

Весьма примечательно, что чтения проводятся на родине Е.Д. Поливанова и позволяют региональным школам показать результаты собственных исследований по истории языка и культуры родного края.

Сборник материалов **П я т ы х П о л и в а н о в с к и х ч т е н и й** заметно отличается от предыдущих изданий широтой и глубиной проблематики, интересными исследованиями и географией участников. Материалы сгруппированы в четыре тематических сборника.

Ч. 1 "Общее и сопоставительное языкознание. Социолингвистика", открывающая сборник научных статей и докладов, поднимает одну из основных проблем отечественной филологии, которая находилась и в центре внимания Е.Д. Поливанова, рассматривавшего типологическую схему "эволюции языка в связи с историей культуры" (с. 3). Из статей, включенных в эту часть, заслуживают внимания работы В.Н. Прохоровой «О "социальных диалектах" и жаргонной лексике в современном русском языке (языке конца XX и начала XXI веков)» (с. 5–11), С.Г. Васильевой "Принцип относительности индивидуальных языковых систем Е.Д. Поливанова и типология билингвизма личности" (с. 20–26), А.Д. Ва-

сильева "О некоторых чертах современного российского телевизионного дискурса" (с. 51–58), Л.Г. Смирновой "Средства воздействия в политической пропаганде" (с. 58–66), И.Д. Чаплыгиной "Обращенность речи и средства ее выражения" (с. 91–98), В.С. Третьяковой "Речевой конфликт: предпосылки и стадии развития" (с. 98–104), И.И. Ляпиной "Этнический компонент в межнациональном общении" (с. 131–135), Е.Г. Вершининой "К вопросу о сущности и теории языковой вариативности" (с. 173–177) и др. Заслуживают внимания и статьи, посвященные изучению не только русского языкового субстрата, но функционированию разноуровневых социолингвистических характеристик в системе европейских, древних языков и диалектов Средней Азии (И.Н. Пьянзина, О.В. Гудина, Е.Е. Лабцова, С.И. Ибрагимов, Т.Е. Жакова, А. Г. и Г.Г. Сильянищев).

В целом следует заметить, что в данной части довольно широко представлена социолингвистическая тематика преимущественно диахронического характера, а вопросы методологии общего и сопоставительного языкознания выступают менее рельефно. Все же нам кажется вполне допустимым, что некоторый "перекос" в сторону социолингвистических процессов современного общества оправдан повышенным интересом современных исследователей к этой стороне лингвистического организма и в какой-то мере определяет язык как социально-исторический фактор.

Ч. 2 "История славянских языков и диалектология" охватывает довольно широкий пласт исследований, затронувших вопросы истории русского языка и лингвистического источниковедения, терминологии, анализа номинаций в разных пластах лексики и т.п. Здесь прежде всего необходимо выделить работы И.Г. Добродомова и Г.Я. Романовой "Е.Д. Поливанов и тюркизмы русского языка" (с. 3–10), Е.Н. Борисовой "Словарная статья в историческом словаре" (с. 11–21), Л.П. Клименко «Лексико-семантическая характеристика понятия "красоты" в старославянских скаральных текстах X–XI вв.» (с. 22–28), Л.Ю. Астахиной "О лингвистической информативности рукописных и опубликованных источников" (с. 29–32), Т.В. Василенко "По-

нятие хрии в русских риториках XVIII – начала XIX вв." (с. 41–50), М.В. Пименовой "Структурно-синтагматическая синкретемия" (с. 53–56), И.А. Королевой "Антропонимическая лексика в памятниках обороны Смоленска 1609–1611 гг. (некрестильные имена)" (с. 65–74), Е.И. Зиновьевой "Семантика и функционирование глагола *служить* в записных кабальных книгах XVI–XVII веков" (с. 74–79), М.И. Тарасова "Разговорная речь и ее литературное отражение в конце XVIII – начале XIX вв." (с. 88–92), Т.В. Габлиной и И.Е. Макаровой "К лингвотекстологическому изучению документов личного происхождения" (с. 112–117), А.Л. Итуниной «К истории становления и развития русской ботанической терминологии в XVIII – первой четверти XIX в. Лексико-семантическая группа со значением "венчик"» (с. 125–132), Л.З. Бояриновой «Лексикографические особенности "Смоленского областного словаря" В.Н. Добровольского» (с. 165–168), Н.Г. Ильинской "Общерусский глагол *ходить* в архангельских говорах" (с. 168–174), О.Н. Бойцова "К проблеме изучения топонимов и микро-топонимов на территории Смоленского края" (с. 195–202) и др.

Однако при заявленной проблематике "история славянских языков" данная область почти не охвачена и представлена довольно слабо (особенно современные славянские языки). Все же мы полагаем, что этот выпуск – наиболее интересная и содержательная часть сборника. Во многом оригинальные авторские статьи, основанные на новых языковых данных и неизвестных источниках из фондов российских архивов, написаны на высоком научно-теоретическом уровне, с живой "фантазией" исследователя и глубокими знаниями в области истории русско-го языка и диалектологии.

В ч. 3 "Вопросы грамматики, лексикографии и методики" представлены статьи, обсуждающие вопросы теории грамматики, общей, учебной и исторической лексикографии, методики обучения родному и иностранным языкам. Отметим следующие работы: А.Н. Тихонов, Р.А. Валеева "Вариантные формы русского глагола в словаре трудностей" (с. 3–8), М.С. Колесникова "Взаимодействие языка и этнокультуры: лексикографические аспекты" (с. 9–17), Е.Н. Тихонова «Парадигма причастных форм глагола в учебном "Грамматическом словаре русского языка"» (с. 29–34), С. Валериус "Переводные словари XVIII века и их роль в изучении разговорной речи данного периода", (с. 52–61), З.А. Мирошникова

"Формирование семантики производного слова" (с. 201–206), М.И. Рабинович "Отечественные журналы о жизни и деятельности Е.Д. Поливанова" (с. 252–257) и др.

Следует, однако, заметить, что эта часть наиболее "разнопрофильная" и включила также материалы по терминологии, психолингвистике, диалектологии, этимологии и истории науки, что значительно раздвигает рамки обозначенного в этой части заглавия.

Заключительная часть Пятых Поливановских чтений "Слово в тексте" представляет работы по лингвистике и стилистике текста. В основном авторы уделили внимание разбору индивидуальных средств выражения идиостилия писателей и поэтов XIX–XX вв., а также проблемам жанра и его лингвистического "насыщения". Укажем некоторые статьи этого раздела: В.А. Маслова "Фонетические особенности поэтического текста в свете учения Е.Д. Поливанова" (с. 3–6), Е.А. Гончарова "Об одном из аспектов актуализации антропоцентризма в структуре художественного текста" (с. 25–30), О.В. Павлова "Способы употребления синонимов в поэтических текстах Серебряного века" (с. 50–56), Э.М. Береговская "Двойное членение текста и другие редкие приемы каламбурной техники" (с. 65–75), Л.М. Борисенкова "К вопросу о языковой экономии в организации текста" (с. 91–99), Т.А. Павлюченкова "О фольклорно-мифологической природе некоторых образов в поэзии И.А. Бунина" (с. 132–136), А.Г. Ломов "Явление субституции фразеологических единиц (автографы пьес А.Н. Островского)" (с. 165–170).

В этой части также опубликованы работы, которые, на наш взгляд, целесообразно было бы поместить в другие выпуски: И.А. Королева "Фамилии, образованные от названий, указывающих на социальное положение именуемого, и их формирование" (с. 153–158) и Г.И. Краморенко «Заметки на тему: "Е.Д. Поливанов и современная социоллингвистика (по материалам социоллингвистики и вариативной лингвистики ФРГ)"» (с. 170–181). В целом, данная часть представляет определенный интерес для исследователей, но нуждается (в дальнейшем) в тщательном отборе работ и квалифицированных авторов – специалистов по истории, теории и культуре слова в тексте.

Издание сборника материалов было поддержано Российским гуманитарным научным фондом, а тираж, к сожалению, очень небольшой – 150 экз. Сборник отличает добротное, но скромное исполнение. В текстах статей есть незначительные опечатки, а также в библиографических данных по-

следнего выпуска и в содержании частей. Считаем, что в конце четвертой части следовало бы поместить фамилии авторов с указанием мест работы (и, возможно, адресов) для дальнейших контактов. Надеемся, что редакторы последующих изданий обратят внимание и на эти детали.

Полагаем, что в будущих памятных чтениях следует обратиться к изучению неизвестных фактов биографии и научной деятельности Е.Д. Поливанова и ученых того времени. Поэтому считаем целесообразным введение разделов "Из истории языко-

знания", "Научное наследие Е.Д. Поливанова". Автору этих строк известны некоторые до сих пор никем не опубликованные материалы, наброски статей и фрагменты эпистолярного наследия ученого. Думаем, что, воскрешая наследие ученого, мы создаем и базу для дальнейших плодотворных исследований в "поливановедении" и приобщаем молодежь к еще не поднятому пласту отечественной науки.

О.В. Никитин

A. Kretschmer. Zur Geschichte des Schriftrussischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. München: Verlag Otto Sagner. 1998. 304 S. (Specimina Philologiae slavicae. Supplementband 62).

Рецензируемая монография принадлежит перу известного русиста и слависта, приват-доцента университета Бохума (Германия) Анны Кречмер, автора трех монографий и 35 научных статей по довольно широкому кругу вопросов исторической и современной русистики и славистики: история возникновения и сравнительная типология славянских литературных (Standardsprachen) и письменных языков (прежде всего славяно-русского или, точнее мы бы сказали, русско-церковнославянского и славеносербского), сравнительной культурологии, соотношения категорий вида – времени – модуса, преподавания русского языка как иностранного, возможностям применения компьютерной техники при анализе древнейших славянских текстов.

Исследование А. Кречмер является докторской диссертацией (Habilitationarbeit), успешно защищенной в 1995 г. Оно посвящено мало изученному в русской исторической русистике вопросу о месте и роли русского частного письма XVII – начала XVIII в. в процессе формирования нормы русского литературного языка на первичной стадии становления русской нации и русского национального языка.

В заглавии работы обозначено: частное письмо (Privatkorrespondenz). Но сразу же необходимо было сделать оговорку о том, что нем. *Korrespondenz*, имеющее как и русск. *корреспонденция* два основных значения: 'корреспонденция (т.е. сообщение о чем-либо, ком-либо)' и 'переписка', порой не разграничивается в современной лексикографической практике. Уточняем (это, к сожалению, не сделано автором в его монографии), что слово *Korrespondenz* следует воспринимать в его первом значении

'письмо', а не во втором – 'переписка'. Опубликованные частные письма (а автором монографии обследовано 1057 писем 1603–1731 гг.) и те, что еще, по-видимому, ждут своей очереди на публикацию в архивах, не дают представления о переписке в прямом смысле слова, т.е. о непрерывном на протяжении достаточно большого временного промежутка процессе письменного диалога, в котором обязательными участниками являются отправитель письма (адресант) и получатель письма (адресат) и который давал бы представление о письменной диалогической речи. Даже постоянная (в течение трех лет с 78 грамотками) переписка приказчиков с хозяином К.П. Калмыковым (см. [Гр-ки № 334–412]) является самым большим собранием "безответных" писем, и фатическая (контактоустанавливающая) функция частного письма, о которой пишет автор (см. с. 133) фактически остается не реализованной. Перед нами как объект исследования – частное письмо адресанта как проявление монологической письменной речи, анализируемое по различным своим параметрам (структурно-формулярному, языковому, экстралингвистическому) в различных разделах монографии.

Несомненной заслугой автора является то, что она взялась как лингвист за разработку почти не изученного объекта – частного письма и провела этот анализ на фоне русской письменности XVII – начала XVIII вв. Новизна объекта оттеняется тем, что предшественниками автора разрабатывались в основном беллетризованные виды писем – послания, поучения (см. [Поньрко 1992; Brogi-Bercoff 1984]) и с позиций литературоведческого анализа [Демин 1964а; 1964б; 1965; 1970].

Само частное письмо рассматривается с самых различных точек зрения: структура и лексическое наполнение частей структуры (начальный формуляр, нарративная или информационная часть, заключительный формуляр), социолингвистический аспект (социальное положение и профессия адресанта, его родственные связи, пол, к сожалению, отсутствуют сведения о возрасте адресанта), функциональный или, как его называет автор, интенциональный аспект, т.е. тематическая направленность — цель письма; аспект собственно языковой (лингвистической).

Прослеживая на материале частных писем (а автор основывается на публикациях частных писем, подготовленных по правилам лингвистического издания текстов письменности в Отделе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР под редакцией С.И. Коткова) эти разные аспекты, автор приходит к следующим выводам.

Формуляр частного письма на протяжении XVII — начала XVIII века почти не претерпел изменений, менялись в основном его лексическое наполнение и объем. Представления о лексическом варьировании формуляра были бы более четкими у читателя, если бы за основу были приняты ключевые слова. Но вместе с тем, как отмечает автор, формуляр вовсе не равнялся на письмовники того времени, долженствующие быть образцами такого рода письменности. И это можно объяснить тем, что письмовники были ориентированы на книжно-славянский тип языка. Это лишний раз подтверждает тезис автора, что частное письмо в строгом смысле этого слова не являлось памятником л и т е р а т у р н о - г о языка, которому свойственна реализация определенной нормы. Наблюдения над орфографией писем только лишний раз подтверждают этот тезис. Их орфография свидетельствует о значительной свободе от связывающих норм, кодифицирующих письмо, даже в письмах достаточно высокопоставленных по социальному положению лиц, о прямых отражениях у с т н о й речи. Заметим, что термин "устная речь" (die mündliche Sprache) считаем более корректным, чем чаще употребляемый "народно-разговорная речь" (Kolloquialsprache) хотя бы потому, что он более близок к монологу-лическому характеру письма и законно отделяется от разговорной речи, по форме своей по преимуществу диалогической, за последние годы ставшей достаточно автономным объектом изучения с весьма своеобразным

синтаксисом и даже морфологией в работах специалистов, изучающих современную разговорную речь [Красильникова 1999].

Что касается социолингвистических факторов, влияющих на содержание частного письма, то наиболее яркие особенности (лексико-идиоматические прежде всего) демонстрируют письма духовных лиц и близких родственников, письма женщин сравнительно редки (что, конечно, в этом нельзя не согласиться с автором, отражает неравноправное положение женщины в русском обществе XVII в.).

По тематической (или целевой) направленности частных писем автором выделяются письма-просьбы (Bitte), наставления-указания (Anweisung), сообщения (Berichte), просьбы о протекции (Protektion) и др. Отмечено почти полное отсутствие писем-сообщений о событиях политической, культурной и литературной жизни, что отличает эти письма от западноевропейской эпистолографической традиции. К слову заметим, что сравнительный анализ русской и западноевропейской эпистолографической традиции, только обозначенный автором как задача на перспективу, мог бы многое дать для познания культурно-исторической ситуации в России XVII в. и пролить дополнительный свет на характер и направления русско-иноязычных контактов в XVII в.

Сам автор не считает свою работу собственно лингвистической, а планирует на будущее провести собственно лингвистические наблюдения и представить их в виде отдельной монографии, но те наблюдения, которые уже проведены и представлены в монографии, дают достаточное представление о языке частных писем как языке в основе своей опирающемся на народно-литературный тип (по терминологии В.В. Виноградова), в котором церковнославянские черты представлены как тематически, ситуативно и стилистически мотивированные вкрапления, содержат много ценных и новых сведений и являются серьезной заявкой на полное описание языка частных писем. При этом преимущественное внимание обращается на синтаксис и лексику, которые автор считает основными уровнями структурирования языковой системы. Меньшее внимание уделяется вопросам орфографии (в связи с фонетикой) и морфологии, поскольку эти уровни более изучены.

Анализируя церковнославянские элементы в языке частных писем, автор опирается на разработанную М.Л. Ремневой [Ремнева 1988] модель грамматических признаков применительно к древнерусскому языку XI—XIV вв., в которой фигурируют прежде

всею такие формы как: старые формы глагольного времени (аорист и имперфект вместо *л*-ового причастия), двойственное число, оборот "дательное самостоятельный", повелительное наклонение (с частицей *да* и презенсом), целевые предложения (с союзом *дабы* вм. *чтобы*), причинные предложения (с союзом *понеже, ибо* вм. *потому что*), краткие и полные (местоименные) формы прилагательных; причастия. Конечно, модель М.Л. Ремневой разработана на материале памятников древнерусской письменности XI–XIV вв., и охватывает только грамматический уровень языка (морфологию и синтаксис) и поэтому возможности ее применения к периоду позднестарорусскому (XVII век) в какой-то степени ограничены. Она нуждается в дополнении лексическими данными, устанавливающими нормы словоупотребления, и уточнении роли иноязычных средств (в частности, о внепридакативном употреблении форм кратких прилагательных в связи с контактами русского с польским языком и другими восточнославянскими – украинским и белорусским). Эти последние довольно явно дают о себе знать в ряде частных писем (см. с. 232), чему автор монографии уделит, по всей видимости, более пристальное внимание в специальном исследовании языка частных писем.

Анализ частных писем XVII – начала XVIII века (текстологический и лингво-текстологический) проводится автором на широком фоне памятников письменности XVI–XVIII вв. самых различных жанров, которые составляют так называемый сравнительный корпус (Vergleichskorpus) текстов. Этот корпус весьма различен по характеру составляющих его текстов. Здесь и "Домострой" – образцовое чтение для средних слоев русского общества не только XVI в., но и XVII в., с которым, несомненно, были знакомы авторы многих писем XVII в.; и сочинение Г. Котошихина "О России в царствование царя Алексея Михайловича" – своеобразное историческое сочинение, исполненное бывшим служащим Посольского приказа; и Вести-Куранты 40-х годов XVII века, одни из ранних русских рукописных газет – переводов с западноевропейских печатных газет (в основном немецких и голландских) XVII в. и информационных писем иностранцев и иностранных корреспондентов; и челобитные представителей различных слоев населения, и сказки (записи показаний свидетелей по различным судебным делам); статейный список П.А. Толстого 1697–1698 гг. (отчет о поездке в Италию),

Дневник участника "Великого посольства 1697–1698 гг." (по содержанию напоминающий статейные списки), Мемуары князя Б.И. Куракина – сподвижника Петра I начала XVIII в.; Повесть о Василии Кариотском – один из самых популярных приключенческих и любовных романов петровского времени.

Несмотря на существенные жанровые различия текстов сравнительного корпуса, автор считает возможным сравнить каждый из них с жанром частного письма, но прежде всего те из них, которые также являются частными письмами, но имеют свои специфические особенности: письма княгини Е.П. Урусовой (письма-причитания), письма Петра I (стилевое своеобразие с иноязычными вкраплениями), письма царя Алексея Михайловича (официальные послания, близкие по форме к письмовникам в письмах к патриарху Никону).

При таком жанровом разногосии текстов сравнительного корпуса, естественно, появляется необходимость определения того, что же сближает все эти тексты. А. Кречмер с помощью этих текстов дает представление о языковом фоне письменности XVII века, на котором эволюционировало частное письмо. Общим, на наш взгляд, может быть и информация о функции текстов, предназначенных для чтения определенным кругом пользователей. Представляется, что роль и удельный вес этих текстов в формировании нормы литературного языка напрямую зависели от того, на какой круг читателей они были рассчитаны. Повесть о Василии Кариотском в этом плане не сравнить, естественно, с тем же частным письмом и даже Мемуарами князя Б.И. Куракина. Становится понятным, почему дискуссии о норме современного литературного языка вращались вокруг вопроса о роли языка художественной литературы (беллетристики) в этом процессе. О такой ситуации применительно к XVII столетию, как справедливо полагает А. Кречмер, не могло быть и речи. Ситуация, близкая к современной, начинает вырисовываться, по мнению А. Кречмер, не ранее 30-х годов XVIII в., т.е. в послепетровское время, когда появляется литература в прямом смысле слова как письменное проявление творческих индивидуальностей, а норма литературного языка постепенно начинает приобретать эксплицитно кодифицирующий характер. С учетом вышесказанного становится понятным, почему А. Кречмер предпочитает для языковой ситуации в России в XVII столетии оперировать термином не

"литературный язык", а "письменный язык" (Schriftsprache), а частное письмо в этом письменном языке (точнее языке памятников письменности) занимает свое, далеко не главное (определяющее) место. И эта роль языка частного письма в исторической стандартологии (historische Standardologie) определяется, на наш взгляд, тем, что частное письмо как индивидуальный языковой акт ориентировано на индивидуального читателя и не более того. Отсюда и та, почти ничем не ограниченная свобода орфографического варьирования в письмах, даже принадлежащих титулованным особам (или написанных и отправленных от их имени), которая может удивить неискушенного в старых текстах современного читателя, но которая предоставляет почти уникальную возможность для исследования явлений устной народной речи того времени.

Но вернемся, однако, к жанровому разнообразию текстов, избранных А. Кречмер для сравнения с частными письмами. А. Кречмер выдвигает два основных критерия сравнения и тем самым сближения: структура текста (формулярность) и назначение (интенциональность, по выражению автора) текста. "Все познается в сравнении" – это выражение как никакое другое, более всего подходит в данном случае.

На первый план по позиции близости к частному письму выступают, по мнению А. Кречмер, памятники деловой письменности, а именно: челобитные и сказки. Была бы понятнее для читателя монографии (сделаем попутное замечание) аранжировка сравнительных текстов по степени близости к частным письмам.

Челобитные и сказки так же, как и частные письма, имеют свои формуляры, если понимать под формуляром стандартизированное структурирование текста. А выражение "бью (бьем) челом" в челобитных заставляет более внимательно присмотреться к семантике того же оборота речи в частных письмах, в которых оно по крайней мере двусмыслно: "бью челом", т.е. 'обращаюсь с просьбой' (точно так же как и в челобитных) и 'приветствую' (по-видимому, вторичного происхождения, поскольку сам обычай битья челом исходит к нам с Востока). "Челом бью" – достаточно многозначное клише: в нем выражается и благодарность за проявленное внимание, и приветствие, и просьба, и прощание. При этом две последние "семантики" из протокола дипломатического приема. Одно и то же "челом бью" наполняется различной референциальной семантикой: в челобитной –

просьба, в частном письме – благодарность, приветствие или, напротив, прощание. Во многом разобраться здесь помогла бы современная теория референции (см. [ЛЭС: 411]). Ср. подобные же обращения со стертой семантикой в современном языке, в которых сохраняется лишь дейктическая (референцирующая) функция: *братец* и под. и в частных письмах XVII в. (брат именуется *батькой* – см. с. 188). Вообще обращения – назывные номинации – достойны стать предметом специального исследования. В предварительном порядке можно сказать, что система обращений в частных письмах, по всей видимости, имела свою определенную специфику, она выражалась в частности и в том, что имела место категория самоименования в уничижительной форме с суф. *-ишко* и *-ка*, которая в известной степени стирала достаточно четко социально иерархизованную систему одно-, дву- и трехчленной номинации (см. [Чичагов 1959]).

В связи с этим не можем не обратить внимания на то, что монография А. Кречмер намечает те пункты "роста науки", приращения научного знания", которые, по мнению автора, нуждаются в дальнейшей разработке. Это те научные "тропки", по которым должны пойти будущие исследователи в поисках научной истины. Одна из таких "тропок" – изучение межэтнических контактов, их отражение в языковой практике контактирующих народов и их культур. Если в тексте встречается выражение "бить челом", то это еще автоматически вовсе не означает, что перед нами челобитная. Приоритетную роль в определении жанра следует отдать интенциональности (целевой предназначенности) текста. И не это ли имеет в виду автор монографии, когда пишет о "сверхлингвистическом единстве" (überlinguistische Einheit), термин так и остается, к сожалению, не раскрытым и отсутствующим в предметном указателе (Sachregister), хотя последний по преимуществу лингвистический.

Еще одной "тропкой", по которой предстоит пройти будущим исследователям (что не исключено, и самому автору монографии), является сравнительное лингвокультурологическое исследование эпистолярной традиции древнерусской и старорусской, с одной стороны, и западноевропейской в целом (польской, очевидно, в первую очередь), с другой (см. с. 249). Автору монографии уже удалось выявить известные отличия русской и западноевропейской эпистолярной традиции. Это касается прежде всего тематики частного письма. По

наблюдениям А. Кречмер, в русских частных письмах XVII века почти не представлена политическая и культурная тематика, в западноевропейской же эпистолярной традиции такого не наблюдается. Но попытаемся выяснить причины этого, углубившись по мере возможности в общественно-языковую ситуацию в России XVII века. Если вопрос о том, откуда, из каких источников авторы частных писем могли черпать информацию о внутривнутриполитических событиях в стране, представляется нам пока не находящим ответа, то можно вполне определенно дать ответ на вопрос о том, почему о событиях внешнеполитических авторы частных писем не имели почти никакого представления. Сразу же приходят на ум вестей-куранты – рукописные газеты XVII века. Это переводы с немецких, голландских, реже польских и латинских печатных и рукописных газет, которые выполнялись в Посольском приказе. После редактирования и обработки некоторые наиболее важные по содержанию с точки зрения думных дьяков Посольского приказа зачитывались очень узкому кругу: царю и приближенным боярам. Сама информация, содержащаяся в этих переводах, считалась официально закрытой, а за ее разглашение виновные могли понести наказание. Как показывают материалы вестей-курантов 60-х годов XVII столетия, многие экземпляры западных газет поступали и хранились в Приказе тайных дел, созданном самим царем и находившемся непосредственно под его патронажем, а оттуда могли быть переданы по запросу в Посольский приказ.

Коль скоро речь зашла о вестях-курантах, которые привлекаются А. Кречмер для сравнения с частными письмами XVII века, остановимся на этом подробнее. Необходимость привлечения вестей-курантов для сравнения с частными письмами не подлежит никакому сомнению. И дело не только в том, что в сам корпус текстов публикаций вестей-курантов включались как органическая составная часть письма иностранных корреспондентов (регулярных осведомителей о событиях за рубежом), но и в том, что сами переводы западноевропейских газет буквально сотканы из писем корреспондентов. Нити этой живой ткани видны буквально в каждом газетном сообщении, стандартно оформляемом следующим образом: "Из города такого-то месяца такого-то дня пишут". Наблюдаем случаи, когда неопределенно-личное *пишут* сбивается на информацию от первого лица: *пишу*. Их

язык леопет как личную корреспонденцию обнаруживаем в конце перевода газетного сообщения из г. Измира от 3.10.1665 г.: "а что вперед о том дѣле обявитца не замешкаю вперед въдомо учинит" (РГАДА, ф. 155. 1666 г., № 11. л. 89). Следует также иметь в виду, что сама западноевропейская пресса (как оригинал для русских переводов вестей-курантов) исторически формировалась на основе писем (корреспонденций) ее сотрудников (см. [Покровский 1906]) – показана историко-генетическая связь газеты как компиляции переводов с зарубежных газет и вестовых писем корреспондентов, которые (письма) являлись основным источником сведений о зарубежных событиях в печатных газетах. Отличие от частного письма, которое изучает А. Кречмер, в том, что письмо в вестях-курантах строго и н ф о р м а т и в н о е (хотя не исключено и присутствие посторонних бытовых моментов: обсуждение вопросов оплаты труда корреспондента заказчиком, условий его работы и под.), как правило, с засекреченным адресантом (скрывается его местоположение) и не носит фатический характер, т.е. не рассчитано на получение обратной информации со стороны адресата. Впрочем, сказанное вовсе не означает, что в изучении вестей-курантов как эпистолярного источника поставлены точки над "і" и не оставлено поле для дальнейших исследований. Как показали новейшие лингвоисторико-лингвистические исследования текстов определенного жанра деловой письменности [Мальшева 1997], лингвоисторико-лингвистическое исследование вестей-курантов подобное тому, что проделано И.А. Мальшевой по таможенным книгам еще впереди: ждут своего ответа вопросы о том, кто принимал участие в редактировании вестей-курантов (сам переводчик или иное лицо), в каком направлении шло это редактирование, как и по каким признакам производился отбор сообщений для переводов, само сообщение переводилось целиком или фрагментарно и т.д. Очевидно, что для проведения такой работы, для поиска ответа на поставленные вопросы нам необходимо обладать достаточно солидной базой оригиналов западноевропейских газет.

Заметим, что сказанное имеет самое непосредственное отношение к монографии А. Кречмер. В ней не найдено достаточного освещения проблема непосредственного создателя (автора) текста письма, а ее решение имеет принципиально важное значение для лингвоисторико-лингвистического исследова-

ния частного письма. В самом деле, язык кого, какой личности отражает частное письмо – язык того лица, которое писало непосредственно письмо, или язык писца, который по распоряжению или под диктовку заказчика являлся исполнителем текста. В таком случае и орфография письма отражает особенности языка различных личностей-носителей языка. Формулярное выражение писем "пожалуй прикажи писать о своем многолетнем здоровье" следует, по всей видимости, понимать в прямом смысле слова и соответствующим образом оценивать языковые данные текста. Монография явно нуждается в дополнительном указателе писем-автографов и писем писцового исполнения. Представляется крайне важным, чтобы подобный указатель имел и социальную ориентацию (сколько писем того и другого типа принадлежит помещикам, служащим, дворянам, купцам, духовным лицам, посадским, крестьянам). Это существенно, на наш взгляд, продвинуло бы нас в области диахронической социолингвистики, находящейся в зачаточном состоянии. Конечно, выполнение этой задачи требует дополнительных больших усилий по палеографическому анализу почерков, их идентификации и персонализации. Издания частных писем, выполненные в Отделе лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР и высоко оцениваемые А. Кречмер, не дают полной возможности для такого палеографического анализа, поскольку не содержат параллельного фототипического воспроизведения текстов. Только работа в архивах непосредственно с оригиналами позволит в какой-то степени приблизиться к решению этой задачи. Это прекрасно понимает и сам автор – А. Кречмер. Кое-что в этом плане могут подказать и сами издания вышеуказанного Отдела, на которые опирается в своей работе А. Кречмер. Так, в издании [КТ 65] указывается смена почерков даже в письмах одного лица.

В монографии приводятся результаты сравнительного анализа частного письма XVII – начала XVIII века с периодом последующим – послепетровским (до конца XVIII в. – перспектива и с периодом до XVII вв. – ретроспектива). Однако это хронологическое начало и продолжение не дают нам, к сожалению, полного представления о всей эпистолографической традиции от начала письменности до наших дней. Однако отметим, что сравнительно-временной аспект исследования не ставится автором монографии как самостоятельная задача.

Есть, как нам представляется, основания

упрекнуть автора монографии в том, что им не привлечены новгородские берестяные грамоты, коллекция которых непрерывно год из года пополняется (см. [Янин, Зализняк 1999] – последнее сообщение о находках 1998 г., общее число грамот превысило цифру 800). Привлечение материала новгородских берестяных грамот тем более необходимо, т.к. по свидетельству самой же А. Кречмер, публикации частных писем ранее XVII в. отсутствуют (с. 88). Можем только предполагать, что автора смутило название *грамоты*, которое нам представляется некорректным. В русской эпистолографической традиции за частными письмами, которыми по существу берестяные "грамоты" и являются, закрепилось название "грамотки", более точно отражающее их отличие от грамот как официальных документов более высокого ранга (см. [Грамотки XVII – начала XVIII века. М., 1969]).

Текстолого-лингвистический анализ частного письма предваряется довольно подробным рассмотрением предшествующей лингвистической традиции, дискуссии о роли делового языка в процессе формирования норм русского литературного языка, критическим анализом теории диглоссии Фергусона – Успенского и теории прерывности (Diskontinuitat) в развитии русского литературного языка А.В. Исаченко [Ferguson 1959; Успенский 1983; Issachenko 1980; 1983], дискуссионного вопроса о соотношении церковнославянского и русского языка. Автор считает (и справедливо), что теория диглоссии Фергусона, разработанная на материале современного языка, неприменима к языковой ситуации в России XVII века, и что если ее применить к русской языковой ситуации XVII века в полном объеме (с привлечением эмпирического материала памятников письменности XVII в.), то она неизбежно претерпит существенные изменения.

Автор критически оценивает и теорию прерывности в развитии русского литературного языка А.В. Исаченко, согласно которой на исходе XVII в. неизбежно произошел разрыв русской письменной языковой традиции, которая возобновилась по западноевропейской модели в XVIII в. Причину этого разрыва А.В. Исаченко видит в том, что к завершению XVII столетия русский письменный язык еще не успел сформироваться. На наш взгляд, было бы точнее говорить о каких-то наслоениях элементов западноевропейских языков на уже функционирующий русский литературный язык в XVIII в., наслоениях, которые не могли существенно нарушить нормы об-

шенародного русского литературного языка по той причине, что последний своими глубокими историческими корнями уходил в устный народный литературный язык, образуя тот тип литературного языка, который В.В. Виноградов называл народно-литературным.

Что касается соотношения церковнославянских и собственно русских (генетически общевосточнославянских) элементов в составе русского литературного языка, то автор склоняется в итоге своих наблюдений над языком частных писем XVII в. к выводу о том, что церковнославянский и русский образовывали самостоятельные системы (можно читать как "языки" – см. с. 206). Мы придерживаемся несколько отличной от автора монографии точки зрения. Суть ее выражается в следующем. Наши наблюдения над соотношением церковнославянских и русских элементов в языке вестей-курантов 60-х годов XVII в. показывают, что те и другие находились в состоянии постоянного взаимодействия, взаимопроникновения, на отдельных участках языковой системы они не противопоставлялись друг другу, но находились в позициях свободного замещения. Один и тот же писец в зависимости от темы описания прибегал свободно к использованию средств церковнославянских и собственно русских в рамках единого русского литературного языка. Поэтому противопоставлять церковнославянский и русский язык как самостоятельные замкнутые системы в русском литературном языке XVII столетия нет, на наш взгляд, достаточных оснований. Конечно, мы оперируем методом бинарной оппозиции "церковнославянское – русское", но это всего-навсего инструмент описания. Он позволяет выявить оппозиции свободного замещения, т.е. то, что принято называть в фонологической теории позицией нейтрализации противопоставления. Кроме того, эту оппозицию в какой-то степени пытаются расшатать иноязычные элементы (в частности, полонизмы всякого рода). Учет роли иноязычных элементов в этой оппозиции актуален, на наш взгляд, не только для вестей-курантов, но и для частных писем. На этот аспект (проявление иноязычного влияния как на формуляр, так и на язык частных писем) А. Кречмер обращает внимание лишь мимоходом, хотя ему можно было бы уделить специальное внимание. Мы имеем в виду прежде всего польское влияние (см. с. 176, 182, 230).

Анализируя работы сотрудников Отдела лингвистического источниковедения и исследования памятников языка по лингво-

источниковедческому изучению памятников деловой письменности XVII века (с. 34–48), А. Кречмер бросает упрек в том, что среди них мало или почти нет работ по теоретическим проблемам лингвистического источниковедения. Упрек этот справедлив. Правда, в число тех, в адрес которых обращен этот упрек, включены и не сотрудники Отдела, и сам принцип отбора работ (с. 36–48) остается в целом неясным и в какой-то степени случайным. Причина такого недостаточного внимания к теоретическим проблемам лингвистического источниковедения кроется, на наш взгляд, в отсутствии навыков анализа общих вопросов лингвистики, вопросов теории языка. Хотя накопление солидной фактической эмпирической базы для последующих исследований несомненно важнее для дальнейшего прогресса научного знания, чем отвлеченное и пустое теоретизирование без достаточной фактической базы, что признает, впрочем, и сама А. Кречмер. Однако позволим себе в рецензии несколько строк такого науковедческого "теоретизирования". Представляется перспективным проведение аналогий в концептах лингвистического источниковедения и исторического источниковедения. Достаточно, например, сравнить такие понятия как "лингвистическая содержательность" и "лингвистическая информативность" (ключевые концепты лингвистического источниковедения) и "достоверность – недостоверность" сведений (в историческом источниковедении), чтобы убедиться в том, что лингвистическое источниковедение сознательно или несознательно, намеренно или спонтанно опиралось на ранее уже разработанные концепты исторического источниковедения.

Хотелось бы остановиться на одной проблеме, для исследования которой имеющиеся в нашем распоряжении материалы частных писем не содержат достаточных данных. Эту проблему мы обозначили бы как проблему языковой мимики. Поскольку частные письма в своей неразвернувшейся потенции являются, хотя и вынужденно односторонним, но все же проявлением диалогической письменной речи, правомерно, на наш взгляд, поставить вопрос о возможном влиянии языка и социального положения адресата на язык адресанта, о связующей их нити и связующем фрагменте текста. Однако надо отдать себе полный отчет в том, что подобный ракурс исследования "языковой мимики" стал бы возможен в том случае, если бы Privatkorrespondenz была бы представлена как переписка А. Кречмер может

лишь робко заявить о слабо выраженной фатической функции в частном письме (см. с. 281 – *phatisch* в предметном указателе).

Выше мы изложили свои соображения, порою дискуссионные вопросы изучения языка и текста русского частного письма. Теперь же остановимся на замечаниях, носящих более общий или более частный характер.

С. 78. При перечислении внеязыковых (точнее было бы их характеризовать как социолингвистические) параметров частной переписки необоснованно опущен, на наш взгляд, такой важный параметр, как постоянный или основной род занятий, профессия (*Beruf*) адресанта. Совершенно очевидно, и монография А. Кречмер это подтверждает, что письмо священнослужителя будет отличаться от письма купца.

С. 127. В то же время в разряд социальных признаков непонятно на каком основании включается признак национально-территориальной принадлежности лица (иностранец). Автор признает, что четких границ социальной дифференциации в XVII в. не было. И не случайно в Таблице 2 (на с. 128) графа об иностранцах исключается. При паспортизации современного гражданина различаются графы "национальность" и "социальное положение".

С. 84. Термин "общеславянское наследие" (*gemeinslavisches Wortgut*) явно вызовет возражения этимологов как "досадный архаизм", так как в данном случае они употребляют более точный исторически термин "праславянское наследие" (*urslavisches Wortgut*). При этом учитывается, что праславянское слово могло не сохраниться во всех славянских языках (см. [Варбот 1993: 6]).

С. 86. Выявление комбинаций внеязыковых и языковых параметров частного письма не вносит, по нашему мнению, ничего теоретически нового в анализ, создавая впечатление умозрительной математической комбинации. Ограничение только языковыми признаками было бы гораздо продуктивнее.

С. 100. В построении статистических таблиц, являющихся следствием тщательного и многоаспектного обобщения результатов наблюдений автора, остается все же неясным назначение левого крайнего столбца, обозначающего проценты с разрывом в 10 единиц.

Композиция работы не всегда удобна для читателя. Например, для того чтобы раскрыть лингвистическое наполнение сокращений F 1, F 2 и т.д. (на с. 101), читатель должен вернуться к с. 74–77, где узнает, что полная формула письма включает 10 эле-

ментов, 7 из них в начальной части, а 3 – в заключительной, где он и получит нужную ему информацию о вариациях структуры обеих частей формуляра и лексическом наполнении этих вариаций, но должен удерживать их постоянно в памяти, читая с. 101–112.

С. 103. Не иллюстрируемые конкретным лексическим наполнением, статистические таблицы выглядят отвлеченной абстракцией и с трудом воспринимаются. Такая абстракция была бы вполне уместной при создании обобщающей картины структур формуляра.

С. 114. Следует сказать особо о передаче текста подлинников по лингвистическим изданиям частных писем. А. Кречмер дает высокую оценку правилам передачи текстов скорописных оригиналов частных писем и всей эдиционной работе Отдела лингвистического источниковедения и исследования памятников языка Института русского языка АН СССР. В Приложении (с. 285–304) полные тексты писем переданы по лингвистическим правилам. При цитации фрагментов текста, к сожалению, допускаются необоснованные отклонения от правил, которым следуют публикаторы, и это вводит в заблуждение читателя, затрудняя восприятие им самого текста. Здесь необходимо обратить внимание на следующие моменты. Первый – невыделение букв выносных согласных, а оно могло бы быть сделано легко с помощью компьютера разными средствами: курсивом, круглыми скобками и др. Эта деталь весьма существенна, так как после выносной согласной перед буквой гласного наблюдается йотация. Например, *здоровья* следует читать как *здоровья*, с. 77 и др. Кроме того, надстрочное написание буквы согласного является способом сокращенного написания словоформы. Ср. "Маѣимлиянъ" [В–К I; 214], это все же Маѣимлиянъ при нем. *Maximilian* с восходящей к древнерусской традиции повторного чтения буквы предшествующего гласного, ср. *тог* = *того*. В Указателе к [В–К I; 305] проскользнул ненужный буквализм: *Максимлиян*. Невыделение выноса согласного, после которого писалась буква редуцированного гласного, также не способствует чтению текста: "приятел" = "приятель", "покин" = "покинь", с. 77 и др. многочисленных случаев. Выбор некоторых символов для воспроизведения древнерусских букв оставляет желать лучшего. Так, вертикальная лигатура Ѹ передается как диграф *ou* (см. 116 и в других многочисленных случаях), что создает ложное впечатление об отражении церковнославянской гра-

фики в частном письме. Помета "так в ркп.", применяемая издателями для комментирования описок и иных искаженных мест в частных письмах, по непонятным причинам оказалась опущенной при цитации текстов частных писем, что опять-таки ставит читателя перед недоуменным вопросом: явное искажение текста является опечаткой или восходит непосредственно к самому оригиналу письма. Читатель вынужден обращаться за разъяснениями сомнений к тексту самих изданий: ср. "Вараломей" (так в ркп.? с. 186), "Б 2 дня" (так в ркп.?, с. 182), "июня Д ВД" (так в ркп.?, с. 177), "ненеищетные" (так в ркп.?, с. 176).

Полагаем, что метатика исследования (графика, орфография, фонетика в основном отсутствуют, в центре внимания – синтаксис, лексика, в меньшей степени – морфология) не избавляет от необходимости цитации текста скорописного источника в виде, максимально приближенном к его оригиналу.

Местами при цитировании текста по лингвистическим изданиям допускаются не оговоренные досадные опечатки: "СІ де" вм. "ЗІ де" (с. 217). Отметим здесь же попутно, что компьютерный набор книги выполнен самим же автором достаточно тщательно, опечатки весьма немногочисленны. Но все же □ вм. Ž (см. 233 и во многих других случаях) не способствует облегчению чтения, см. также на с. 132: II вм. III, I вм. IV в таблице 3.

С. 114. Следовало бы отметить и то, что анализ тождественного лексического остова зачина и концовки письма: "прикажи о своемъ м н о г о л ѣ т н о м ъ здореве писать" в их лексическом варьировании указывает на нацеленность уже самого зачина в его лексическом составе на концовку: ведь в прилаг. *многолѣтное* (здоровье) уже в самой его семантике заложена "пожелательность", ср. в концовке "будь здоров на многие лѣта", причудливым образом сочетающаяся с начальной формой императива. Здесь сразу два модуса: императив и дезидератив, что связывает воедино концовку и зачин.

С. 119. Вызывает сомнение утверждение автора о том, что многие из писем состоят только из формуляра (*nur aus der Formel*). При этом не принимается во внимание то, что сам факт написания письма и сообщения о своем здоровье и пребывании в определенном месте и о роде занятий в определенное время (это можно считать "внутренней датой" – *innere Datierung, Chronologie* – письма, поскольку в конце оно не дати-

ровалось) – это уже информация как ответ на поставленный ранее вопрос: "изволишь про меня спросит", как имплицитное проявление нарративной части.

С. 126. Без иллюстрирующих примеров политематичность или полиинтенциональность писем выглядит как весьма расплывчатая классификация с пересекающимися во многом границами. Следовало бы более четко определить, что побудило адресанта взяться за письмо и на этой основе выявить его намерение. Автор и сам сознает многомерность своего построения, вынужденно вводя понятие *Subthema, Unterthema*.

С. 136. Не лишним было бы подчеркнуть, что союзы *и, а, да*, соединяющие сложносочиненные предложения, равнозначны. Эта равнозначность, по нашим наблюдениям, подтверждается правкой в черновых текстах вестей-курантов 60-х гг. XVII в.

С. 139. *Либо* в приводимой цитате является частью вопросительно-относительного местоимения *что-либо*, а не союзом 'если': "Либо в чем {...} прогневих". Перед нами, очевидно, редкий случай инверсии в местоимении и бессоюзного присоединения условного предложения. Фрагмент фразы "еже бгъ благоволит" можно понять и как "то, что бог изволит", т.е. *еже* читать как относительное местоимение.

С. 148. Инверсия в дате настолько обычна для деловой письменности ("год → → месяц → день"), что ее оговаривать представляется излишним. Новая (или новейшая) система датировки (число → месяц) появляется только в 20-х годах XVIII в.

С. 150. Термин "советская школа" (русистики) (*sovjetische Schule*) некорректен как и любой другой политизированный термин. Русисты давно отказались от него. Не правильнее ли будет оценивать явление из области истории русского языка по имманентным законам развития самого языка, обходясь в данном случае без ничего не проясняющих по существу вопроса политических ярлыков. Когда зарубежные (в основном) русисты употребляют термин "советская школа", имеется в виду концепция эволюции письменного русского языка от христианизации до настоящего времени как непрерывный и последовательный процесс, а опорной точкой такой непрерывности считается полифункциональность, но не **вс**ефункциональность делового языка (*nicht omnifunktionale Amtssprache*). Сама того не желая, А. Кречмер создает у читателя негативное отношение к работам лингвистов-русистов советского периода.

С. 152. В примерах: "денги посланы все

сполна **Сидоркою** вилинымъ", "да послала им же **Степанам** ведро вина дваінова". Не исключено чтение "с Сидоркою", "с Степанам," и в таком случае беспредложный творительный можно рассматривать как один из возможных вариантов.

С. 165. Следовало бы оговорить, что рифмовка как фольклорное изобразительное фонетическое средство избиралась несознательно, в противном случае автор письма в поговорке – "Кто лапти плететь тот слаще нас пьет и ест" инверсировал бы конечные глаголы.

С. 169–170. Можно сомневаться в том, что употребление церковнославянизмов и русизмов в текстах частных писем вносит стилиевой разлад (*erhebliche Diskrepanz*) в текст. Нам представляется, что автор письма в своем языковом арсенале постоянно имел наготове и средства общевосточнославянско-русские и средства церковнославянские. Ведь и сама А. Кречмер употребляет, на наш взгляд, весьма удачный и не ею изобретенный термин "г/ksl – **русско-церковнославянский**", отказываясь от национально безликого термина "церковнославянский". Нам более всего импонирует положение А. Кречмер о том, что употребление церковнославянских и русских элементов представляет гармоничное смешение (*harmonische Mischung*), амальгаму даже при условии, когда доминирование той или иной системы (о нашем несогласии с термином "система" см. выше) трудно определимо, а правила перехода от одной к другой остаются неясными и являются предметом дальнейших исследований (с. 206). И не является ли тезис о *Diskrepanz*'е входящим в противоречие с тезисом о *harmonische Mischung*.

С. 176. Хотя более подробное языковое описание частных писем у автора в планах на будущее, позволим себе дать несколько советов о необходимости изучения контактов с польским, проявляющихся на разных уровнях системы языка в лексике, морфологии и орфографии: *зычьливы, застаю* вм. обычного *остаюсь* в концовке письма, ср. польск. *zostać* 'остаться' в письмах П. Яблочкова, где много других полонизмов (с. 182); *верны* вм. *верный* (с. 182); **Францыя** (с. 230).

С. 212. При текстологическом анализе лексического наполнения формуляра было бы желательно провести его по более отточенной методике. Так, например, в зачине при обращении выделить "ключевые слова" (применяем термин современной документной переписки) с указанием статистики употребления каждого из вариантов "клю-

чевых слов", как это хорошо проделано на материале анализа вариантов зачинов и концовок.

С. 213. Было бы нелишним отметить, что подробное описание украденных лошадей в письме – сведения, необходимые для их розыска.

С. 232. Полагаем, что ряд конструкций, где причастие прошедшего времени на -в равнозначно сказуемому на -л, может восходить к украинским формам с -в = [л] и иметь фонетический источник. Их следует отличать от причастных конструкций с -в со значением предшествующего действия.

С. 234. Сомнительно отнесение местоимения *оныи* к неологизмам, оно достаточно архаично. Если автор имеет в виду оформление И.Е. по типу местоименных прилагательных (*оныи*), то это следовало бы оговорить как морфологический неологизм.

С. 247. Применение термина "интерференция" к описанию процессов взаимодействия стилиевых средств одного языка в его устной и письменной разновидности не представляется удачным: сам термин заимствован из теории билингвизма и применяется при описании взаимодействия разных языков.

С. 252. Говоря о влиянии устной восточнославянской традиции правового языка на язык деловой письменности более позднего периода (позднестарорусского – XVII век) следует все же иметь в виду, что на тексты поздние оказала сильное влияние многостолетняя церковнославянская традиция. Об этом свидетельствуют, к примеру, тексты межгосударственных договоров, включенные в состав [В–К IV: 13–64].

С. 258–259. А. Кречмер неоднократно пишет об автономии разных языковых систем в рамках русского языка. Но мы вправе задать вопросом: за этими автономиями не рискуем ли мы утратить представление об общенародном языке как средстве общения различных слоев населения России того времени, и н т е г р и р у ю щ е м общество в России и формирующуюся русскую нацию. За дифференциями не потеряем ли синтезирующее начало?

Нельзя не согласиться с автором в том, что важнейшими источниками информации об отношении к языку, об оценке языковой ситуации и ее развитии являются оставшиеся нам в наследство от прошлых эпох тексты. Но не менее важен поиск текстов, где содержится синхронная исследуемому периоду оценка языковых пристрастий отдельных авторов как проявление культурно-языковых конфликтов эпохи.

Как видим, высказанные замечания по монографии А. Кречмер являются скорее пожеланиями, чем проявлением "разрушительной" критики.

Перед нами серьезное, капитальное исследование частных писем XVII – начала XVIII в., построенное на филологически точном материале, охватывающее как текстологическую сторону проблемы, так и собственно лингвистическую, дающее полное представление о частных письмах как одной из форм делового языка, об их роли в формировании нормы русского литературного языка на широком сравнительном фоне русской письменности XVII столетия в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

- Варбот Ж.Ж.* 1993 – Предисловие // Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I. М., 1993.
- В–К I – Вести-Куранты. 1600–1639 гг. М., 1972.
- В–К IV – Вести-Куранты. 1648–1650 гг. М., 1983.
- Гр-ки – Грамотки XVII – начала XVIII века. М., 1969.
- Демин А.С.* 1964а – О литературном значении древнерусских письмовников // Русская литература. 1964. № 4.
- Демин А.С.* 1964б – Вопросы изучения русских письмовников XV–XVII вв. (Из истории взаимодействия литературы и документальной письменности) // ТОДРЛ. Т. XX.
- Демин А.С.* 1965 – Отрывки из неизвестных посланий и писем XVI–XVII вв. // ТОДРЛ. Т. XXI.
- Демин А.С.* 1970 – Челобитные Аввакума и одна из неисследованных традиций деловой письменности XVII в. // ТОДРЛ. Т. XXV.
- Красильникова Е.В.* 1999 – Имя существительное в русской разговорной речи.

Функциональный аспект: Научный доклад на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1999.

КТ 65 – Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия. (Из фонда А.И. Безобразова). М., 1965.

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Мальшева И.А. 1997 – Материалы таможенного делопроизводства XVIII века как объект лингвистического источниковедения: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1997.

Покровский А. 1906 – К истории газеты в России // Ведомости времени Петра Великого. Вып. II. М., 1906.

Поньирко Н.В. 1992 – Эпистолярное наследие Древней Руси XI–XIII вв. Исследования. Тексты. Переводы. СПб., 1992.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов, Москва.

Ремнева М.Л. 1988 – Литературный язык Древней Руси. Некоторые особенности грамматической нормы. М., 1988.

Успенский Б.А. 1983 – Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка // International journal of Slavic linguistics and poetics. V. 27.

Чичагов В.К. 1959 – Из истории русских имен, отчеств и фамилий. (Вопросы русской исторической ономастики XV–XVII вв.). М., 1959.

Янин В.Л., Зализняк А.А. 1999 – Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г. // ВЯ. 1999. № 4.

Broggi-Bercoff G. 1984 – Gattungs- und Stilprobleme der altrussischen Briefliteratur (XI – XV. Jh.) // Gattungsprobleme der älteren slavischen Literaturen. Berlin, 1984.

Ferguson Ch.A. 1959 – Diglossia // Word. V. 15.

Issatschenko A. 1980: 1983 – Geschichte der russischen Sprache. Bd. 1–2. Heidelberg.

В.Г. Демьянов

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

5–9 июля 1999 г. в Париже состоялась VI Армения-сти-ческий симпозиум.

20 лет назад произошло событие, неожиданно ставшее традицией в международной научной жизни. Летом 1979 года на базе Пенсильванского университета в США усилиями профессора Кливлендского университета Джона Греппина и при спонсорской поддержке известного мецената Алекса Манукяна состоялась Первая международная конференция по армянскому языкознанию. От Академии наук Армении приняли участие три человека, от Института языкознания АН СССР – автор этих строк. Остальные участники (всего 25 докладчиков) представляли ученых разных стран. В 1982 г. в Армении состоялся, наметив будущую традицию, Второй международный симпозиум, куда более представительный по сравнению с первым, с широким географическим диапазоном участников и разнообразием тем. Среди представивших доклады были такие имена, как А. Чикобава, Р. Якобсон, Дж. Болоньези, К.Х. Шмидт, Т. Гамкрелидзе и др. Так продолжалось в течение долгих лет: каждые четыре года армянисты разных стран собирались на свой форум¹. И вот через 20 лет состоялась шестая, парижская, юбилейная конференция, которая от остальных отличается рядом особенностей. Организована была она на базе известного Национального Института языков и восточных культур (l'Institut national des langues et civilisations orientales – INALCO) совместно с l'Ecole pratique des hautes etudes, Section des sciences historiques et philologiques, а также с la Société des études arméniennes и под патронажем Французской

Академии в лице Института Эпиграфики и литературы (l'Académie des inscriptions et belles lettres). Конференция поддерживалась также частными лицами и организациями.

Лингвистические проблемы, обсуждаемые на ней, имели весьма широкий научный диапазон и были связаны не только собственно с проблемами армянистики, но включали и такие общелингвистические направления, как компаративистика, социоллингвистика, текстология и филология в широком аспекте, включая историю языка и диалектологию.

Попутно отметим, что международные армянистические конференции, как правило, вызывают большой научный резонанс, а его участники представляют многие международные лингвистические центры.

География участников данной конференции была весьма разнообразной: Армения, Россия (Москва, Санкт-Петербург), Франция, Италия, Швейцария, Англия, США, Нидерланды, Германия, Канада, Швеция. Делегаты Армении представляли Академию наук республики, Государственный университет, Матенадаран и др. Из Москвы была приглашена Э. Туманян (Институт языкознания РАН), из Института языкознания Санкт-Петербурга – А. Периханян (Институт востоковедения РАН) и Н. Козинцева (Институт лингвистических исследований РАН).

Стойкий интерес международной научной общественности различных стран к армянистическим форумам можно объяснить, пожалуй, несколькими причинами. Армянский язык, как известно, занимает изолированное положение среди индоевропейских языков. Не обладая "ближайшими родственниками", как скажем, славянские, германские и др. языки, он восполняет их отсутствие наличием хорошо документированных письменных памятников, которые отражают все этапы его развития, начиная с V века – древнеармянский этап, среднеармянский,

¹ Мне пришлось принять участие в 4-х конференциях из 6-ти, работу которых я освещала в своих обзорах (см. [Туманян 1980; Туманян, Григорян 1983; Туманян, Абрамян 1989]).

новоармянский в двух литературных вариантах. Эти памятники содержат множество сведений и о сопредельных народах и племенах Кавказа, Малой Азии и др. Кроме того, армянский язык обладает несколькими десятками диалектов, которые порой отличаются друг от друга настолько, что возникает отсутствие взаимопонимания между носителями разных диалектов. Благодаря постоянным миграционным процессам, диалекты эти разбросаны по различным регионам Кавказа, Турции, Ирана и др. Они сохраняют во многих случаях весьма архаичные черты ввиду консервации в иноязычном окружении. Наконец, в армянском языке отложились следы древнейших мертвых языков – урартского, хеттского, анатолийских и др. языков, что делает его привлекательным для историков и компаративистов широкого профиля. Наличие документированных памятников, отражающих историю языка и народа почти "поминутно", позволяет ставить и решать проблемы не только чисто арменистические, но также и общелингвистические.

Немаловажный интерес представляет и геополитическое состояние двух литературных вариантов армянского языка, один из которых обслуживает армянскую диаспору в различных странах Европы и Америки, другой – материковую Армению.

VI Парижская конференция по ряду причин представляется не совсем обычной и отличается от предыдущих не только потому, что является юбилейной и последней в нашем тысячелетии. Она отличается по своему внутреннему содержанию, широте охвата теоретических проблем, новизной их постановки и иной расстановкой акцентов, в том числе и особенно по практическому решению проблем армянского языка в диаспоре. Но этим не исчерпываются ее отличия от прочих конференций. Поясним это. Впервые на международном арменистическом форуме Французская Академия наук в лице l'Academie des inscriptions et belles lettres высоко оценила творчество научного сотрудника Российской академии наук – доктора филологических наук Анаид Периханян и наградила ее академической премией за монографию "Материалы к этимологическому словарю древнеармянского языка" (Ереван, 1995 г., на русском языке). Награждение было торжественно обставлено в день открытия конференции с официальным приемом. Конференцию открыл президент INALCO André Bourgey, который тепло приветствовал всех участников и высоко оценил награждаемое произведе-

ние². На приеме по случаю открытия конференции присутствовал посол Армении во Франции.

Первое слово для доклада было предоставлено А. Периханяну (С.-Петербург), выступившей на тему: "Об одной индоиранской поэтической метафоре в классическом армянском: арм. *varkaparazi*", связанную с проблематикой монографии. Докладчиком был сделан эlegantный структурно-этимологический анализ древнейшей двухкомпонентной индоарийской метафоры, сохранившейся в армянском языке в виде *varkaparazi*. Анализ ее семантики позволил автору реконструировать древнеиранский композит **vřka-apa-razah* со словом для "волка" в первой части и производным от иранского **apa-raz*, радикал **raz-: rařta* "спасаться бегством" – во второй. Основное значение метафоры – "бегущие, спасающиеся бегством подобно волкам". При реконструкции было привлечено множество индоарийских и других языков (согдийский, ягнобский, среднеперсидский, ведийский, греческий и пр.).

Другой спецификой данной конференции можно считать представленный впервые в истории арменистических форумов обзорный доклад, в котором анализировалось современное состояние арменистики, ее достижения и общие направления научных поисков. Такой доклад под названием "Академик Г.Б. Джаукян и лингвистическая школа Армении"³ был сделан Э.Г. Гуманяна (Москва). Этот доклад стал

² INALCO, или Национальный институт языков и восточных цивилизаций, представляет собой весьма престижное, широко разветвленное научно-педагогическое учреждение с несколькими тысячами студентов. Здесь представлены 85 языков, которые объединены в 9 отделениях, таких, как Отделение Африки, Отделение Азии и Юга, Китайское Отделение, Отделение Центральной Европы и т.д. Есть тут и Отделение русско-евразийское. Отделения эти укомплектованы в основном представителями соответствующих стран и континентов. Основан INALCO в 1795 г. (см. [Livret... 1999]).

³ Примечательно, что так сформулированная тема для доклада была предложена автору этих строк самими организаторами конференции Франции, причем объем и время доклада не ограничивались, что, безусловно, свидетельствует о том, какое важное значение имела эта тема на Парижском форуме.

свособразным подведением итогов в день юбилейного заседания. В нем были выявлены, определены и проанализированы главнейшие лингвистические направления в творчестве академика Джаукяна и дана их научная оценка (см. также [Туманян 1985]). Таковых направлений оказалось пять, а именно: современный армянский язык и его характеристика (синхронный и диахронический аспект); проблемы общей, теоретической лингвистики; диалектология; проблемы сравнительно-исторической лингвистики; вопросы ареальной лингвистики и ареальных связей армянского языка с древнейшими языками сопредельных регионов. Во второй части доклада прослеживались пути дальнейшего развития указанных направлений учениками и последователями Джаукяна, в том числе сотрудниками возглавляемого им Института языка в Армении, а также представителями других научно-педагогических учреждений республики. Анализ общих принципов и тематики этих исследований в совокупности свидетельствовал о формировании лингвистической школы, о том, что она состоялась. Научной общественности было представлено современное состояние этой школы, с поименным указанием авторов и разрабатываемых ими научных направлений. Весьма примечательно, что многие ее представители являлись участниками самой конференции. В конце доклада была выражена благодарность от имени всех участников организаторам и учредителям VI-й арменистической конференции, с надеждой, что эта традиция будет продолжена и в следующем тысячелетии. Особо была отмечена на пленарном заседании блестящая организационная работа талантливого лингвиста, председателя армянского отделения INALCO – Анаид Донабедея.

На заключительном пленарном заседании был заслушан еще один доклад обзорно-обобщающего характера – К. А ж е ж а (С. Hagège, Париж), на тему: "Армянский язык в свете проблем общей лингвистики". В докладе были широко освещены специфические особенности армянского языка, которые представляют интерес для общей лингвистики, в частности, типологии, социолингвистики и др. Внимание Ажежа привлекли, например, такие особенности армянского языка, как синтаксис причастий, двойное маркирование притяжательных. Особо была им выделена проблема, связанная с наличием двух литературных вариантов языка с географической специализацией: восточноармянский функционирует в самой Армении, в то время как западный

стал основным языком, обслуживающим диаспору, ее общественные и социальные институты (школы, прессу и пр.).

Дальнейшая работа конференции шла на семи тематических секциях по следующим программным наименованиям. 1) Времена и аспекты – синхрония и диахрония. 2) Диалектология и лингвистическая вариативность. 3) Филология. 4) Социолингвистика и дидактика. 5) Проблемы генезиса армянского языка. 6) Современная лексикология. 7) Современные проблемы синтаксиса. Однако обсуждаемые в них доклады выходили далеко за рамки названных в программе тем. Исходя из того, что прочитанные на пленарных заседаниях доклады включены и рассматриваются в соответствующих проблемных секциях, мы несколько расширили названия последних.

Рабочими языками конференции являлись французский, армянский и английский.

I. Аспекты и времена. Синхрония и диахрония. Проблемы грамматического строя. Проблемы, связанные с исследованием грамматического строя, в частности глагола, освещались на материале различных исторических форм существования языка: двух литературных вариантов армянского языка, габара, диалектов. Так, одна и та же проблема аналитического прошедшего времени рассматривалась докладчиками на разных хронологических этапах его развития. Не сговариваясь между собой, докладчики освещали данную тему с совершенно разных общелингвистических позиций, как бы взаимно дополняя друг друга.

В докладе А. Д о н а б е д я н (Париж) "Совпадения между прогрессивом и эвиденциальностью, медиативом в западноармянской спонтанной речи" была поставлена проблема выявления глубинного значения (Grundbedeutung) аналитического прошедшего времени (т.н. "вагакатар"), раскрываемая автором на основе широкого привлечения данных западноармянской спонтанной речи. По мнению автора, для прошедшей формы на *-ei* в западноармянской устной речи модальное значение (в том числе, и полемическое) является центральным и одновременно очень близким к модальному значению прогрессивной частицы *-kor* на уровне глубинного значения. Последнее выявляется в разных ситуациях устной речи.

Совершенно по-другому подошла к данной проблеме аналитического прошедшего Н. К о з и н ц е в а (С.-Петербург) в докладе "Функции плюсквамперфекта в армянском языке", рассматривая их в

диахроническом аспекте, сквозь призму исторических изменений, происшедших в новом языке, по сравнению с древним. По ее мнению, в армянском языке выделяются три режима плюсквамперфекта: синтаксический, нарративный и дискурсивный. В грабаре преобладал синтаксический режим. Современный язык, с тенденцией к упрощению предложений, выдвинул на первый план нарративный и дискурсивный режим употребления плюсквамперфекта.

Общую картину характеристики прошедшего аналитического времени дополнила А. У з у н я н (Париж) в докладе "Перфект в классическом древнеармянском". В отличие от S. Lyonnet, который основательно изучил эту проблему по данным таких памятников, как армянское Евангелие и Езник Кохбаци (V в.), автор рассматривает перфект в динамике развития и на основе анализа других источников, в частности эпических памятников, затем "Истории Армении" Агатангехоса. Это позволило ей обнаружить некоторые семантические отличия в использовании перфекта. Например, аналитическая конструкция *tueal ē* "он дал" (актив) в Евангелии используется обычно в пассиве – "ему было дано". Перфект используется чаще в значении медиатива, выражает состояние.

Доклад М. Ниш а н я н (Нью-Йорк) "Современная история *vaghagadar'a*" (прошедшего аналитического времени. – Э.Т.) был также посвящен проблеме аналитического прошедшего времени, но в другом аспекте. В отличие от предыдущих докладов на эту тему, М. Нишанян рассматривает эту категорию, опираясь на данные другого исторического периода, а именно, ранних этапов развития новоармянского литературного языка. именуемого в науке "гражданским" (начало XVII в.). Отмечая факт сохранения значения медиатива у прошедшего времени в западноармянском как характерную для него черту, автор вместе с тем показывает, что эта категория обнаруживается также и в ранних памятниках "гражданского языка". Наличие у перфекта значения медиатива в "гражданском языке" конца XVII в. подтверждается убедительными примерами. Одновременно с этим М. Нишанян отмечает факт отсутствия должного внимания в литературе к этой важной семантической особенности перфекта.

А. Б а р ч я н (Париж) анализировала в сравнительном аспекте два прошедших времени в современном армянском языке: прошедшее простое (*passé simple*), которое восходит к грабарному аористу, и про-

шедшее аналитическое (*passé composé*). Обе формы она сравнивала также с соответствующими временными формами французского языка, выявив при этом различия, возникающие при переводе. На материале армянского языка обе формы прошедшего времени изучались в функциональном, морфологическом, синтаксическом и семантическом плане. Автор показывает различия и схождения между этими временами, обнаруживая смысловые оттенки, которые другие исследователи не отмечали.

Новая трактовка форм множественного числа была предложена Ж.-П. Ма э (J.-P. Mahé, Париж) в докладе "Собирательный формант *-unkh* в классическом армянском языке". На основе обширного фактического материала и многочисленных примеров, извлеченных из различных памятников грабара, автор показал существование определенного семантического различия в употреблении форманта *-unkh* и показателя множественности *-kh*. По данным автора, *-unkh* маркирует преимущественно коллективно-собирательное значение, в то время как *-kh* выражает чаще обычное понятие множественного числа.

В докладе "Конвенциональные метафоры в армянском. Типологическая семантика. Когнитивная лингвистика" Г. А к о п я н (США) выразила сожаление, что при изучении метафор и прочих идиом в Армении недостаточно использовалась теория метафор G. Lakoff'a, M. Johnson'a и др. Целью докладчика было восполнить этот пробел и внести вклад в общую теорию метафоры. Материал автор в основном извлекал из устной речи, а также из диалектов, разрабатывая свою теорию на примерах из различных понятийных сфер: например, из абстрактной сферы типа "время" ("время движется"), из эмоциональной сферы – "сердце разрывается" и пр.

II. Диалектология. Вариативная лингвистика. Диалектологические сюжеты на симпозиуме занимали довольно ощутимое место. Это естественно, учитывая значительную диалектную дробность армянского языка (около 50 диалектов), их структурную дифференциацию и территориальную разобщенность в результате миграции и отрыва от исторических территорий и пр. Изучение "заграничных" диалектов было крайне затруднено по ряду объективных причин. Описание именно этих "малодоступных" говоров и их состояния представляло большой интерес для научной аудитории.

Г. Геворкян (Ереван) доложила на тему

"По поводу проблемы морфологической классификации армянских диалектов". Проблема классификации армянских диалектов актуальна и в настоящее время. Многие диалекты, разбросанные в различных географических широтах, зачастую за пределами самой Армении, до сих пор еще недостаточно изучены. Начиная с XIX в. армянские диалекты классифицировались по однопризнаковому принципу – географическому, морфологическому (формирование презенса) или фонетическому. Позже Джаукян предложил многопризнаковую классификацию на основе 100 признаков. При каждой классификации группировка диалектов менялась. Пересматривая теоретические основы морфологического принципа классификации, Геворкян пришла к выводу, что однопризнаковая классификация диалектов дает ущербную картину их состояния. По ее мнению, армянские диалекты следует подразделить на три группы, в зависимости от типологии формирования презенса, и на четыре группы, согласно их материальному выражению, именуя первую группировку типом, а вторую – ветвью.

Г. А н а н я н (Ереван) в докладе "Особые местоименные формы и значения в армянских диалектах Антиохии" обратила внимание на весьма неординарный факт в изучаемых ею диалектах, находящихся далеко за пределами собственно Армении, на бывшей исторической территории проживания армян (Сведия, Кесаб, Арамо). В местоименной системе исследуемых диалектов были обнаружены две особые формы, нигде более не встречающиеся, которые имеют глубокую древность и сходство с грабаром. Это – группа вопросительных местоимений и восходящее к и.-е. основе детерминирующее местоимение *l*.

В. С в а з л я н (Ереван) предметом своих разысканий избрала диалекты другого региона – Киликии, изучаемые ею с применением социолингвистических методов. Тема ее доклада "Синхрония и диахрония армянских диалектов Киликии". Исторически на этой территории существовало Армянское царство. После геноцида в 1915 г. армяне мигрировали в разные страны. В 1946–1947 гг. часть из них репатрировалась в Армению. Для изучения диалектов репатриантов автор подразделила респондентов на три возрастные группы, с выявлением таких параметров, как историко-географическое передвижение (Киликия, диаспора, Армения), социально-культурное состояние, языковой менталитет и национальная психология. Состояние диалекта и указанные параметры у различных воз-

растных групп представляли различную картину.

В. С а м у е л я н (Париж) представила доклад об изучении диалекта Болу, который интересен тем, что он существует как бы не на своем месте. Будучи диалектом восточной ветви *-ит*, он оказался в западном регионе, в городе Болу, недалеко от Стамбула, в окружении тюркских языков. На основе досконального опроса пожилых информантов автору удалось показать, что диалект этот относится к восточной ветви *-ит* и особенно близок к Ереванскому диалекту.

Б. В о к с (В. Ваух, Гарвардский ун-т, США) предложил доклад на очень интересную тему о морфологической транспаренции в хамшенском диалекте. Материалы, которые Вокс извлек из этого диалекта, позволили ему раскрыть проблему морфологической транспарентности, прозрачности, в общелингвистическом аспекте. Попутно отметим, что диалект этот особый, поскольку носители его приняли ислам и проживают в северо-восточной части Турции. Докладчик считает совершенной морфему *-gi-* диалекта транспарентной, которая к тому же варьирует. Свою интерпретацию морфологической транспаренции автор основывает на теории фонологической транспаренции, разработанной Calabrese (1995) и на понятии цикличности, используемой в дистрибутивной морфологии. Распространив теорию фонетической транспарентности (сенситивности) на морфологическую, Вокс вывел правило, согласно которому, закон цикличности чувствителен только к циклическим морфемам.

В. А м б а р ц у м я н (Ереван) доложил на тему "Лингвистическая вариативность и проблемы изучения фонетических вариантов грабара". Используя выдвинутую Г. Джаукяном теорию вариативности, связанную с проявлениями и.-е. консонантной системы, автор развивает эту идею далее, рассматривая фонетическую вариативность на различных хронологических стадиях развития армянского языка – как дописьменного, так и письменного периодов. Установив наиболее значительные фонетические варианты, он делает вывод, что вариативность зависит от хронологических, ареальных и территориальных параметров.

Р. У р у т я н (Ереван) представил тему "Лингвистическая база данных пространственно-временных лексических вариантов армянского языка". За свою 1600-летнюю историю письменности армянский язык накопил огромное количество лексических единиц из грабара, среднеармянского, двух

вариантов литературного языка и диалектов. Многие из них фиксированы в словарях, начиная с XVI века. Урутян доложил о том, что в Армении создается банк данных, способствующий сбору и упорядочению лексического фонда, что необходимо также и для создания диалектологического атласа.

Широко применяя экспериментальный метод анализа фонетико-артикуляционных данных современного восточноармянского языка, собранных у различных социальных слоев городского населения, в том числе студентов, людей умственного труда и пр., Р. Т о х м а х я н (Ереван) провел исследование на тему "Скопление согласных" в инициальной позиции в армянском языке и проблема слогораздела". На основе экспериментального изучения фономорфологических особенностей современного восточноармянского разговорного языка, автор выявил многочисленные отклонения от принятого правила, согласно которому армянский язык не терпит скопления согласных в инициальной позиции. Все эти факты позволили докладчику пересмотреть с иных позиций проблему слогоделения в современном восточноармянском языке.

III. Проблемы общей и армянской филологии. Текстология. История языка и памятники. История армянской письменности начинается с V в. С этих пор язык подвергся значительным изменениям, которые нашли отражение в многочисленных письменных памятниках грабара, среднеармянского языка со всеми его вариантами, новоармянского, диалектов. Все эти памятники в совокупности легли в основу армянской словесности.

В представленных на секции докладах затрагивались самые различные аспекты армянской филологии и текстологии. Ряд докладов освещали проблемы, связанные с трудами представителей грекофильской школы, с их многочисленными переводами с греческого языка, которые оказали большое влияние на армянскую словесность, определив во многом и дальнейшее развитие армянского языка. Грецизмы проникали в оригинальные произведения армянских историков, грамматистов, порождая сомнения в исконном характере этих трудов.

Так, в своем докладе о греческом стиле в армянских прогимназматах в контекстах других оригинальных писаний Г. М у р а д я н (Ереван) рассматривает и выявляет морфологические, синтаксические и лексические грецизмы не в переводных с греческого произведениях, а в собственно армянских оригинальных трудах. Известно,

что, начиная со второй половины V века, армянские авторы, особенно теологических и историографических произведений, часто украшали свои творения лексическими, синтаксическими и морфологическими грецизмами – кальками, которые были созданы представителями грекофильской переводческой школы (ср. *φισιολογία* арм. *bnaxosuthiwn* и др.).

А. Т о п ч я н (Ереван) посвятил свой доклад теме «Грецизмы в "Истории" Мовсеса Хоренаци», т.е. языку уже одного автора. Докладчик акцентировал свое внимание на синтаксисе и стилистике Хоренаци, прицельно изучая те источники, на которые ссылается сам Хоренаци, в частности, на "Хронику" Юлия Африканского. Известно, что эта ссылка некоторыми исследователями подвергается сомнению. Однако Топчян, на основе конкретного примера доказал, что Хоренаци действительно пользовался этим источником, поскольку и у Хоренаци и у Юлия Африканского он нашел редкий пример использования *genetivus quantitatis*'a.

Д. В а й т е н б е р г (J.J.S. Weitenberg, Лейден) проблему грекофильских текстов поставил в несколько ином плане, чем предыдущие выступающие. Говоря о периодизации грекофильских текстов, автор попытался определить критерии, на основе которых древний текст может быть определен как грекофильский (*philhellene*), выявить возможность различения оригинальных текстов, созданных под влиянием греческого языка, от собственно переводных. Проблема достаточно сложная и неоднозначная, но для арменистики весьма важная, поскольку связана с направлениями последующего развития армянского языка. Эту сложную проблему автор намеревается разрешить путем классификации грекофильских переводов.

Во втором докладе Вайтенберг рассказал о работе над проектом словаря *Nor Baġirkh update*.

В Университете им. Мартина Лютера, в Галле – Виттенберг, в Центре им. Месропа Маштоца (Германия) впервые предпринимается перевод всего текста армянского церковного "Гимнария". Об этом доложено в докладе А. Д р о с т - А б г а р я н и Г. Г о л ь ц а (Галле) «Принципы перевода армянского Гимнария "Шаракноц" на немецкий язык». Церковные песнопения армян "Шаракноц" являются древнейшими памятниками периода принятия христианства армянами в 298–301 гг. В докладе говорилось о лингвистической специфике переводимого текста, принципах перевода.

Е. Тадевосян (Ереван) в докладе "По поводу латино-армянского словаря архимандрита Якоба Виллота" дал научный анализ и описание этого капитального произведения, изданного в Риме в 1714 г. Автор подробно характеризовал армянский научный лексический фонд, который впервые был подвергнут Виллотом систематизации и упорядочению, по типу европейских лексикографических работ, предварившим свой труд латинским предисловием. При переводе латинских научных терминов автор должен был подобрать их армянские эквиваленты, уточнить и систематизировать их значения, что способствовало созданию армянской терминологии. Армянский язык он оценивал наравне с греческим.

Б. Утье (В. Outtier, Женева) доложил на тему «Об "армянской" грамматике кавказских албан». Проблема языка и письменности кавказских албан, или агван (древних христианских народов Кавказа), постоянно привлекает внимание историков, лингвистов, этнографов благодаря множеству белых пятен в этой области. Каждое новое слово по этому вопросу воспринимается с живым интересом. Документально известно, что в V в., под эгидой армянской церкви народы Агванка на Кавказе приняли христианство. Для них Месропом Маштоцем был создан алфавит, который был найден, но письменные памятники на этом языке почти отсутствуют. Доклад Утье посвящен описанию обнаруженной грамматики агванского (удинского?) языка, составленной в конце XVIII в. — начале XIX в. человеком, знающим как армянский, так и агванский языки. По своему характеру это миссионерская грамматика, в которой язык описывается по модели и.-е. языков. Найденные в 3-х списках рукописи имеют отличия. Автор намеревается анализировать методику этого ценного памятника и опубликовать.

Д. Грeппин (Кливленд) в докладе "Происхождение глайда в армянских собственных именах" остановился на вопросе внутриармянской реинтерпретации не свойственной армянскому языку звуковой последовательности в собственных именах типа *Gêvorg* и *Levon*. Переосмысливание шло по линии: греч. Γεώργιος, Λεόντιος, Λέων, *Γεφώργιος, *Λεφόντιος, *Λέφων; русское Иван (*Ivan*) возводится им к форме Γιδάνης.

В. Штроймейер (Ереван) представил тему "Изучение армянского языка в XVI веке: тексты и техника, использованные Тезусом Амброзиусом при изучении армянского языка". Известно, что Амброзиус один

из первых стал изучать восточные языки: арабский, еврейский, халдейский, сирийский, а позже и армянский. Им была собрана огромная коллекция армянских памятников. Часть материалов Амброзиус успел опубликовать и описать. Докладчик на основе анализа материалов постарался дать по возможности исчерпывающее описание метода Амброзиуса, с помощью которого одним из первых ему удалось изучить и описать такое количество трудных, малоизученных восточных языков в XVI веке.

А. Орeнго (А. Orenго, Пиза) в докладе "Займствования в армянском языке из итальянского (XVII–XIX вв.)" освещает интересную проблему, связанную с армянской диаспорой в итальянских городах, с ее торговыми, культурными и прочими связями, вследствие чего в языке появились итальянские заимствования. Проблема заимствований из итальянского (или его диалектов) далеко не исчерпана, особенно для периода XVII–XIX вв., когда в таких городах, как Венеция, Генуя, Ливорно и др., создавались центры армянской культуры в диаспоре, публиковались армянские словари, грамматики, расширялись торговые и прочие контакты армян с итальянцами. Докладчик ставит ряд задач, позволяющих выявить общие принципы и специфику заимствований: прямые или опосредованные, фонетический способ их передачи, продуктивность и пр.; уточняет источники заимствований, а также в какую форму существования армянского языка они чаще проникают и пр.

Доклад Д. Клаксона (J. Clacson, Кембридж) на тему "Vox armeniasa: новые свидетельства о произношении в классическом армянском" представлял собой новую страницу в уточнении древнеармянской звуковой системы. Материал был извлечен из обнаруженного в национальной библиотеке Парижа папируса VI–VII вв., в котором греческие слова и фразы были переданы на основе армянского письма. Папирус представлял египетский греческий V–VI вв. и отражал разговорный язык, не подвергшийся литературной обработке. Поскольку произношение греческого в Египте достаточно известно, выбор графических эквивалентов армянского алфавита для его передачи позволил автору уточнить современные представления о реальном произношении древнеармянских фонем на самых ранних этапах развития языка. В докладе была затронута также проблема дальнейшего развития фонетической системы армянского языка.

IV. Социолингвистика и дидактика. Проб-

лемы социолингвистики, равно как и вопросы, связанные с состоянием языка в армянской диаспоре, дву- и многоязычия, вопросы обучения, создания учебников, разработка терминологии и пр., встали в ряд важнейших проблем в общетеоретическом и практическом отношении для армян диаспоры, где значительно возрос интерес к практическому овладению родным языком. Ситуация осложняется тем, что армянский язык разделен на два литературных варианта, функционирующих в разных регионах: восточный в самой Армении, а западный преимущественно в диаспоре, разработанной в различных странах мира. Литературный язык в восточной Армении всесторонне обработан, на нем созданы многочисленные учебники, существует научно-техническая терминология. Западноармянский в диаспоре не имеет такой мощной общеобразовательной базы, поэтому вопросы школьных программ, терминологии и языка вообще стоят крайне остро. Эти проблемы поднимались на парижской конференции.

На весьма актуальную тему был сделан доклад Р. Дермергеряна (Ун-т Прованса, Франция) "По поводу проблем армянской терминологии". Автор убедительно показал, что западноармянский язык не имеет достаточно хорошо разработанной терминологии для школьного образования. В грамматиках по этому поводу существуют разночтения, например в определении количества наклонений, времен, в определении типов местоимений, их функций и пр. Автор справедливо ставит вопрос о необходимости создать унифицированные и разработанные учебники, на основе которых можно было бы организовать нормальный учебный процесс.

А. Гармрян (Париж) доложила на тему "Об особом билингвизме в диаспоре". Автор считает, что термин "билингвизм" в ее работе имеет особый смысл, поскольку речь идет не об употреблении двух самостоятельных языков – армянского и еще какого-либо другого, например французского, а о двух формах существования армянского языка – восточноармянского и западноармянского. Такой "особый" тип двуязычия в нашей отечественной социолингвистической литературе именуется диглоссией. Уже отмечено, что после распада СССР и усиления миграционных процессов диаспора значительно расширилась за счет носителей восточноармянского литературного языка, переселенцев из Армении. По свидетельству докладчика, в Канаде, в результате смешения населения, возникло так называемое восточно-

западноармянское двуязычие, точнее диглоссия, о чем и шла речь в докладе Гармрян.

На другом аспекте проблемы остановился в своем докладе "Особенности функционирования дву- и многоязычия в армянской диаспоре" С. К а с п а р я н (Монктон, Канада). Задача автора заключается в стремлении выяснить, в каких ситуациях армяне-мультилингвы меняют язык при общении с другими мультилингвами (по необходимости или сразу). Здесь собственно поставлена проблема чередования кода. Автор выделяет несколько причин, стимулирующих смену кода: психолингвистическая (степень компетентности, лексические трудности и пр.), социолингвистическая (групповая солидарность и др.), психо-социолингвистическая (для поднятия престижа языка, групповая солидарность и пр.), дискурсивная (для структурирования дискурса и пр.).

С. Т о п у з х а н я н (Лион) в докладе "Изучение процесса усваивания двух письменных языков (французского и армянского) в большой детсадовской секции подготовительного курса" поднимает проблему восприятия и усваивания детьми 5–6 лет двух совершенно разных графических систем – армянской и французской. Весьма интересные иллюстрации, представленные докладчиком, раскрывали психолингвистическую ситуацию этого восприятия, которая была ярко отражена в передаче графических систем в работах детей.

Э. Т у м а н я н (Москва) сделала доклад на тему "Об имманентных и социально-детерминированных изменениях в армянском языке". На основе языковых данных, извлеченных из разных исторических этапов развития армянского языка, начиная с древнего (V в.), автор выделил и классифицировал указанные типы языковых изменений. Так, еще в V в., в языке появились социально-детерминированные изменения, которые представители грекофильской школы внесли искусственно в грабар в виде системы приставок, отсутствовавших в нем изначально. Это искусственно созданные, по аналогии с греческим, приставки воспринимаются сегодня как исконные, формируя слова, которые были неизвестны грабару. Специфика имманентных изменений, их самопроизвольность была продемонстрирована на ряде других примеров, извлеченных из исторических этапов развития армянского языка.

V. Проблемы компаративистики, происхождения армянского языка и его ареаль-

ных связей. Как правило, проблемы сравнительного языкознания с использованием данных армянского языка, а также его происхождения, занимают значительное место на арменистических конференциях международного значения, в том числе и на парижской. Подавляющее большинство докладов здесь были связаны с проблемами и.-е. фонологической системы и особенностями ее отражения в армянском языке. Были предложены новые концепции, иное видение общепринятых точек зрения. Так, например, Ш. Ламбертери (Париж) в своем докладе "Индоевропейские дифтонги в армянском языке" представил новую точку зрения по поводу специфики их отражения в армянском. Вопреки традиционно принятой концепции, согласно которой, и.-е. дифтонги **ei*, **oi* дают в армянском *ou* (параллельно выступающих как **eu/ou*), Ламбертери на основе ряда фактов показал, что армянское *ou* отражает только и.-е. **oi* и что существуют примеры, которые свидетельствуют о переходе и.-е. **ei* в армянское *iw*.

Р. Штемпел (Бонн) предложил новую трактовку ларингальных в докладе "Армянская историческая фонология и некоторые концепции по поводу развития ларингальных". Проблема ларингальных в компаративистике опирается часто на факты армянского, греческого и некоторых других языков, данные которых дают подтверждение этой гипотезе и ее трактовкам, особенно в инициальной позиции (ср.: греч. ἀστῆρ, арм. *ast* против лат. *stella* "звезда" и пр.). Автор считает, что развитие ларингальных некоторыми авторами сводится только к этим примерам, в то время как есть и другие данные и неиспользованные возможности. По этой причине в понимании проблемы нет общего мнения. Штемпел ставит задачу пересмотреть проблемы, связанные с ларингальной теорией на основе комбинирования данных армянской исторической фонологии, т.е. классического метода исторической лингвистики с языковой типологией.

М. Агабекян (Ереван) в докладе "Индоевропейское происхождение взрывных согласных в армянском языке" так же, как и предыдущие авторы, предлагает иное представление о своем предмете – происхождении и первоначальном состоянии взрывных в армянском языке. Общепринято считать в компаративистике, что в армянском и.-е. взрывные подвергались мутации, передвижению (и.-е. **dh*, арм. *d*; и.-е. **d*, арм. *t* и и.-е. **t*, арм. *th*). Однако реально, в

зависимости от различных позиционных условий, эта картина значительно меняется. На основе убедительных примеров и интересных данных докладчик показал реальную картину происхождения армянских взрывных в самом процессе, пересматривая проблему мутации.

Р. Виредаз (R. Viredaz, Лозанна) предложил тему "К проблеме интерпретации армянских гласных сонантов". Докладчик анализирует существующие в компаративистике трактовки проблем армянских гласных сонантов и их происхождения. Виредаз фиксирует внимание на следующих позициях сонантов и их вариантах, которые трактовались в работах Бонфанте, Годеля, Мейе, Клингшмитта и др.: 1) Носовые в конечной позиции; 2) Сонанты перед **y* (**Ry*); 3) Сонанты после **K*₂ и **K*^w (*K*^w гер и др.).

Вопрос об ареальных связях армянского языка рассматривался в докладе А. Мушегяна (Ереван) "По поводу древнейших слоев армянской топонимики". Отобранные автором древнейшие армянские топонимы были подвергнуты структурно-словообразовательному, ономастическому анализу и генетической оценке. На основе выделенных и классифицированных словообразовательных формантов Мушегян установил и дифференцировал древнейшие топонимы, свидетельствующие о контактах армян с хеттами, урартами, этрусками и др. Полученные данные позволили автору также очертить культовые пояса, выявить в топонимах следы малоазийских культов, например, в топониме области Тагавн обнаруживается культ божества Tarḫumu.

VI. Современная лексикология. Прошедшие за последние годы общественно-политические и социально-экономические сдвиги во всех странах СНГ, в том числе и в самой Армении, не могли не отразиться на общественном менталитете и, тем самым, на языках многочисленных народов в виде наплыва лексических неологизмов. Процессы эти нашли отражение в серии докладов, посвященных проблемам современной лексикологии, которые выходят далеко за пределы специфики собственно армянского языка, поскольку приняли всеобщий характер.

В докладе Э. Шалунц (Ереван) на тему "Структурно-этимологическая классификация социально-политических неологизмов в армянском языке" было проанализировано примерно 500 неологизмов общественно-политического значения, которые имеют регулярное употребление в

прессе, профессиональной литературе, в устных выступлениях, не будучи даже еще достаточно полно зарегистрированными в словарях. Как бы в продолжение этой темы в докладе "Структурно-семантический анализ терминов прикладной экономики" С. Т и о я н (Ереван) рассматривались также широко проникающие в язык неологизмы, но уже из сферы экономики. 600 терминов подверглись структурно-семантическому анализу. Из рассмотренных неологизмов подавляющее большинство является переводами. Как и во многих языках постсоветского периода, общественно-политические и, особенно, экономические термины – неологизмы несут печать английского языка. Проникнув большими потоками в армянский язык, они, по мнению С. Тюнян, не успели подвергнуться обработке – отбору, нормализации и кодификации, порождая дублетные формы и, тем самым, засоряя язык.

В докладе А. Г е в о р к я н (Ереван) на тему "Животный символизм в армянском и английском языках" рассматривается проблема достаточно своеобразная. Символизм в языке связан, прежде всего, с национальной спецификой, комплексом этнопсихологических и культурно-интеллектуальных представлений народа об окружающем мире. В докладе Геворкян проблема эта раскрывается путем сравнения особенностей выражения животного символизма в двух языках. При этом выявлены ряд значений, которые незарегистрированы в словарях. Тема представляет общетеоретический интерес, будучи разработанной на основе двух далеко отстоящих друг от друга языков.

Такой же большой интерес представляет и доклад Г. А к о п д ж а н я н а (Ереван) на тему «Семантические проблемы фитонимов, содержащих значение "лица" (на основе данных армянского, русского и немецкого языков)». Изучение фитонимов, содержащих значение "лица" в отобранных трех языках, позволило автору выявить инвариантную смыслообразовательную систему, существование которой выдвигалось как гипотеза. Данная система проявляется через модели рассматриваемых индоевропейских языков с четкими контурами ядра данного семантического поля. Инвариантность смыслообразовательных моделей объясняется национальным представлением об окружающем мире, языковым менталитетом, наличием бродячих фольклорных сюжетов и пр.

В докладе Х. Б а д и к я н а (Ереван) "Смыслоразличительная роль грамматических категорий в армянских фразеологи-

ческих единицах" речь шла собственно о роли определенного артикля, наличие или, напротив, отсутствия которого является причиной превращения обычного словосочетания в единицу фразеологического значения. Ср., например, *haç ktrel* буквально: "резать хлеб", т.е. "подружиться", но с артиклем *haç-ə ktrel* получает значение "лишить хлеба", т.е. "источника существования". Артикль способен также менять смысл одного фразеологического сочетания на другое значение.

Л. О в с е п я н (Ереван) осветила интересное явление в грамматическом строе древнеармянского языка – словообразование путем редупликации. В ее докладе "Словообразовательная редупликация в древнеармянском языке" был сделан подробный анализ этого явления. Армянский сохранил из общендоевропейского состояния небольшое количество исконных и.-е. слов, образованных путем редупликации (ср. *arhit* "делаю" – аорист *arari*). Но в своем дальнейшем развитии он довольно продуктивно использовал редупликацию, как принцип словообразования, что является результатом его самостоятельного дальнейшего развития. Овсепян показала два пути образования новых слов – синтетический и аналитический. Последний, по ее мнению, является более продуктивным и разнообразным по сравнению с синтетическим типом.

VII. Проблемы современного синтаксиса.

Проблема, связанная с общей теорией синтаксиса, рассматривалась в докладе А. А б р а м я н а (Ереван) под названием "Взаимоотношение грамматических признаков в структуре сложного предложения". Как известно, проблема взаимоотношения грамматических признаков в контексте сложного предложения привлекает пристальное внимание как собственно грамматистов, так и синтаксистов. Согласно данным автора, простые предложения в составе сложного могут быть охарактеризованы на основе трех признаков: типа грамматического отношения, выраженности связи и позиции. На их основе сформированы три пересекающихся классификации, которые иногда смешиваются. Анализ вводных предложений позволил автору констатировать, что их отличие скорее позиционно-линейного порядка, чем грамматически-иерархического.

А. Д е р - У с и к я н (Гейнсвил, штат Флорида) выступил на тему "Плюрализация в разговорном западноармянском языке: семантика и дискурсная импликация". Проб-

лема согласования в процессе плюрализации, по мнению автора, представляет противоречивую картину. Несмотря на общепринятое мнение, согласно которому, большинство языков плюрализацию реализуют в условиях согласования, автор демонстрирует несколько возможностей выражения множественности в армянском языке. На обширном материале западноармянского литературного языка Дер-Усиян показывает эти возможности в сфере имени и роль при этом дискурса.

М. Поладян (Ереван) представил доклад на тему "Притяжательные артикли в современном армянском". Использование притяжательных артиклей в армянском языке автор рассматривает в общетеоретическом плане, в свете теории экономии в языке, предложенной еще Мартине. Суть заключается в том, что в армянском вполне допустима конструкция двойной притяжательности типа *im euyayr-s* "мой брат", где член *-s*, при наличии притяжательного местоимения *im* "мой", выражает избыточную притяжательность. Проблему эту автор решает на основе теории психосистематики

С 25 по 28 сентября 2000 г. в Санкт-Петербурге проходил 5-й Международный семинар "Речь и компьютер" (SPECOM 2000): Решение проблем распознавания и понимания речи. Семинар¹ был организован Санкт-Петербургским Институтом информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН) при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Международной Ассоциации содействия в сотрудничестве с учеными бывшего Советского Союза (INTAS), а также при содействии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (РГПУ).

В программу семинара было включено 23 доклада, представленных учеными из стран СНГ, Центральной и Западной Европы. В работе семинара приняли участие 22 зарубежных исследователя.

¹ Международный семинар "Речь и компьютер" (Speech and Computer – SPECOM) проводится регулярно с 1996 г., и каждый четный год его заседания проходят в Санкт-Петербурге. Появление такого семинара – свидетельство растущего из года в год интереса к проблемам синтеза и анализа (расознавания и "понимания") устной речи, а также к построению реальных систем устного машинного перевода (УМП) в Европе и России.

Гийома, путем восстановления прошлых этапов развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Периханян А. 1995 – Материалы к этимологическому словарю древнеармянского языка. Ереван, 1995.
Туманян Э.Г. 1980 – Хроника // ВЯ. 1980. № 4.
Туманян Э.Г., Григорян Э.А. 1983 – Хроника // ВЯ. 1983. № 6.
Туманян Э.Г., Абрамьян А.С. 1989 – Хроника // ВЯ. 1989. № 2.
Livret... 1999 – Livret de l'étudiant. 1998–99. Institut National des langues et civilisations orientales. Paris, 1999.
Résumés/Abstracts. 1999 – Sixième colloque international de linguistique arménienne. INALCO – Académie des inscriptions et belles lettres. Paris. 5–9 juillet. 1999.
Tumanyan E. 1985 – J.B. Djahukian as an historical linguist // Annual of Armenian linguistics. V. 6. Cleveland, 1985.

Э.Г. Туманян
Москва

Пленарное заседание Семинара открыли председатель Оргкомитета Ю.А. Косарев (С.-Петербург) и научный руководитель Учебно-научного центра компьютерных исследований языка и речи РГПУ Р.Г. Пиотровский (С.-Петербург). Они говорили об актуальности исследований в области автоматической переработки устной речи и письменного текста в эпоху информационной революции, отметив необходимость проведения подобных семинаров, где ученым предоставляется возможность обсуждать фундаментальные вопросы интерфейса "человек-компьютер" и наиболее эффективного внедрения результатов научных изысканий в различные области образования, науки и техники. Затем было заслушано три пленарных доклада.

В своем докладе о достижениях и проблемах в диалоге с компьютером Ю.А. Косарев (С.-Петербург) сравнил две парадигмы распознавания и понимания речи, первая из которых представляет собой традиционный последовательный разбор, а вторая – интегральную обработку. Вторая парадигма была обоснована и развита. Обсуждалась проблема переноса механизмов восприятия речи человека на интеллектуальные речевые системы. Была сделана попытка спрогнозировать развитие речевых диалоговых систем. Дискутировался вопрос о неправомерности использования бурно

развивающихся Dictation Technologies для ряда перспективных приложений, поскольку эти технологии не предусматривают уровня распознавания смысла.

Привлек внимание аудитории доклад Р.Г. П и о т р о в с к о г о и Ю.В. Р о м а н о в а (С.-Петербург) о синергетике языка и речи, в котором обсуждались приемы обнаружения и изучения работы синергетических механизмов, управляющих функционированием систем языка и речи, а также речемыслительной деятельности человека (РМД). Было высказано предположение о том, что функционирование и развитие языка в целом и РМД отдельного человека подчинены некоторым, пока слабо изученным механизмам саморегуляции и самоорганизации. Чтобы перейти от этих догадок к формулированию, а затем и к проверке лингвосинергетических гипотез, придется проделать трудный путь дедуктивного приложения схем и моделей теорий саморегуляции и катастроф к богатому материалу, накопленному лингвостатистикой, в том числе лингвистикой устной речи, информационными измерениями текста, а также социо-, психо- и нейролингвистикой. Но самым сильным средством проверки будущих гипотез будет создание таких динамических моделей саморегуляции и самоорганизации, которые, будучи воспроизведенными в системах автоматической переработки текста (АПТ), коренным образом приблизят выдаваемый автоматом текст к реальной человеческой речи.

П.А. С к р е л и н (С.-Петербург) представил обзор различных подходов к отбору базовых звуковых единиц (аллофонов и слогов), используемых в системах, синтезирующих речь. Эти единицы отбираются таким образом, чтобы свести до минимума неестественный характер звуков, взятых из естественного речевого употребления. По своим физическим характеристикам отобранные звуковые единицы должны соответствовать контрольной просодической модели. Совершенствование естественного характера синтезированной речи в наибольшей степени зависит от способа модификации звука по длительности и частоте. Основное ограничение в системах синтеза речи, основывающихся на наборе единиц с одинаковым сегментным содержанием, но различными просодическими параметрами, заключается в количестве интонационных моделей, используемых в синтезированной речи. Наиболее точные интонационные модели система может генерировать при обработке текста, приближая их звучание к звучанию естественной речи. Однако случается, что

звуковая единица с требуемыми физическими параметрами не обнаруживается в звуковом инвентаре или в речевом потоке, в этом случае необходима модификация физических параметров звуковой единицы.

Дальнейшая работа Семинара проходила в рамках четырех секций.

В ходе работы секции "Диалоговые системы. Понимание речи. Многоязыковые и многомодальные системы" было заслушано три доклада.

В докладе Л.Дж.М. Р о т к р а н ц и Р.Дж. в а н В а р к (Нидерланды) были рассмотрены вопросы совершенствования технических приемов диалогового управления для будущего поколения автоматических информационных служб, основывающихся на речевой технологии. Решать эти вопросы помогает разработанная в Делфтском Технологическом университете система Alragon – первый прототип мультимодального диалога. Он включает следующие функции: передачу коротких сообщений, речевой доступ к сетевым ресурсам и автоматизированную устную речь. Передача коротких сообщений – это информационная услуга, к которой прибегают обладатели мобильных телефонов. Им предоставляется возможность посылать короткие сообщения (не более 160 символов) на другие мобильные телефоны или информационные серверы. Функция речевого доступа к сетевым ресурсам объединяет две наиболее развитые сетевые технологии: мобильные данные и Интернет. Она реализует доступ к средствам Интернет с помощью мобильных ("карманных") устройств. Речевой интерфейс может быть использован практически в любой обстановке, однако неблагоприятные условия, подобные вождению автомобиля на высокой скорости, значительно снижают качество передачи сообщения. Для представления различных данных ввода используется эффективная схема кодирования. Запрограммированные данные обрабатываются с помощью программы "Управление мультимодальным диалогом", разработанной для управления вводимой запрограммированной устной информацией. Использование унифицированных входных данных делает программу "Управление мультимодальным диалогом" независимой от разновидностей ввода.

Особый интерес вызвал доклад Л.Н. Б е л я е в о й и др. (С.-Петербург) об экспериментальной системе устного машинного перевода ORAL SILOD. Эта первая в Восточной Европе и странах СНГ система машинного перевода (МП) разработана в Учебно-научном центре компью-

терных исследований языка и речи РГПУ. СИЛОД является многоязычным лингвистическим автоматом. Сегодня разработан его новый вариант – SILOD-WINDOWS, который осуществляет англо-русский и русско-английский МП деловых и научно-технических текстов. Система работает в диалоговом и пакетном режимах. Перевод может быть выведен на экран вместе с исходным текстом, что позволяет вносить необходимые исправления и редактировать текст перевода. СИЛОД используется в преподавании русского и английского языков для закрепления навыков орфографии и перевода текста. Последним достижением является использование СИЛОДа для устного МП и в системе "Устная речь – БЕГУЩАЯ СТРОКА".

В.В. Потапов, Г.Е. Кедрова, О.В. Дедова (Москва), рассматривая проблемы фонетики русского языка в дистанционном обучении, отметили, что главным фактором в дистанционном обучении иностранным языкам являются не столько технические возможности компьютера, сколько особенности методики дистанционного изучения/обучения и рациональная организация изложения материала. Описываемая докладчиками база данных содержит точную информацию о звуках, ритмических и интонационных моделях русского языка как комплексе артикуляционных движений, акустического исполнения и соответствующих им слуховых/перцепционных представлений. База данных может быть использована в разных сферах, как для обучения русскому языку носителей языка, то есть в теоретическом курсе русской фонетики (здесь предоставляется дополнительная информация о русской орфоэпии), так и для обучения нормам русского произношения неносителей языка.

Заседания второй и третьей секций были посвящены проблемам распознавания речи и методам их решения. Выяснилось, что к числу таких проблем относится, в частности, воздействие помех на речевые сигналы. В докладе С. Скорики и Ф. Бертоме (Франция) о кепстральном преобразовании речи, дающем устойчивость к белому шуму, было исследовано влияние аддитивного белого шума на кепстральное представление речевых сигналов. Докладчики показали распределение каждого кепстрального коэффициента и дали классификацию разновидностей помех с помощью фреймной технологии.

А. Эспозито, Е.К. Езин, К.А. Рейес-Гарсиа (Италия) рассказали об изучении нечеткой "нейронной"

системы, способной идентифицировать источник шума в зашумленных высказываниях. Ими были использованы оба источника – цветного и белого шумов. Процент правильного распознавания системой источника шума (бормотание, шум двигателя машины, уличный шум проходящего транспорта и белый шум) составил 100%. Одно из преимуществ системы – это возможность ее использования как для идентификации входного шума, так и для подавления шума полученного речевого сигнала. Другое преимущество системы состоит в том, что она проста в настройке и обслуживании. Докладчики подчеркнули, что для достоверности оценки важно выбрать правильно модель канала.

Г.Риголл и А.Космала (Германия) в своем докладе описали систему ALERT, разработка которой финансируется Европейской Комиссией. ALERT – один из крупнейших проектов в области речевых технологий. Система использует прогрессивные технологии обработки изображений и распознавания речи для обработки больших речевых активов радио и ресурсов мультимедиа. Она имеет целью извлечение определенной информации из таких баз данных и информирование заинтересованных клиентов об их содержании.

Р.К. Потапова и А.Н. Собокин (Москва) представили опыт использования визуальной информации для задач распознавания речи. Исследования в области распознавания изображений свидетельствуют о том, что в сферах распознавания визуальных и акустических образов наблюдается существенное расхождение результатов. Не случайно, что при развитии большого числа экспертных систем, основанных на вводе устной речи, исследователи обращаются к информации, содержащейся в изображении спектрограмм, объединяя ее далее с определенными акустическими ключами. Изучая спектрограммы звучащей речи, они создают алгоритмы формирования признаков для классификации слов.

В ряде докладов была отмечена необходимость учета просодических характеристик речевых сигналов. Так, о своих новых достижениях рассказали Ж.Буков, А.Батлинер и др. (Германия) – создатели автоматической системы перевода речи VERBMOBIL. Если ранее ими были определены эффективные и устойчивые характеристики ключевых слов, с помощью которых описываются сила, темп речи и паузы (наилучшие результаты распознавания были получены с помощью основных 95-мерных векторов признаков.

которые описывают контекст с погрешностью ± 2 слова), то сейчас для выявления просодических элементов они добавляют характеристики указателей частей речи. Вся система частей речи разбивается на 15 классов. Акустико-просодические 95-мерные векторы добавляются к 105 характеристикам частей речи, что позволяет описывать контекст с погрешностью ± 3 слова. Информация, заложенная в указателях, должна обязательно приниматься во внимание. С ее помощью значительно улучшается распознавание фразовых границ, фразовых ударений и вопросительной интонации; погрешность распознавания может быть сведена к 16,7%.

Сообщение С. Грохольевского (Польша) было посвящено акустическому моделированию польской речи. Предлагаемая модель создавалась на основе стандарта контекстно-зависимых фонем, кепстральных коэффициентов и их производных. Акустические скрытые марковские модели (СММ) были выстроены на основе полностью аннотированной речевой базы польского языка.

Акустическое моделирование русской речи рассматривалось в докладе В. Чупала, К. Маковкина и А. Шишгорова (Москва). Было показано, что с целью точного определения инвентаря звуков, необходимого для распознавания речевого потока, следует учитывать такие критерии, как тип речевого материала (телефонная речь и речь микрофонного качества) и тип СММ, ориентированных на дискретную или полунепрерывную речь.

По мнению Б. Лобанова и Т. Левковской (Беларусь) многопоточное автоматическое распознавание речи предстает как часть "коллективного распознавания образа". Распознавание представляет собой результат "голосования" среди "группы партнеров" (это самые разнообразные правила принятия решений и акустические признаки), в соответствии с их "уровнем компетенции" в распознавании конкретной модели (слова или части слова).

В докладе Б. Аполлони, Г. Аверсано, А. Эспозито (Италия) освещались две основные проблемы, связанные с автоматическим распознаванием эмоциональных особенностей в речевых высказываниях. Первая проблема заключается в выборе подходящего алгоритма предобработки, способного зафиксировать эмоционально-акустические признаки речевых высказываний. Вторая проблема состоит в определении вычислительной модели, которая могла бы классифицировать (на уровне,

свойственному человеку) такой набор эмоциональных структур. Сравнительные эксперименты, проведенные на базе 504 аутентичных эмоциональных высказываний, разделенных на три класса, показали, что высказывания могут успешно классифицироваться рекуррентной нейронной сетью с временными задержками. Причем следует заметить, что она работает лучше, чем простая рекуррентная нейронная сеть. Общий результат правильной классификации, полученный с помощью этой нейронной модели, составил 73,7% (при классификации на три класса), что хорошо согласуется с результатом классификации (при той же базе данных), полученным в ходе психо-акустических экспериментов с 7 слушателями. После настройки модель функционирует независимо от мужского или женского голоса.

Система дикторонезависимого распознавания речи (вся в целом и ее отдельные модули) была описана в докладе О. Малева (С.-Петербург). Построенная на основе традиционных СММ, система предназначена для работы в диалоговом режиме в рамках той или иной специфической области знаний и поддерживает возможность выбора языка. Вероятность правильного распознавания системой английской речи составляет 99,9% (экспериментальные тесты состояли из 1632 фраз, 626 из них были распознаны идеально). Правда, в ходе последующей дискуссии цифра была скорректирована до 99%. Система работает на платформе Windows 98/NT и предоставляет пользователю Интерфейс прикладного программирования.

Г.В. Галунов и А.Ф. Кононов (С.-Петербург) предложили свой способ, улучшающий качество распознавания речи. Он основан на итерационном методе оптимизации матриц расстояний между кластерами при совместном использовании векторного квантования и динамического программирования. Метод был использован для распознавания детской речи, процент ошибки был уменьшен с 6% до 1,5% при словаре в 50 слов. В своем втором докладе ученые представили методы автоматической сегментации речевых сигналов с использованием нейронных сетей.

Заключительной стала студенческая секция, объединившая доклады молодых ученых. Наиболее интересными были два сообщения Р. Моучека и К. Гаузера (Чехия). В первом – о представлении семантики в диалоговых системах – они рассмотрели модификации широко известных подходов к пониманию языка на основе

семантических фреймов, семантических сетей и "концептуальных зависимостей", а во втором – вопросы генерации ответа в информационных диалоговых системах. был описан модуль текстового ответа как важная составная часть диалоговой системы и даны рекомендации по его построению.

Моделирование физиологических процессов в легких при построении речевых высказываний рассматривалось в докладе В.П. Бондаренко, Р.В. Мещерякова и В.П. Коцюбинского (Томск). Результаты проведенных экспериментов, а именно полученные просодические модели речевых сигналов, могут быть использованы в интеллектуальных системах, синтезирующих речь. В.Е. Андиперов, Ю.В. Гуляев и С.А. Никитов (Москва) разрабатывают статистический подход к моделируемому механизму рас-

познавания речи и предлагают статистическую трактовку хорошо известного психофизиологического закона Вебера. Распознавание речевых сигналов осуществляется в соответствии с известными представлениями о структуре и функциях слуховой нервной системы человека.

Интерес вызвал доклад Ю.А. Косарева, А. Ронжина и И. Ли (С.-Петербург), в котором был дан анализ методов адаптации систем распознавания речи к аудиоканалу и незнакомому голосу, и представлены результаты экспериментов

Все материалы семинара опубликованы в сборнике "SPECOM' 2000 International Workshop SPEECH AND COMPUTER. St.-Petersburg, Russia, 25–28 September 2000".

Н.Ю. Зайцева
(Санкт-Петербург)



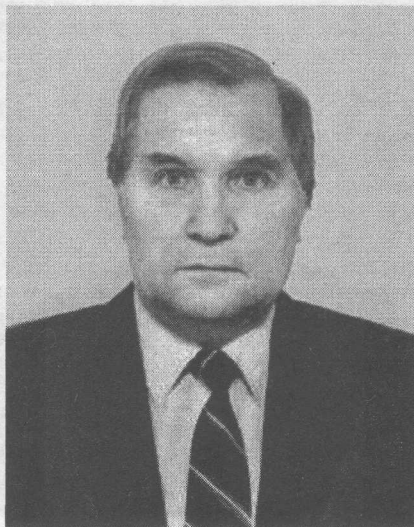
ЗОЯ КЁСТЕР-ТОМА (1945–2001)

20 января 2001 года в Берлине в возрасте 55 лет скоропостижно скончалась доктор филологии, профессор Зоя Кёстер-Тома (Soia Koester-Thoma) – крупный специалист в области современного русского языка, издатель популярного в Европе и Америке журнала "Russistik (Русистика)". Это большая и невозполнимая потеря для науки, для всех, кто знал Зою как интересного исследователя, предприимчивого и энергичного издателя, как прекрасного человека.

Русистам России и других стран хорошо известны работы З. Кёстер-Тома в области просторечия и разговорной речи, некодифицированных разновидностей русского языка. Первая ее большая работа: "Wörterbuch der modernen russischen Umgangssprache. Russisch – Deutsch." Max Hüber Verlag, München, 1985 (соавтор Elena Rom). Назовем ряд других работ: "Standard, Substandard, Nonstandard" (1993), "Сферы бытования русского социолекта" (1994), "Sprachliche Varietät im Tabu" (1995), "Die Lexik der russischen Umgangssprache" (1996), "Русское просторечие как объект лексикографии" (1996). Под ее редакцией (совместно с Е.А. Земской) в 1995 году вышла книга "Russische Umgangssprache". Ее высокий профессионализм сказывался не только в ее собственных работах, но и в библиографических обзорах по тем проблемам, которые ей были близки как специалисту. Например, на прошедших в феврале 2000 года Шмелевских чтениях (Москва) всех поразила ее осведомленность в публикациях последнего десятилетия, посвященных субстандартным формам языков (не только русского) и опубликованных или готовящихся к публикации в научных центрах разных стран Европы.

Особенно велики заслуги З. Кёстер-Тома как основателя и издателя международного журнала "Russistik" ("Русистика"). За немногим более чем десятилетие в этом журнале были опубликованы статьи, обзоры и рецензии ведущих русистов России, Германии, Польши, Великобритании, США, Чехии, Венгрии, Австрии, Франции, Израиля и других стран. Надо заметить, что Зоя все делала сама и часто в одиночку: заказывала статьи авторам, сама набирала тексты на компьютере и верстала их, изыскивала средства на издание журнала, рассылала авторам экземпляры свежих номеров... Неожиданная смерть оборвала эту кипучую деятельность. Хотелось бы, чтобы детище З. Кёстер-Тома – журнал "Русистика" – продолжал свое существование и радовал специалистов новыми публикациями. Это было бы лучшей памятью об основателе этого журнала, замечательном человеке и ученом – Зое Кёстер-Тома.

Е.А. Земская, Л.П. Крысин



АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ДОМАШНЕВ (1927–2001)

17 февраля 2001 года закончился жизненный путь Анатолия Ивановича Домашнева, крупного специалиста в области германистики и теоретического языкознания, возглавлявшего коллектив Института лингвистических исследований РАН на протяжении четверти века. Российская филологическая наука понесла тяжелую утрату, масштабы и глубина которой будут долго восприниматься с особой остротой как теми, кто постоянно общался с ним, так и учеными, знавшими А.И. Домашнева по его многочисленным трудам.

Будучи целеустремленным исследователем, ориентированным на всеобъемлющие поиски, А.И. Домашнев проявил себя в разных областях лингвистики. Круг его научных интересов охватывал теорию национального варианта языка, вопросы, связанные с функционированием вариантов полинациональных литературных языков, проблемы германской диалектологии, межъязыковых и ареальных контактов, различные аспекты социолингвистики. Общий взгляд на функционирование вариантов немецкого языка А.И. Домашнев сочетал с исследованием немецких говоров на территории России, рассматривая "островную диалектологию" с точки зрения контактной зоны и с учетом социальной стратификации немецкого языка.

В 1955 г. А.И. Домашнев защитил кандидатскую диссертацию ("Синтаксические наблюдения над городской (деловой) прозой Германии XII–XV вв."), в 1970 г. – докторскую ("Национально-региональная вариативность современного немецкого литературного языка и австрийский национальный вариант немецкого языка").

Итогом длительных и интенсивных исследовательских поисков стало издание более 200 научных трудов, в том числе монографий "Очерк современного немецкого литературного языка Австрии" (М., 1967), "Варианты полинациональных литературных языков" (Киев, 1981), "Современный немецкий язык в его национальных вариантах" (Л., 1983), "Языковые отношения в Федеративной Республике Германия" (Л., 1989). Монографические труды и статьи А.И. Домашнева получили широкое признание, выразившееся в появлении большого количества рецензий, в публикации более 30 статей на немецком языке в немецких филологических журналах, в издании многих работ авторитетными зарубежными издательствами. Высокая оценка многогранной научной и научно-организационной деятельности А.И. Домашнева в нашей стране нашла отражение в избрании его в 1990 г. членом-корреспондентом РАН и членом бюро ОЛЯ РАН. Долгие годы он был членом редколлегии журнала "Вопросы языкознания".

Являясь с 1978 г. действительным членом Международной ассоциации германистов, Анатолий Иванович принимал участие в конгрессах этой организации (Швейцария – 1980 г., Япония – 1990 г., Канада – 1995 г.). Об активном участии А.И. Домашнева в международном научном обмене свидетельствуют многочисленные выступления с докладами и лекциями в университетах Германии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Японии и других стран.

Особое внимание в своих исследованиях А.И. Домашнев уделял воздействию социальных факторов на состояние нормы и системы литературного языка, раскрывал характер и степень взаимообусловленности общественности и языковых структур. Им были подробно изучены языковые ситуации в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге.

Исследование функционирования немецкого языка в полинациональных языковых общностях получило развитие в изучении романо-германского контактирования в Европе. Авторский коллектив, бессменным руководителем которого в течение продолжительного времени был А.И. Домашнев, осуществил анализ современных языковых состояний в странах с романо-германской ориентацией, с характерным для них двуязычием. Под его редакцией и при его активном участии издано 6 сборников по этой проблематике.

Анатолий Иванович был не только крупным ученым-языковедом, но и выдающимся организатором творческой деятельности больших научных коллективов, умевшим создавать в них необходимый для слаженной работы благоприятный психологический климат. В 1955 г. он становится деканом факультета иностранных языков Пермского пединститута; в 1959 г. – заведующим кафедрой немецкой филологии и затем проректором и ректором Горьковского пединститута иностранных языков им. Н.А. Добролюбова, в 1968 г. – заведующим кафедрой германской филологии и деканом факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена. В 1976 г. А.И. Домашнев возглавил Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР, которое позднее преобразовалось в самостоятельный институт – Институт лингвистических исследований РАН. А.И. Домашнев являлся председателем Ученого совета по защите докторских диссертаций ИЛИ РАН, членом специализированных ученых советов Санкт-Петербургского университета и Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

Велики заслуги А.И. Домашнева в работе с молодежью, в повышении квалификации лингвистических кадров. Он читал теоретические и специальные курсы для аспирантов, под его руководством было подготовлено более 30 кандидатских диссертаций.

Анатолий Иванович отличался неизменно доброжелательным отношением к своим коллегам, чутко реагировал на возникновение любых "аномальных" ситуаций, был требовательным руководителем и добрым человеком, пользовавшимся большим уважением всех тех, кто его близко знал, и тех, кого объединяли с ним общие научные интересы.

*А.В. Бондарко, Н.Н. Казанский,
С.А. Кузнецов, А.П. Сытов, А.М. Щербак*

Ф Т С
ИИИИИИ

ИИИИИИ

ИИ

ИИИИИИ

CONTENTS

To the 200-th anniversary of V.I. Dahl's birthday: V.G. G a k (Moscow). V.I. Dahl's Dictionary in the light of lexicographic typology; T.I. V e n d i n a (Moscow). V.I. Dahl: a view from the present; G.F. B l a g o v a (Moscow). Vladimir Dahl and his follower – the turcologist Lazar Budagov.

* * *

K. W i n d l e (Canberra). The contemporary Macodonic-Russian lexicography; I.G. M e l i - k i š v i l i (Tbilisi). Linearity of the language sign in the light of phonological laws; V.P. M o s k v i n (Volgograd). Euphemisms: systemic links, functions and ways of formation; L.E. K a l n y n (Moscow). Voiced consonants as components of the phonetic program of the word in Slavonic languages; E.L. R u d n i c k a y a (Moscow). Local and non-local reflexives in Korean from the typological point of view: formal or pragmatic description?; **From the history of science:** O.A. R a d ě n k o (Moscow). Linguophilosophical concept of W. von Humboldt and post-Humboldtianism; **Reviews:** B.I. O s i p o v (Omsk). The Russian orthographic dictionary; O.V. N i k i t i n (Moscow). The Fifth Polivanov Conference: a collection of scientific articles based on the materials of reports at the Conference; V.G. D e m j a n o v (Moscow). A. *Kretschmer*. Zur Geschichte des Schriftrussischen. Privatkorrespondenz des 17. und frühen 18. Jahrhunderts; S. K o e s t e r - T h o m a (a necrology); A. I. D o m a š n e v (a necrology).

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.02.2001 Подписано к печати 09.04.2001 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 13,0 Усл.кр.-отт. 20,4 тыс. Уч.-изд.л. 15,6 Бум.л. 5,0
Тираж 1530 экз. Зак. 2134

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации

Учредители: Российская академия наук, Отделение литературы и языка РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 121019 Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка.
Телефон 201-25-16

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6